А.И. Баженова

**А. С. Кайсаров – забытый герой раннепушкинской эпохи**

Саратов

Сателлит

2004

ББК 63.3(2)47-8 Кайсаров

УДК 882.09-1+9(470-89)+929 Кайсаров

Федеральная целевая программа «Культура России» (Подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России).

**Баженова А. И.**

**Б16**А. С. Кайсаров – забытый герой раннепушкинской эпохи. – Саратов: Сателлит. – 2004. – 320 с., ил.

ISBN 5-901459-28-8

Эта книга о первом русском слависте, герое Отечественной войны 1812 го-  
да, талантливом деятеле раннепушкинской эпохи А. С. Кайсарове (1782-1813), прожившем всего 30 лет (как Есенин) и погибшем на поле боя, содержит новые сведения, найденные автором А. Баженовой (известной по книгам «Мифы древних славян», «Звёздные взлёты русской культуры»): это впервые обнародованная родословная Кайсарова; ранее неизвестные места его рождения и захоронения; многие не печатавшиеся его письма, сочинения.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей отечества.

**ISBN** **5-901459-28-8** © Баженова Александра Ивановна, 2004

© «Сателлит», 2004

**От автора**

Пишущему об исторической личности, как никому другому, дано почувствовать и осознать обидную ограниченность человеческой памяти, утрачивающей со временем былую живую связь со своими предками. В общих чертах мы восстанавливаем исторические рамки, в которых жили наши пращуры, но спокойные чувства наши не трепещут. Нас занимают ныне иные, современные заботы. Жизнь личностей прошлых эпох часто кажется нам неодушевленным примером из учебников истории, и возникает вопрос: как оживить минувшее, как преодолеть инерцию памяти, досадную близорукость современников и, соединяя звенья разомкнутой цепи, восстановить связь времен?

Страницы истории иногда преподносят нам неожиданные, замечательные сюрпризы. Пожелтевшие письма и дневники, книги, написанные непривычным «высоким слогом», становятся новинками захватывающего интереса. Плодовитая на таланты Россия вдруг поразит нас личностью, подобной Андрею Сергеевичу Кайсарову (1782-1813), чья яркая и короткая жизнь, полная событиями и отмеченная делами нерядового порядка, осыпала современников искрами поэтического дарования, часто облаченного не в стихотворную форму, а в публицистические и научные произведения, исполненные красноречия и нравственных сентенций, донесшие к нам гражданский пафос русского просвещения, пробуждающий историческое и национальное самосознание.

Эта книга не только о Кайсарове – человеке счастливой и тра-  
гической судьбы, – но и об эпохе русского просвещения, об идеалах раннепушкинского времени, младенческих годах XIX века; о людях этого прекрасного периода, ушедших без возврата и многих – безвременно. Высокие идеалы их сегодня нужны нам как своеобразные ориентиры в сложной нынешней действительности, они помогают осознать несовершенство существующего в нас нравственного мира и напоминают о высшей норме с позиций бескомпромиссных, абсолютных требований, ибо идеалы начала XIX века окуплены самой высокой ценой – кровью их отстаивавших или отречением от личного благополучия.

В книге есть отступления, опережение событий, непрямая информация: сведения о родных, друзьях, современниках героя. Но, как гласит восточная мудрость, отступающие подобны многоруким: больше захватывают. Мне хотелось как можно больше «захватить» русской истории и тем внести свою скромную лепту в ликвидацию «белых пятен», в то, чтоб сделать историю русской литературы освещённее.

Кайсаров писал о своей единственной книге: «… Если назвать это сбором: то я смело утверждаю, что с историею поступают не так, как с метафизикою; здесь, где важны только истины, нельзя наговорить столько много нового, как там, где все основано только на догадках». Мне хотелось бы квалифицировать свою книгу так же: она сочинена лишь отчасти (хотя в ней есть и мои собственные находки), в большей мере собрана по крупицам из документов, сочинений самого героя и его современников, высказываний его биографов, к которым я отношусь с большим уважением, и, если не прилагаю здесь реферативной части моего труда, то лишь по той причине, что в книгах, рассчитанных на широкие круги читателей, это не принято.

Я придерживаюсь мнения, что второстепенных писателей нет. Есть забытые и неоцененные, те, кому ещё не найдено место в ис-  
тории отечественной литературы, в которой так же, как и в экологии, любое звено оценивается не по принципу: больше – меньше; лучше – хуже; а так: **без него нельзя**, без него духовная биосфера меняется, хотя и едва заметно.

В том, что сегодня в отечественной истории есть забытые и неоцененные, – виноваты мы.

С этим чувством вины и стремлением к познанию забытого мне и хочется «войти» в историю конца восемнадцатого – начала девятнадцатого веков, в которой жили герои книги.



Глава первая

Отеческая провинция

А

ндрей Сергеевич Кайсаров вышел из древнего рода русских и, как это часто встречается на Волге, несколько притатаренных дворян. Трудно сказать, почему к роду этому прилипло прозвище Кайсаров (то есть кесарев, царев; относящийся к царю, вождю, кесарю). То ли наиболее древние предки принадлежали к царствовавшему некогда татарскому роду (кесарям, кайсарам), то ли служили ему и считались царскими (кесаревыми, кайсаровыми) людьми. Однако при получении русского дворянства Кайсаровы были вписаны в шестую часть дворянской родословной книги Ярославской губернии, куда вносили нетитулованных, то есть довольно среднего достатка и знатности, как правило, личными заслугами и верной службой добившихся дворянства людей.

Не позднее пятнадцатого века предок Кайсаровых по отцов-  
ской линии – выходец из Золотой Орды – вдруг, по неизвестным причинам, оценил преимущества службы русским царям (может и женат был на русской), решив остаться в России. Он принял христианство и известен под христианским именем Григорий.

Вероятно, в семье, как и во всей России, шла борьба за древ-  
ние национальные традиции: совершенно христианизироваться семье в первом поколении не удавалось. Из пятерых сыновей Григория Кайсарова только двое: первый (Битюг) и пятый (национальное имя до нас не дошло) известны под одним христианским именем Иван. Другие три сына упрямо носили дохристианские – Ротай, Бедырь, Порхач.

Четверо первых сыновей Григория исчезли из поля зрения историков. Род Кайсаровых ведется от младшего – Ивана. Но и его дети ещё носили двойные имена: Булгака-Стефан, Темир-Стефан, Никифор Бражник.

В дворянство род возведен в 1619 году при царе Михайле Федоровиче «за московское сидение в приход королевича Владислава под столицу», то есть за охрану столицы от поляков в десятые годы семнадцатого века. Предки Кайсарова во время польской интервенции были сподвижниками Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина.

В семнадцатом веке Кайсаровы получили за службу первые поместья и вотчины. Они имели земли в Ярославской, Владимирской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Тамбовской, Рязанской губерниях.

При правнуке Темир-Стефана Кайсарова – Андрее Ефимьеви-  
че Кайсарове эта ветвь дворянства разделилась на Ярославскую и Владимирскую. Хотя родня часто жила бок о бок друг с другом (как, например, в Саратовской и Рязанской губерниях), эти ветви уже считались дальними родственниками.

Андрей Ефимьевич был дедом отца нашего героя – секунд-  
майора Сергея Андреевича Кайсарова. Годы жизни последнего неизвестны. Умер (или, может бить, погиб; все говорит о том, что он ушел из жизни внезапно, в расцвете сил) Сергей Андреевич предположительно в 1783 году, в год рождения последнего сына (когда Андрею было больше года). В «Ревизской сказке», хранящейся в Саратовском областном архиве, есть запись о крестьянах: «Переведены в 1783 году из Резанского наместничества Ряжского округа села Рясныя Поляны, Нагайское тож, дворовые люди, кои достались по наследству после покойного отца их – секунд-майора Сергея Андреевича Кайсарова».

Вдова, только что родившая последнего сына (Паисия в 1783 г.) и потерявшая любимого мужа, не могла сразу заниматься делами и некоторое время не переводила имения на свое имя. Поэтому в хранящемся в Тамбовском областном архиве документе 1785 года – «Ведомости о числе состоящих по городам Тамбовской губернии за помещиками разного звания владельцами по 4 ревизии дворовых крестьян мужского пола» указан ещё Кайсаров Сергей Андреев сын, секунд-майор, владеющий имением в селе Никольском, что на Малом Ломовисе. Число крестьян в ведомости – 490. А вот уже в «Алфавитном списке о дворянах Моршанской округи, полученном 12 августа 1788 года», значится Наталья Васильева, вдова Кайсарова, 29 лет. И даны крестьяне (мужского пола), «купленные мужем ее и ее детям достались по наследству: мужа – 490; жены – 505 Моршанской округи в селе Никольским, что на Малом Ломовисе».

И дед Андрея Сергеевича – Андрей Михайлович Кайсаров, бывший гвардии капитаном, и отец – секунд-майор, и большинство из рода Кайсаровых, имевших в семьях всегда по три-пять сыно-  
вей, – были военными. Некоторые из них поднимались до чинов полковничьих и генеральских. Может быть поэтому детей записывали сызмала в полки, таким образом заранее определяя судьбу будущего потомства. Служение – призвание и отличительная черта фамилии Кайсаровых. Служить в этом роду считалось священной обязанностью мужчин, долгом, который нужно вечно отдавать царю и отечеству. Службу находили важнейшим поприщем для проявления личных способностей, выявления гражданских достоинств, снискания уважения в обществе, достижения карьеры (в лучшем смысле этого слова); а также – источником дохода семьи, во все времена бывшего средним, а то и чуть ниже среднего дворянского уровня.

Сергей Андреевич владел имениями в трех губерниях. В Тамбовской (Моршанский уезд) у него было уже названное Николь-   
ское на реке Малый Ломовис, купленное им самим или родителями его на его имя при женитьбе, – отцовское родовое имение Андрея Кайсарова. В Аткарском уезде Саратовской губернии три села в живописном бассейне реки Медведицы – Барановка (центральная усадьба), Дарьевка и Андреевка, принадлежавшие жене. В Ряжском уезде Рязанской губернии – село Рясные Поляны, Нагайское тож, а также в Раненбургском уезде той же губернии село Просечье[[1]](#footnote-1), оба доставшиеся в наследство детям Сергея Андреевича от бабки их по матери.

Судя по тому, что отец Андрея Сергеевича был всего лишь секунд-майор, он умер человеком ещё не старым, и служил ровно, скромно, ничем не выделялся из тогдашнего офицерства.

Мать Андрея Сергеевича – Наталья Васильевна Кайсарова – рожденная княжна Волконская. Годы жизни ее с большой точностью установить не удалось. Однако, если по дворянскому списку 1788 года вдове 29 лет, то год рождения ее предположительно 1758, 1759. Год смерти неизвестен, однако, – что для нас самое важное, – известно: она пережила своего сына Андрея. ещё в 1811 году встречается упоминание о ней в книге (включающей исторические документы) «Аткарск» А. Минха (1908 г.): «… Приговором 18 декабря 1811 года назначены купец Хозяинов и мещанин Свитнеев для приема в Саратове и отправки в Аткарск с крестьянами д. Барановки, госпожи Кайсаровой, распущенной извести 500 четвертей к построению каменной церкви во имя Архистратига Михаила». То есть Наталья Васильевна, вероятно, строила или участвовала в строительстве церкви в Аткарске (ведь Барановка совсем рядом, к северо-востоку от города), и ее крестьяне (не обязательно в ее присутствии, конечно) доставляли в стеклянных четвертях разведенную («распушенную») известь для строительства.

Таким образом, можно предположить, что Наталья Васильевна выдана замуж в 17-18 лет, во время рождения Андрея ей примерно 23, а в 1813 году – 54-55 лет.

Род князей Волконских – один из древнейших русских родов – идет ещё от рюриковичей. Рязанская ветвь его ведет династию с пятнадцатого века.

Ивану Толстой Голове отец выделил при женитьбе волость Сопрыкину (Сопрыскину) на речке Волкони, притоке реки Упы. Речки Волкони теперь уж нет, хотя осталась (во всяком случае, в конце девятнадцатого века ещё была известна) Волхонщина[[2]](#footnote-2) – ряд селений на реке Ягодная Ряса (которая впадала в Становую Рясу, а та – в реку Воронеж) в Ряжском уезде Рязанской губернии. От это-  
го стана сын Ивана Толстой Головы – Юрий Иванович стал прозываться и писаться князем Волконским (иногда слово произносили «Волхонский», что ещё ближе к названию местности).

Уже **эту** фамилию носили три сына Юрия – Константин, Иван и Федор. Интересующая нас ветвь идет от внука Константина – Ипата Васильевича, который был воеводой в Туле и поэтому имел прозвище Потул (интересно, что в роду Волконских, как истинно русском, вообще много живописных прозвищ: Жучка, Жмурка, Бык, Хромой, Кривой, Мерин; один из рода Волконских, живший в шестнадцатом веке, – Петр Васильевич – носил прозвище Верига и был воеводой у царя Василия – отца Ивана Грозного; в царство самого Ивана Грозного приобрел известность Василий Богданович Волконский, или – Веригина Любка; Иван Федорович Волконский, дохристианское имя Лось, упоминается в документах 1663 года как первый воевода у Никитских ворот Москвы).

Дед Андрея по материнской линии, вероятно, внук или правнук Потула. О нем известно немного, так же, как и о бабушке. В «Ревизской сказке» 1795 года апреля дня 28 приказчик Натальи Васильевны Кайсаровой Василий Касаткин, описывая аткарское имение (население его), в графе «аимянно» («а именно:»), где указывалось, откуда поступило имение (куплено, досталось в наследство, по разделу с родителями, братьями и т. д.), пишет о раненбургском и аткарском имениях: «… Доставшиеся господам моим после покойной бабки их родной, госпожи полковницы княгини Ефросинии Сергеевны Волконской».

Отсюда видно, что Василий Волконский – дед Андрея – был полковником. Возможно, с секунд-майором Кайсаровым они сбли-  
зились по службе. Значит было достаточное обаяние, а в большей степени – надежность, прочность в характере и жизненном укладе Сергея Андреевича Кайсарова, чтобы полковник и князь, ведущий род от рюриковичей, выдал замуж юную дочь свою за секунд-майора и нетитулованного дворянина, дав ей приданое, превышающее имение жениха.

Находились ли Кайсаровы в родстве с известными Волкон-  
скими – декабристом и героем Отечественной войны 1812 года Сергеем Григорьевичем (1788-1866) и генерал-фельдмаршалом Петром Михайловичем (1776-1852)? Находились в кровном, но не близком родстве, и, без всякого сомнения, Андрей Кайсаров знал их. Но этим, возможно, все и ограничивалось, ибо доказательств и даже намеков на какую-либо дружбу или короткое знакомство до нас не дошло.

Если проследить, с какими русскими фамилиями были (и че-  
рез Волконских тоже) в родстве Кайсаровы, то здесь мы найдем Белосельских-Белозерских, Репниных, Булгаковых, Молчановых, Кочубей, Рахмановых, Дурново, Долгоруковых, Трубецких, Лан-  
ских, Арсеневых, Столыпиных, Лермонтовых и т. д. и т. п., и, таким образом, ещё раз подтвердим мысль Л. Толстого, что все российские дворяне меж собой в родстве. Позже Андрей Сергеевич, не задававшийся трудом запомнить многочисленную родню, весело напишет в письме другу, наспех его заканчивая: «Прости, брат. Везут к какой-то нововъезжей бабушке. Тиранят, брат, крайне».

Восемнадцатый – начало девятнадцатого века в России – времена, когда родства придерживались, им гордились, род знали до четырнадцатого колена, стараясь упомнить все самое славное.

Без рода нет чести, безродный, как опавший лист или перека-  
ти-поле, бесполезен и горемычен – в этом были убеждены. Поэтому со всеми детьми обращались как со своими, строго наставляя их, а молодые – ко всем старикам относились как к родителям и старшим родным.

Андрей Сергеевич рос именно в такой атмосфере взаимоот-  
ношений: тепло покровительствовал младшим, а к старшим тянулся. Он расспрашивал тех, кто знал отца, которого сам – увы! – не помнил, постоянно думал об отце и завидовал сверстникам, у кого родитель был жив. Он выскажет позже сокровенную тоску другу своему и тезке (о котором ещё будем говорить): «Теперь материя переходит к твоему старику. Почтенный человек! Как люблю я его! Как скоро увижу его, мне кажется будто нахожу в нем что-то родное!.. Для чего у меня нет отца! Для чего нет такого отца! Но сказывают, что мой был не хуже, но его нет – и я много теряю».

И далее там же пишет: «Можно ли быть совершенно счастливу без цепей родства, или разорвав их самовольно? Мне кажется, что я бы умер со скуки, не имея матери, которая меня хоть иногда бранит; знаешь ли, как приятно в отлучках вспоминать даже об этой брани. Я знаю это по опыту».

В другом письме мы находим заметки о взаимоотношениях с матерью: «… Пишу на рысях. Целое утро ещё матушки не видал. Она приказала позвать сегодня Александра».

По этим скупым строкам нетрудно догадаться, что Андрей Сергеевич скучал без матушки, не видя ее целое утро. И тут же он выражает свое непростое отношение к Наталье Васильевне, строгость которой уже показалась нам в категоричном слове «приказала»: «Родная мать! Но какие бывают иногда капризы; что я вытерпевал, иногда сам себя браню за то, что смею роптать на нее, вспомнишь, что она для нас сделала и как много мы ей обязаны. Но не меньше того все-таки больно слышать с утра до вечера брань».

У Натальи Васильевны и Сергея Андреевича Кайсаровых было четверо сыновей: Петр (1777-1854), Михаил (1780-1825), Андрей (1782-1813), Паисий (1783-1844). Семья жила в отцовском родовом имении в Тамбовской губернии мало. В 1788 году (Андрею 5-6 лет) председатель Моршанского окружного дворянского депутатского собрания пишет в отчете, что помещица Кайсарова с детьми «жительство имеет в Резанского наместничества Ряжской округи селе Нагайское».

Еще раньше, после смерти мужа, в 1783 году вдова начала переводить нужных ей крестьян в аткарское имение Саратовской губернии – имение покойной матери своей Ефросиньи Сергеевны Волконской. В 1784 году перевела крестьян из Раненбургского уезда, в 1792 – из Моршанского. Следовательно, семья переселя-  
лась на более южные плодородные земли Поволжья (где может быть прошло детство и юность самой Натальи Васильевны).

Здесь с ранней весны до поздней осени были для стола раз-  
ные овощи, богато плодоносили сады (калмыки называли Саратовскую губернию и все правобережье вплоть до Астрахани «страной яблоней»), хорошо родился хлеб и другие зерновые, были удачные бахчи; лет с двадцать как начали разводить здесь и новинку для Саратовской губернии – картофель. В реках водилась разнообразная рыба.

Позже, в «Геодезическом описании земли, поступившей в надел деревням Барановка, Дарьевка, Андреевка», геодезист напишет: «Строение и усадьбы деревни Барановки расположены посреди господских лесов и поемных лугов, и сверх того крестьяне отделены господскими строениями и садами от пашни, с коими имеют сообщение по долгой узкой дороге». Названы здесь и река Медведица, и «полуречка» Колышлей у деревни Андреевки, около которой двадцать десятин неурожайной земли под крутыми каменистыми оврагами и проселочными дорогами, назван и овраг Дюпа у деревни Дарьевки, разделяющий пожни усадьбы Кайсаровых и их соседей – это те места, что исхожены детьми Кайсаровыми, а из них наиболее любознательным слыл Андрей.

Барановка – волостная деревня. Кайсаровы были в хороших отношениях с земским начальником Барановки Василием Алек-  
сеевичем Злобиным[[3]](#footnote-3), ставшим впоследствии одним из богатейших саратовских купцов. Василий Алексеевич считался приятелем и советчиком матушки в делах. Стесненный физическими недостатками (он слегка заикался в волнении), к тому же постоянно притесняемый тогда братом – виноторговцем, Василий Алексеевич оказался, при всем при том, начитанным, умным, степенным, хозяйственным и честным человеком, не лишенным дара предприимчивости. Будучи удачливым в делах, он быстро богател. Злобин нередко выручал Наталью Васильевну наличными деньгами, а также с удовольствием выполнял ее поручения по делам имения в Аткарске и Саратове, заметно облегчая этим вдовью долю.

Детство братьев Кайсаровых проходило в Барановке. Хотя мать и старший брат выезжали в другие имения, в Москву, в Саратов, Пензу, в ближайшие и дальние владения многочисленной родни на свадьбы, похороны, смотрины, крестины и прочие семейные случаи.

Дети, по тогдашнему обычаю (как у А. С. Пушкина в «Капитанской дочке») и пониманию родителями приобщения к будущей службе, были чуть ли не с рождения записаны в полки – Петр сержантом, Андрей капралом в Семеновский, Паисий каптенармусом, Михайла фурьером в Преображенский. Уже в 1788 году значатся они записанными в эти полки. В то время Андрею, например, пять, Паисию – четыре года.

Петр рос деловитым, хитроватым и немного скуповатым, хотя не лишен был чувствительности, особенно, если дело касалось собственной персоны; приглядывался к хозяйству, учился экономии и умению распорядиться людьми и землями: ведь он – старший сын и первый наследник. После смерти отца он стал если не главой семьи, что при строгой, умной, серьезной Наталье Васильевне было невозможно, то старшим мужчиной в доме, который в отсутствие матери заменял ее во всем.

Позже Андрей Сергеевич напишет о нем своему другу Андрею, впрочем, зная, что и Петр прочтет это письмо: «Я очень рад, что вы ладите с Петром Сергеевичем. Он редко добрый человек! И достоин любви всякого, кто любит добрых. Чем больше будешь ты с ним жить, тем больше полюбишь его, узнав короче. Я к нему чувствую не одну только братскую привязанность, но некоторое почтение. Он с Михайлой для меня такой подарок от природы, за который я никогда не перестану ее благодарить».

Однако, в письме, предназначенном и для глаз Петра, не все договаривалось. Кайсаровы не очень-то склонны были выносить сор из избы. Но вот друзья Андрея недолюбливали Петра, называя «кривым», «извергом», «глупцом». Значит для этого были основания. В одном из писем находим: «Петр Сергеевич[[4]](#footnote-4) делает разные мерзости Михайле, который после Андрея лучше всех, да и сравним быть не может с извергом и глупцом Петром».

Перед Петром братья робели. И некоторую неприязнь можно понять, так как Петр был строг к братьям, часто запрещал то, что им хотелось, выполняя приказания маменьки и сообразуясь со своим старшинством, а иногда и подчеркивая его.

Позже, когда братья были молодыми людьми и подумывали о женитьбе, Петр в союзе с маменькой, влияя на ее решение, запретил Михайле жениться по искреннему увлечению молодости, по первой влюбленности, считая, очевидно, этот брак невыгодным и отстаивая (как он их понимал) интересы брата и семьи в целом. Из-за этого возник временный разлад. Но в принципе в этой семье разрыв был невозможен: ведь Кайсаровы – люди по натуре мягкие, привязчивые, искренние, способные любить глубоко.

Если бы выстроить братьев Кайсаровых не по возрастному ранжиру, а по тому, кого современники считали лучше, – то картина выглядела бы так: Андрей, Михаил, Паисий, Петр.

Михайла был мечтательным и чувствительным, жертвовал шумными забавами для уединения.

Андрей же, напротив, любил веселые игры, общество сверст-  
ников и предпочел бы их занятиям с домашними учителями, если б не строгая маменька. Впрочем, учиться тоже нравилось, больше на уроках словесности. Писать казалось легко, особенно, что придумается. Читал с удовольствием и многое. Необычайный порядок в душе и ясность в уме появлялись, когда читал мудрого, всегда высокого Ломоносова. Нравилась ему книга Плутарха для детей, содержавшая биографии греческих и римских героев. Пытался Андрей и рисовать. Пел. Любил русские народные песни. При этом замечал, как мощная волна настроения – грустного или веселого – словно подхватывала его и бросала в пучину людского моря. Души сливались в песне. У Андрея это всегда вызывало восторг и прилив братской любви к людям.

Паисий, в котором сочетались сердечность и верность, безрассудная смелость и практический ум, не обладая всеми талантами братьев, любил разделять мальчишечьи игры Андрея. Вместе они (ведь разница в возрасте всего год) в семь-восемь лет обучались верховой езде, проводили часы на конюшне, на улице среди дворовой и крестьянской ребятни, в лесу, на реке Медведице. Иногда старшие брали их на Волгу посмотреть, как бурлаки тянут груженые баржи, как баркасы и лодки рыбаков теряются в необозримом просторе великой реки. Андрей бегал береговыми тропками бурлаков, называемыми бичевники.

Часто ездили на прогулки верхами. Следил за верховой ездой мальчиков, готовил им лошадей, рассказывал об особенностях нрава этих животных бывший суворовский солдат, привезенный из Рязанской губернии Тимофей Лебединая Шея. А учил их всем правилам поведения в седле, выправке кавалериста, обращению с оружием дальний родственник их, живший в том же Аткарском уезде, в деревне Федоровке, Александр Афанасьевич Кайсаров, подпоручик Владимирского полка, которому в то время было около двадцати лет.

Паисий в этих занятиях преуспевал, и впечатлительный Андрей негодовал в душе, временами на брата, временами – на себя самого за то, что не так много, как он, мог находиться в седле.

Больше всех из братьев Андрей любил Михайлу и тянулся к нему какими-то неясными тайниками души. Позже Андрей напишет: «…Хоть я и брат Михайлы, но недавно ещё узнал его и узнал с самой хорошей стороны. Мне кажется, что я ни с кем не мог бы жить так ладно, как с ним, хотя мы живучи в одном доме, в сутки не больше 5 часов бывали вместе. И хотя я привык жить всегда в артели…».

Михайла, читая Андрею что-либо вслух, подбирал чтение та-  
ким образом, что оно заставляло расчувствоваться и прослезиться, и все в этом чтении было похоже и непохоже на действительность. Андрей впадал в глубокие раздумья, и, укладываясь спать, сопоставлял: да, деревня (которую он любил всем сердцем!) прекрасна, и явь даже иногда лучше описаний книжных, порой же, наоборот, книжные – живописнее, экзотичнее, таинственнее.

Как хорошо умеют нарисовать писатели, как верно! – думал он. Он и сам сочинил нечто подобное, исписав крупным ещё по-  
черком двойной лист бумаги.

Однако же здоровые, кудлатые лукавые мужики и крикливые бестолковые, вечно занятые работой и от этого немного туповатые, бабы нисколько не походили на книжных пастухов и пастушек.

Хотя Андрей не раз пытался подглядеть, не уходят ли молодые крестьянки куда-нибудь в лес, чтоб поплакать или тайно встретиться со своим любимым (особенно любопытно было, что за слова они говорят друг другу? Слова все-таки очень занимали Андрея! И похоже ли это на то, что в книгах?), но никак не удавалось ничего такого заметить. И он стал все больше подозревать, что ничего такого и нет.

А однажды летом Андрей, проснувшийся рано от яркого солнца, бьющего в глаза, вышел на улицу и по привычке попал на хозяйственным двор, полный крестьянских трудов; здесь увязался за Ферапонтом и Гераськой Ивановыми, которые по приказанию Лебединой Шеи шли за лошадьми в поемные луга на реке Медведице.

Спустившись в ложбину за ближним осокорьем, они вдруг увидели, как здоровый, костлявый и немолодой уже мужик прижал к ровному широкому стволу осокоря крестьянскую девушку. Взгляд его, косивший на мальчиков, был сонно-хмелен, дик и неприятен, Ферапонт с Гераськой – они вдвое старше Андрея и уже носили прозвище «женихи» – потянули барчука в другую сторону.

Как будто ничего и не произошло… Но книжная идиллия о пастухах и пастушках вдруг померкла перед этой встревожившей его реальностью. Он спускался в пенную зелень низины, погружаясь в нее как в воду, уже без былой радости взирая на выгулявшихся коней.

– Что ты испугался? – спросил с насмешливой участливостью Ферапонт.

Андрей скорчил презрительную мину и промолчал.

Он мучился вопросом, рассказать ли о своих наблюдениях Михайле? Но как обойтись, чтоб не говорить о виденном утром. Он так ничего и не решил.

Однако, придя домой, разорвал лист бугроватой с синевой бумаги, где он начинал сочинять повествование о двух пастушках, в духе той повести, что слышал от Михайлы.

Крестьяне бесконечно занимали его, и он начал понимать, что книжки о них не пишут, а если пишут, то лгут. Об отношениях крестьян и помещиков тоже не то говорится.

Кайсаровы жили со своими крестьянами ладно, чуть ли не одним миром, как бывало часто в российской глухой провинции с небогатыми дворянами. Если Наталья Васильевна строго обращалась с ними, то все видели – ведь жизнь ее семьи не была скрыта от них, – что и со своими детьми она строга. И чаще в справедливости ей было трудно отказать, хотя в мелочах она оказывалась излишне дотошной и раздражалась порой именно из-за мелочей. Но это уж характер! Все понимали. В целом крестьяне и помещица жили безбоязненно друг к другу, и в случае нужды каждый мог рассчитывать на помощь другого.

Не хочется забегать вперед, но нужно привести на этот счет слова мелкопоместного Ивана Бунина; которые будут сказаны через его лет после описываемых событий: « Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще и душа их была более типична для русского… Быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обуславливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, так близко не связана, как у нас. Душа и у тех и у других, я считаю, одинаково русская».

Андрей любил бывать на улице, лузгать семечки с детьми дворовых, смотреть игры во время зеленых святок, прыгать со всеми через костер, стараясь не замечать тревоги в глазах маменьки: ведь совсем недавно Петр упал с понесшей его лошади и поранил себе висок, глаз, задев верхнее веко. От этого глаза стали как бы разными, один казался немного вытянутым и прищуренным.

В детстве Андрею довелось видеть множество сельских праздников: настоящих спектаклей, веселых представлений, в ко-  
торых участвовали и господа, и крестьяне, с той только разницей, что помещики реже играли и пели, а чаще смотрели на праздники – уж в этом-то удовольствии никто себе не отказывал, скрашивая таким образом довольно монотонную жизнь провинции. Но нередко веселье заражало и дворян-помещиков: какая-нибудь бабушка-княгиня вдруг резво выскакивала в круг и выплясывала несколько колен всем на потеху.

Начинался год, когда старый по сути ещё не закончился, – зимними святками. С 25 декабря по 6 января, с сочельника до веле-  
сова дня. Это время совпадает с сильными морозами, вьюгами, гульбищами нечистых духов и злых ведьм, которые скрадывают месяц и звезды, а солнце прячут. Все заволакивается морозною заволокою и кажется мертвым.

Однако, именно в это время, в скрытых за вьюгами небесах родится Коляда – солнце-младенец и происходит поворот солнца на весну, на омоложение. Солнце наряжается по-праздничному и едет «в малеваному возочку» в теплые страны (к весне и лету).

Зимние святки – самый веселый разгул славянских празд-  
неств. В эти дни юноши и девушки «наряжались в хари», или в «лярвы и страшила», ряженые ходили по дворам, пели колядки – песни, прославляющие Коляду, дающего всем блага. Прославляли благополучие дома и семьи, где колядовщики весело требовали гостинцев, шутливо предрекая разорение скупым.

В это время дом Натальи Васильевны Кайсаровой был открытым для ряженых.

Каждый год приходили колядовать малороссы, состоявшие при казенной палате по соляным делам и жившие неподалеку. В их среде наиболее прочно сохранились к тому времени древние обычаи, коих смысл иногда был современникам не совсем ясен, они просто смотрели то, что передавалось из поколения в поколение и зародилось Бог знает в какой древности. Посещения малороссов запомнились Андрею как самые экзотические.

Шумная толпа заваливалась в дом с клубами морозного возду-  
ха. Вперед выступала молодка с румяными щеками, нарядная, в расписной шали. Она кланялась и подавала хозяевам кутью – пшеничный или рисовый фруктовый суп со сладким взваром из яблок и груш: «Кланяется вам батько, кланяется маты хлибом и силью, натя вам вичэрю».

Пока хозяева пробовали «вичэрю» (ужин), хор пел, выпрова-  
живая кутью: «Пишла кутья из покутья, а взвар – на базар» и т. д.

Потом самая юная из девушек-хохлушек тонким голосом пела:

|  |  |
| --- | --- |
| *Меланка ходила,*  *Василя просила!*  *Василю, мий батько!*  *Пусти меня в хату!* | *Я жита не жала,*  *Честный крест держала.*  *Золоту кадильницу*  *Богу свечку ставьте.*  *А на пирог дайте![[5]](#footnote-5)* |

Хор весело подхватывал.

Колядующие меткими поговорками наподобие «как хлеба край – так и под елью рай», «как хлеба ни куска – так и в тереме тоска» и импровизацией сыпали хозяевам комплименты, впрочем, чередующиеся с шуточными угрозами, посулами неблагоприятной погоды во время будущего сельскохозяйственного года, если хозяева не дадут колядующим гостинцев под щедрость будущего урожая. Чем щедрее были хозяева, тем богаче должен был быть у них урожай. Хозяева не скупились: вместе с печеньями, пряниками, кренделями и плюшками, длинными конфетами, обвитыми «золотыми» и «серебряными» махорками в котомки колядующих летели и монеты.

А под окном уже стояли русские девушки и молодые парни и пели хозяйке:

*Подари, государыня, колядовщиков,*

*Наша коляда ни рубль, ни полтина,*

*Наша коляда всего пол-алтына.*

*Не менее весело проходила масленица.*

Первый блин приносился памяти усопших родственников: его клали на окно, а затем отдавали нищим. Потом семейство начина-  
ло есть блины, говоря перед этим: «Помяни, Господи, души усопших не к ночи, а ко дню». Горячеиспеченный блин символизировал солнце, солнечную энергию и тепло. Съедающий блин, как бы съедал, вбирал в себя энергию, жизнь. Поэтому масленица – праздник жизни и молодой энергии солнца. Зима уходила.

За околицей катались с горок. Женская половина – на ледян-  
ках и салазках, а парни – на скамейках.

Иной раз были и кулачные бои, перемежавшиеся с азартною игрою в снежки. Сперва начинали мальчики, потом по малу ввязывались в бой взрослые, вступали в рукопашную довольно жаркую. Увечья редко случались, потому, что старшие не допускали этого.

Наталья Васильевна не разрешала мальчикам подходить близко к кулачным бойцам; они смотрели на все издали.

Но вот наступал последний день масленицы. Он назывался прощенным. В этот день прежде ссорившиеся мирились, и кто из них чувствовал себя виноватым, тот первым кланялся и просил прощения, говоря: «Прости меня Бога ради!». Другой отвечал: «Бог тебя простит». С этими словами искренне целовались. Младшие просили прощения у старших.

А молодежь в прощенный день провожала масленицу. Для этого устраивали «колесницу»: на сани-дровни ставили телегу, а иногда и две, привязав их веревками к саням, как бы говоря этим, что уходящая зима везет на себе лето. В «колесницу» впрягали две, три и более лошадей. Украсив упряжь как можно живописнее, ездили по селу с песнями. За этим экипажем тянулась цепь саней, наполненных молодками и вдовицами, парни с ухарским видом сопровождали веселый выезд верхами. В конце поезда кипела пешая шумная ватага мальчиков.

Во время гонок по улицам тем, которые сидели в передней «колеснице» (самым озорным) выносили из домов разные закуски и питья, потчевали их, слыша в ответ похвалы и шутки. Так заканчивалась масленица. Столь шумных празднеств не видно было уже до начала лета, до русального заговенья.

Этот праздник начинался на саратовщине так. Девицы и мо-  
лодки шли за село. Впереди несли вязанку соломы, рубашку, пояса, веревки. В поле, на выгоне делали чучело – Кострому. Связав ему руки и ноги поясами и веревками, клали затем на носилки и несли в улицу села с песнями и плясками. Кострому всегда провожала толпа детей. Наконец, все шли к реке, в которую бросали чучело и топили. Таким образом проводив весну, шли встречать лето.

На поляне играли в горелки, водили хороводы, пели и плясали. Здесь же кипели самовары. Были слышны звуки рожков и гармоней, заливистые песни пирующих. Пляски, песни, хороводы кончались с закатом солнца.

Больше всего Андрея поражали две вещи: нескончаемое трудолюбие крестьян, суровая жизнь вечного работника и вместе с тем, неизвестно откуда берущиеся богатство воображения, фантазии, образность языка, поэтическая его мягкость. Легкие, мудрые бесчисленные пословицы так и пересыпали речь крестьян. Казалось, не нужно ничего придумывать, пользуйся пословицами – формулами на каждый случай, и вся жизнь будет открытой и ясной всякому, кто понимает эту жизнь. Не случайно мы находим в письмах Андрея Сергеевича множество пословиц и поговорок, в которых воплотились мудрость, озорство народной речи и неподдельная поэтичность.

Семья Кайсаровых вполне влила свой образ жизни в народный и природный календарь этих мест. Размеренная, сытая и в общем-то счастливая жизнь ее текла, спокойно катясь по извечному кругу.

В будние дни все были заняты хозяйственными (дети – учебными) делами. В субботу топили баню. В воскресенье, после церковной службы, гащивали у них попеременно соседи Каракозовы, вдова Неклюдова, Жердинские, Мельгуновы, Ланские. Приезжал в легкой бричке Василий Алексеевич Злобин. Наведывались саратовские Кайсаровы из своей Федоровки. Обсуждали последние уездные новости, говорили о хозяйстве, ужинали, играли в карты.

Внезапно эта идиллия кончилась.

Летом 1795 года из Москвы приехал Михаил Кайсаров, который учился в Московском университетском благородном пансионе. Ему Наталья Васильевна поручила дела с московским жильем для всей семьи. Он сообщил, что заканчивают приводить в порядок старый двухэтажный домик родственницы Кайсаровых и подруги Наталья Васильевны вдовы Козловской, не жившей пока в Москве. К концу лета дом будет готов принять в свои стены всех и всё хозяйство. Младшим, последним детям надо учиться. Дети подросли. Ничто уже не удерживало Наталью Васильевну в деревне.

В барановской усадьбе на несколько недель воцарилась настоящая кутерьма. В хозяйственном дворе готовили телеги и чинили конскую сбрую. Сбивали легкие клетки для кур и гусей. В комнатах искали вещи по списку. Появились портные: детям шили новые платья. Наталья Васильевна тоже сшила себе кое-что по моде новых лет. Варили варенья, сушили груши и яблоки, готовили соленья впрок, вялили рыбу, в больших бочках отмачивались грибы для солки, на пчельнике курился дым: там качали мед.

Андрей и Паисий зубрили немецкий и французский. Вечерами Наталья Васильевна сама беседовала с мальчиками по-французски и обыкновенно бранила за произношение.

В конце лета 1795 года двенадцатью подводами и каретой, запряженной четверней, госпожа Кайсарова отправилась в Москву. Андрею было 12 лет. В этот раз с ним впервые выехал девятилетний Никита – сын аткарского дворового крестьянина Евдокима Никифорова, – которому предстояло служить Андрею Сергеевичу до конца его дней.

Паисий и Андрей, несмотря на отговоры, решили проделать весь путь верхами, готовя себя к будущим никому не ведомым испытаниям.

Прощайте, милые леса и луга! Прощайте, пыльные сады с ме-  
довыми грушами и яблоками! Прощай, Медведица! Прощай, дом, где прошло детство!



Глава вторая

Под небом двух столиц

Н

а тринадцатом году жизни Андрей Кайсаров поступил в Московский благородный пансион при университете. Но проучиться пришлось один только год. Трудно себе представить, что смерть царицы, самодержицы всея Руси Екатерины II, могла повлиять на судьбу никому не известного мальчика. Но это было именно так. Вступивший на престол в конце 1796 года Павел I призвал всех молодыхдворян, записанных в полки, к службе.

Новый император начал преобразования в стране. Он предоставил право «людям, ищущим вольности», апеллировать на решения присутственных мест. Отменил хлебную подать, крайне тягостную для крестьян. Взамен установил денежный сбор – по 15 коп. «за четверик», – что значительно легче при отсутствии злоупотреблений (которые – увы! – не поддавались расчетам императора). Именным указом было повелено «дворовых людей и крестьян без земли не продавать с молотка или подобного на сию продажу торга». Указ гласил о предоставлении крестьянам дня для отдыха и запрещении отправления барщины по воскресеньям. Здесь же помещался совет владельцам крепостных ограничиваться трехдневной барщиной (коему, конечно, на местах не спешили внимать).

Вместе с тем, были отменены важнейшие статьи жалованных грамот дворянству; ограничены или также отменены некоторые личные права, например, свобода от телесных наказаний. Павел I, обладавший спартанской резвостью характера и стоицизмом воина, ненавидел праздность, разврат и безбрежную лень большей части екатерининских дворян. Он считал причиной развала дел в государстве «небрежность и личные виды», уверился, что дворяне и все дворянские дети обязаны служить.

Молодым людям запрещалось ездить в заграничные универси-  
теты «по причине возникающих ныне в иностранных училищах зловредных правил к воспалению незрелых умов, на необузданные и развратные умствования подстрекающих, и вместо ожидаемого от воспитания посылаемых туда молодых людей, пагубу им навлекающих».

Павел Петрович возвратил из сибирской ссылки Александра Николаевича Радищева, даровал свободу Костюшко. Извлек из заточения в крепость просветителя Николая Ивановича Новикова, из ссылки в деревню – Ивана Петровича Тургенева, предоставив ему должность директора Московского университета; из-под над-  
зора – их друга Ивана Владимировича Лопухина, которого взял к себе на службу в должность секретаря. Вместе с польскими пленными император выпустил всех заключенных по тайной экспедиции.

10 ноября 1796 года именным указом отменялся чрезвычайный рекрутский набор по 10 человек с тысячи, объявленный незадолго до кончины Екатерины II. «Нельзя изобразить,.. – писал историк, – какое приятное действие произвел сей благодетельный указ во всем государстве, – и сколько слез и вздохов благодарности выпущено из очей и сердец многих миллионов обитателей России. Все государство и все концы и пределы оного были им обрадованы, и повсюду слышны были единые только пожелания всех благ новому государю».

Среди народа распространился слух, что царь хочет освободить крестьян, и что они будут служить только ему. По всей стране начались волнения, которые где убеждением, где военной силой усмирял князь Репнин. Ибо Павел также боялся своеволия черни, как лени, праздности, а то и предательства дворян. Он былубежден, что огражденные от злоупотреблений крестьяне лучше будут содержаться под блюстительством помещиков, именно поэтому он роздал помещикам около 50000 государственных крестьян, развеяв как дым их мечту о свободе и службе доброму государю.

Особенно пристрастно Павел I преобразовывал армию, оказывая ей буквально ежедневное внимание. Даже в день своего восшествия на престол, несмотря на множество неотлагательных государственных дел, он присутствовал на вахт-параде в Измайловском полку.

В хозяйственной части армии вводилась строгая отчетность, что устраняло произвол начальников. Содержание солдат было улучшено.

Зато офицерская служба становилась суровее. Для передвиже-  
ния в личном составе и замещения вакансий устанавливались строгие правила. «От фельдмаршала до солдата – все должны были переучиваться, зажить внезапно нахлынувшей новой жизнью».

Историк пишет: «Возбуждение, охватившее войско, было тем сильнее, что, на первых же порах, все увидели последствия небре-  
жения к тому, что Павел называл службой. Последствия эти особенно чувствительны были в гвардии, находившейся постоянно перед глазами государя. «При императрице, – рассказывает офицер Преображенского полка Комаровский, – мы думали только о том, чтобы ездить в театры, в общества, ходили во фраках, а теперь с утра до вечера сидели на полковом дворе и учили всех нас, как рекрут; гвардейские солдаты, занимавшиеся прежде, в свободное от службы время, торговлею, были так обременены постоянными ученьями и мелочами в обмундировании, что едва имели время для сна. И нельзя было не учиться: ежедневно, несмотря ни на какую погоду, император присутствовал на вахт-парадах и малейшие отступления от устава не ускользали от его взгляда: тут же на месте подвергал он взысканию виновных и, как быв противовес этому, поощрял усердных. Гвардейцы, однако, сами желали угодить новому своему государю, и через несколько дней екатерининская гвардия, по крайней мере по внешности, превратилась в «гатчинскую».

Относительно обновления всей армии уже на второй день своего царствования он объявил следующее повеление: всех числившихся в полках, но в действительности не исполнявших обязанностей военной службы, как-то: камергеров, камер-юнкеров и т. п. из таковых списков исключить, а всем гвардейским офицерам, находившимся в отпуску, немедленно явиться на службу. Последнее повеление государя сообщено было во все губернии.

Объявлены были и другие распоряжения, клонившиеся к уничтожению «разврата» дворян на службе. Ни один дворянин, не мог уже вступить в службу иначе, как только нижним чином, а за поведением и службой в гвардии нижних чинов из дворян установлен был строгий надзор. «Если же они, – говорилось в указе, – будут не прилежны к службе и не вежливы, также усмотрятся во фраках одетыми и станут делать шалости по городу, то будут выписаны в солдаты в полевые полки».

То, что нам сейчас привычно и рассматривается как справедливая служба (от младшего чина к старшему; соблюдение дисциплины; обязательность формы и т. д.), в павловский период было чуть ли не революцией в армии и вызывало большое недовольство дворян, чувствовавших, что от дарованной им Екатериной грамоты о вольности дворянской остались одни клочки.

Сколь сильна была радость в крестьянских семьях, освободившихся от рекрутского набора, столь сильно было горе в семьях дворян, отправлявших сыновей в армию, ибо их дети шли буквально в солдатские чины (хотя бы на первый год), в рекруты, отдавались под произвол солдафонов.

«Везде и везде, – говорил Болотов, – слышны были одни толь-  
ко сетования, озабочивания игоревания; везде воздыхание и утирание слез, текущих из глаз матерей и сродников: никогда такое множество слез повсюду проливаемо не было, как в сие время. Со всем тем, повеление государское длжно было выполнить. Все большие дороги усеяны были кибитками скачущих гвардейцев и матерей, везущих на службу и на смотры к государю своих малюток. Повсюду скачка и гоньба; повсюду сделалась дороговизна в найме лошадей и повсюду неудовольствия».

Наталья Васильевна Кайсарова, решавшая судьбу сыновей, не противилась желанию царя взять их на службу, она хотела, чтобы дети пошли по традиционной в семье дороге – военной. Однако, Петр тогда учился в Московском благородном пансионе. Михаилу (с 1795 года), Андрею и Паисию пришлось надеть военные мунди-  
ры.

Зимою оканчивавшегося уже 1796 года в одном из санных ка-  
раванов, тянувшихся к Петербургу по закурчавившемуся вьюгой Московскому тракту мчались санки с кибиткою, в которых сидели укутанные в тулупы пятнадцатилетний Андрей и четырнадцатилетний Паисий Кайсаровы. Пронзительная вьюга охлестывала их санную кибитку снежными иглами. Казалось, санки летят не по дороге к людному городу, а на зловещих снежных крыльях – прямо в небо, где нет и не будет никакого тепла и спасения.

Близились святочные игрища темных духов, скрадывавших солнце и луну и мешавших весь белый свет с мутною пургою. Но даже страх перед кознями грозных стихий не владел мальчиками. Они от холода сделались словно ледяные бесчувственные глыбы.

На станциях Никита бросался хлопотать о горячем чае, горячих щах и устраивал постели поближе к печи. И вот уже на отогревшиеся веки накатывались знойные саратовские сны, где залитые солнцем яблоневые и вишневые сады утопали в горячей пыли, и золотые осы, мухи и комары дребезжали над ухом, напоминая, впрочем, назойливый зуд снежной метели…

Пронизывающий ветер, темно-серые громады домов со слепыми, замерзшими окнами, гранитные набережные, не удерживающие снег на своей гладкой, отполированной вьюгами поверхности, – с серым небом над всем этим – вот что первым увидели в Петербурге Кайсаровы. И вид этот не возбуждал в душе никакого радостного тепла, даже от сознания того, что они в столице государства Российского, городе Петра Великого.

Преображенский и Семеновский были старейшими в России гвардейскими полками. Энциклопедия военных и морских наук пишет: «Полки гвардейские служили… рассадником офицеров для армии». Всякий, кто поступал в эти полки в том звании, в котором записан, служил до того времени, когда царь непосредственно утверждал баллотировку в офицеры, на ней уже основывалось производство в чины.

Андрей был записан капралом. Это не офицерский чин, а солдатский. Мы в точности не знаем, сколько пришлось прослужить Андрею Кайсарову до получения звания (тоже ещё не офицерского) сержанта. Скорее всего год, так как, по предписанию Павла I, всякий служивший как минимум год должен учиться до получения воинского звания в полку, а затем год служить в новом звании до очередного назначения или перемещения в другой полк.

Служба и воинская учеба были суровыми, Андрею повезло еще, что он попал в Семеновский полк «гатчинцев» – детище Павла I. Этот полк уже был обучен на новый манер самим Павлом Петровичем до его воцарения на престол и считался как бы законодателем нового направления перестройки армии, образцом для подражания, а, следовательно, Андрею Кайсарову пришлось сразу учиться тому, что требовалось в армии теперь, а не переучиваться. По сути, он и не знал другого порядка, считая этот строгий порядок естественным.

Во-вторых, полк был любимцем императора и в нем менее свирепствовали царские наказания. Кроме того, шефом полка счи-  
тался цесаревич Александр Павлович, наследник русского престола, а его характер известен как более мягкий и ровный против прихотливого, зависевшего от настроения характера Павла I. Впрочем, обремененный многими государственными и общественными делами, Александр Павлович едва раз в три дня (а чаще – реже) появлялся на вахт-параде. Павел I бывал в этом полку лишь зимой, когда тот находился в Петербурге, так как летом Семеновский полк все почти время стоял в Гатчине. Основное время служивших в нем проходило в гарнизонной службе – в охране царского дворца, в несении городских и полковых караулов, участии в церемониях, парадах, сопровождении кортежей.

Сержанту Кайсарову в то время пятнадцать-шестнадцать лет. Только мундир, который Никита постоянно начищал для него, да поддеваемая вниз теплая одежда, заботливо подготовленная маменькой, делали этого худенького, невысокого, востроглазого мальчика несколько похожим на молодого военного.

Петербург переменил для Андрея многое. Здесь было все другое: холодные, пугавшие ветрами, дни, и часто наоборот мягкие белые ночи, делавшие город с его островами, мостами, дворцами почти нереальным; сам город европейского типа после полуазиатской, вольготно разбросанной Москвы казался холодным, слишком каменным для русского сердца, хотя и восхищал ритмичной красотой архитектуры; жизнь в отрыве от семьи и только что обретенных университетских знакомых была одинокою и заставляла в поисках дружбы сближаться не с теми, которые могли бы понять его иполюбить; новые служебные обязанности вынуждали учиться многому неизвестному ранее и наблюдать близко будничную жизнь солдат и офицеров.

Первое время, может быть, он и мечтал о служебной карьере, а, в большей степени, о подвигах и походах, о военных приключениях и славе, о том, чтоб быть видным всем и любимым. Особенно это последнее: быть любимым!

Он вглядывался в лицо императора, когда тот, принимая вахт-парад, медленно проезжал до середины строя, но лицо его не выражало ничего индивидуального (тем более, интереса к одному из солдат!); лицо его было значительно, как у памятника. Надежда каждого солдата и офицера быть замеченным разбивалась об эту твердыню. Впечатление страха усиливала тяжесть неопределенно-строгих речей императора.

Напротив, цесаревич Александр Павлович часто улыбался, подходил к солдатам и офицерам, однажды даже коснулся белой перчаткой плеча юного Кайсарова. Однако, более за этим ничего не последовало такого, что бы хоть сколько-нибудь изменило привычный распорядок его жизни. А отличиться хотелось хоть чем-то.

Позже, через пять лет, в его письме к другу, мы найдем беглый намек на то, что заблуждения ли, желания ли такого рода были (всего вернее именно в петербургские годы): «…Я просил у матушки позволения идти в отставку. Что делать мне в службе? Особливо в военной?.. Рваться Бог знает из чего! Не те уж лета! Можно было так дурачиться в 13 лет, а теперь я слишком умен для того, чтоб не чувствовать, как это глупо». Значит все-таки «рвался», «дурачился»?

В одном из писем 1799 года, когда Кайсарову было уже неполных семнадцать лет, он ещё выражал надежду продвинуться по службе: «Окрылись плац-адъютантские ваканции, и комендант обещал поместить меня; но Бог знает, что-то ещё будет! Поставь хоть ты за меня свечку Николаю-Чудотворцу и попроси его поприлежнее». Но ни Бог, ни начальство не внимали тайным помыслам скромного, рассеянного юноши, не выказывавшего рвения, и служба опять текла однообразно.

Приехав из провинции вначале в Москву, затем в Петербург, Кайсаров думал найти в этих городах мир поэзии, красноречия, участливое, приветливое просвещенное общество. Но быстро узнал, что круг интересов военных ограничен, хоть они, в большинстве, по-своему хорошие люди, надежные товарищи. Однако, им палец в рот не клади: язык, как бритва. Поэтическая натура вих глазах – просто слюнтяй; а ум, ещё зыбкий в суждениях, вызывает однозначно снисходительное отношение. Почувствовав опасность искренности, Андрей, слегка пригашая, а то и пряча свой вдохновенный взор, больше молчал и наблюдал. Однообразие муштры недолго удерживало в Кайсарове заблуждения насчет военной карьеры, а подвиги казались далеки и несбыточны. Холодный Петербург заставлял его часто прибаливать. Именно здесь обнаружились первые признаки будущей лихорадки. Здесь, в армии, подражая старослужащим, он начал курить трубку, которая, казалось, согревала в холод.

В Преображенском полку, где служил Паисий, командовал Аракчеев. Нигде в армии не было так тяжело служить, как в Пре-  
ображенском (бывшем екатерининском, и именно поэтому!) полку. Паисию приходилось, может быть, ещё более несладко, чем Андрею. Но он был прирожденным военным, чувствовал призвание к службе, постигал ее с интересом и энтузиазмом. Рвение и строгая дисциплина требовали неотлучности из полка, при таких условиях встречи с братом могли быть крайне редки и только зимой, когда оба полка (Семеновский – частично) стояли в столице.

Хотя родни у Кайсаровых везде находилось много, в том числе и в Петербурге, и матушка постоянно писала об этом, да Андрей Сергеевич не очень-то был охоч до посещения родственников, предпочитая остаться в одиночестве, поэтому страдал от невозможности высказать и испытать сердечную привязанность. Книги для чтения попадались случайные. Начальства находилось много, но наставника и духовного старшего не было.

Единственной отрадой оставалось после смены с дежурства побродить по городу в солнечные теплые часы (холод он переносил хуже), да зайти в гостиный двор за любимыми конфетами, ведь, по сути, пятнадцатилетний воин был ещё ребенок. Об этих конфетах он вспоминал позже в письме к другу уже из Москвы в Петербург: «… Конфеты твои сладки; но признаться длжно, что письмо твое для меня гораздо приятнее имеет вкус, ты мне этими конфетами напомнил, как я в царствующем граде Питере с тесачишком трюх, трюх, а инде рысью, для утоления своей печали захаживал в лавку, в которой они продаются. Для справки спроси у тетушки, не в гостином ли ряду эта лавка, в которой они их покупали?»

В армии практически все солдаты и офицеры были старше его.

К тому же армейская среда, отличавшаяся невысоким уровнем интеллектуальных интересов, страстью к вульгарному остроумию, не позволяла долго наслаждаться тайными мечтами и личной свободой, быстро разочаровала. Казарменные интересы не простирались дальше карт и попоек. Андрей Сергеевич тоже любил веселиться, имел насмешливый нрав, но не по возрасту грубые шутки, снисходительное отношение старших и бывалых к младшему и неопытному отвращали от компании, и он, который, по его же собственным словам, привык «жить всегда в артели», сторонился сослуживцев порой, а в невольных компаниях больше слушал и наблюдал. Вскоре Кайсарову уже казались сродни аристократическая независимость, гвардейская удаль офицеров.

Опыт общения накапливался. И, когда в зиму 1798 – 1799 года в звании ротмистра (в кавалерии ротмистр соответствовал капитану в пехотных и других войсках, поэтому Кайсаров сам себя называл ротмистр, штабс-ротмистр, капитан, штабс-капитан) был переведен в Москву, он уже свободно слился с той небольшой офицерской «артелью», которая его окружала.

Об этом периоде Андрей Сергеевич оставил много откровенных и насмешливых заметок. Вот некоторые из них в виде писем к другу: «Ну! если б ты знал, какие чудеса чудесили мы вчера. До 8 часов прыгали, резвились и проч. Половина, или лучше сказать, все кроме Ушакова и меня дерут песни, бранятся по матерну, дерутся и всё, что можешь вообразить».

За этими бодрыми строками, очерчивающими, однако, огра-  
ниченный круг армейских интересов, Андрей Сергеевич совершенно опускает описания однообразных и беспрекословных дежурств, изнурительных учений, взаимоотношений со старшими по чину и сослуживцами – солдатами и офицерами, – которые все были очень неодинаковыми и не бесконфликтными, о чем можно найти некоторые намеки в письмах.

Внешняя мальчишеская резвость, однако, не могла исчерпать внутреннего накала жизни юноши, которому судьбой предназначалось служение высокое. Страдая от неимения друга (или подруги), он искал привязанности, был влюбчив. Но жил не только чувством и развлечением одного дня, слабо поддавался непритязательным соблазнам очень свободной армейской среды: там мало предвиделось пищи для ума, размышлений («философии», как говорил Кайсаров).

Обладая душой открытой и отзывчивой, добрым сердцем, готовым откликнуться на любовь ближнего, он жаждал отдать накопившиеся чувства все и сразу, отдать самому лучшему, самому достойному человеку, жаждал иметь друга, на которого можно опереться в жизненных бурях, а, главное, – с которым можно говорить обо всем, обсуждать все, что с ними происходит. Он хотел и свое отражение дружбы видеть в глазах любящего его человека, тайно желая и сам купаться в дружеских излияниях чувств взаимной любви и нежности. Посредственность окружающих утомила его, Андрей Сергеевич мечтал о привязанности, возвышающей душу и дающей гамму новых благородных чувств, мечтал жертвовать и видеть жертвенность в свою честь – может быть самую невинную жертвенность. Возвышенные чувства его, долгие годи остававшиеся лежать во глубине души, истомили Андрея Кайсарова, а юный их прилив всё не ослабевал и искал выхода. Молодой человек в душе готов был даже страдать ради кого-то; ему нужно было использовать тот избыток энергии и чувствительности, который в нем таился.

Наконец, алтарь возвышенных и добрых чувств был найден. Им оказалась казенная квартира Тургеневых на Моховой, в здании Московского университета.

Глава дома – Иван Петрович Тургенев – директор Московского университета (1754 – 1803), просветитель и масон, переводчик масонских сочинений Иоана Масона «Познание самого себя» и Иоана Арндта «Об истином христианстве», имевших несколько переизданий, и автор собственного сочинения «Кто может стать добрым гражданином и подданным верным» (М., 1796), – принадлежал к плеяде просветителей XVIII века и нес в себе многие наиболее характерные черты той эпохи. Большое влияние на него оказывали два очень близких друга – Николай Иванович Новиков и Иван Владимирович Лопухин.

К тому времени, когда его узнало поколение Кайсарова, Новиков был старик – мудрый, многоопытный, больной и усталый.

В семидесятые годы восемнадцатого века Новиков увлекся учением о «братстве всех людей» и вступил в орден. А позже создал и свой орден под названием «Гармония», куда, кстати, приглашал через архитектора Баженова и (тогда цесаревича) Павла Петровича, чего не забыли ему ни Екатерина II, ни Павел I, когда стал императором.

Новиков разделял гуманные стороны масонского учения и критически относился к мистическим исканиям «братьев», ведь мистика начинается там, где кончается разум. А просветителей не случайно называют ещё вторым словом – рационалисты, то есть поклонявшиеся разуму.

«Братья» пытались постичь собственное бытие в универсальном бытии мира и человека, необъяснимом с точки зрения обычного разума. Разум всегда останавливался перед мистикой, не в силах выйти из рамок логики. Новиков предпочитал всё разумное и целесообразное, он был предприимчив и гуманен конкретной реалистической гуманностью, и быстро понял, что целесообразнее извлечь из масонства выгоду для отечества, используя средства ордена для просветительских целей.

Приехав в 1779 году из Петербурга в Москву, Николай Иванович, помимо арендованной им университетской типографии, на средства ордена создал ещё две типографии, образовав типографическую кампанию, объединив вокруг себя около ста переводчиков, редакторов, активных книгопродавцов. В течение десяти лет Новиков со своими единомышленниками издавал последовательно пять журналов и газету «Московские ведомости». Одновременно его типографии выпускали сотни книг по всем мыслимым тогда отраслям знаний. Особенно много выходило учебных книг. Около трети всего изданного в России в те годы приходится на долю новиковских типографий. Николай Иванович открыл книжную торговлю в шестнадцати городах России, создал в Москве библиотеку-читальню. На средства читателей основал две школы для детей небогатых дворян, священников, чиновников; открыл бесплатную аптеку в Москве; оказал большую помощь крестьянам, пострадавшим во время голода 1787 года.

Однако, деятельность его была осложнена постоянной борьбой с Екатериной II и ее приверженцами. Дело в том, что всё почти, выходившее из-под пера самого Новикова, было критическим. Один за другим он выпускал сатирические журналы, чуть ли не ежегодно закрывавшиеся Екатериной. Он критиковал иностранную литературную продукцию развлекательного характера, сравнивая ее с головными уборами, пудрою, помадою, привозимыми из Франции. Но ведь и произведения самой Екатерины, по ее же словам, писались лишь для развлечения.

Результатом той борьбы стало заточение Новикова на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость. Какое сердце не сломит унылое пустое время?! Какой ум не иссякнет, не сгинет в бездне тюремного одиночества?!

Павел I в 1796 году освободил Новикова (вернее то, что от него осталось), но разрешение продолжить издательско-просве-  
тительские дела дать «забыл». Разоренный, больной, оторванный от активной гражданской деятельности, Новиков провел последние годы в Тихвинском, под Москвой, иногда заезжая в столицу. Он совершенствовал и переиздавал ранее написанные сочинения, служил близким и друзьям своими знаниями и добрым сердцем. Таким его знал Кайсаров.

На семью Тургеневых и ее окружение большое влияние ока-  
зывал Иван Владимирович Лопухин, прославившийся среди современников как справедливый судья, автор сочинений о нравственности: «Изображение мечты равенства и буйной свободы с пагубными плодами» (М., 1794); «Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями и опровержение их вредных правил. Сочинение россиянина» (М., 1780). Но больше всего он вызывал удивление и восхищение современников как христианин, как благотворитель. Эта благородная черта впоследствии привела его к личной катастрофе – разорению.

Иван Петрович Тургенев в смысле отеческих советов заменял Андрею Кайсарову отца.

Если круг друзей Ивана Петровича Тургенева и он сам оказали большое влияние на нравственное и духовное формирование Андрея Сергеевича Кайсарова, то было и другое влияние. Оно исходило из значительного для Москвы тех лет культурного центра – Московского университетского благородного пансиона, где часто проходили литературные и музыкальные вечера, ставились спектакли.

Пансион (Царскосельский лицей открылся позже, в 1811 г.) был самым авторитетным сословным учебным заведением того времени, он заметно отличался от бессословных гимназий и университетов своей элитарностью. В пансион принимали дворянских мальчиков с 9 до 14 лет, которые учились по индивидуальным программам, то есть кто-то мог поступить сразу, скажем, в третий-четвертый класс. В общественной жизни и в служебной карьере пансион давал те же права, что и университет, но желающие получить специальное образование (юридическое, медицинское и т. д.) из пансиона принимались в университет без экзаменов (так учились позже, например, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов). Преподаватели, священники, церковь, библиотека, кабинет естественной истории для университета и пансиона были одни и те же, поэтому все друг друга знали.

Кайсаров сблизился с кругом пансионских воспитанников не только потому, что со времени своей учебы здесь знал Прокопови-  
ча-Антонского, молодого, пылкого преподавателя русской словесности Баккаревича, других преподавателей, – в пансионе учились – один раньше, другой как раз в то время – братья его Петр и Михаил. В самые последние годы восемнадцатого века и первые девятнадцатого учились здесь Василий Жуковский, Александр Тургенев, Николай Гнедич, Александр Воейков, Семен Родзянко, Воин Губарев, братья Соковнины и другие.

Директором (позже слово заменилось на «ректор») пансиона в то время был Антон Антонович Прокопович-Антонский. Одаренный человек, он сам писал и переводил ещё для Типографической кампании Новикова; был известным педагогом, внесшим в пансионское управление и обучение немало положительных преобразований и дававший ученикам развиваться относительно свободно, выявляя личные творческие способности.

Кругозор его был широк, но особенно покровительствовал   
он музам: истории, театру, литературе, живописи, музыке, танцам (даже фехтование, преподававшееся тогда в пансионе, считалось одним из видов благородного искусства). Свои идеи, связанные   
с воспитанием человека, Прокопович-Антонский выразил в сочинениях: «Слово о начале и успехах наук и в особенности естественной истории, говоренное в императорском университете…»   
(М., 1791), «Слово о воспитании…» (М., 1798). Он считал, что на воспитание человека и даже на возможность быть счастливым влияют художественно-творческие способности; воображение, его характер и сила определяют направление ума и глубину познаний, «цветное воображение», писал он, «украшает перед нами всю натуру». Поэтому искусствам, эстетическому воспитанию так много уделялось внимания в пансионе.

Прокопович-Антонский жил во флигеле, находившемся во дворе пансиона, и его худощавую фигуру, одетую в мундир профессора, можно было всегда встретить в одном из университетско-пансионских зданий с раннего утра до позднего вечера. Он принимал пансионеров на учебу, в краткой дружелюбной беседе быстро экзаменуя их, определяя уровень подготовки. Он выпускал их, делая из экзаменов целый спектакль, в котором демонстрировались способности выпускников к сочинению стихов, исполнению пьес, рисованию, танцам и проч. При этом получалось так, что все воспитанники были у него всегда «на глазах» и как бы под постоянным надзором.

На пансионские вечера, концерты, спектакли приходили, помимо воспитанников, их семьи, друзья этих семей. Словом, общество собиралось знакомое и образованное.

Сюда-то и пристрастился ходить Андрей Сергеевич Кайсаров в свободные от службы часы, благо в Москве служба соблюдалась не так строго, как в Петербурге, перед очами грозного императора; да и период солдатской муштры уже миновал, хотя в развод надо было ходить исправно, в свой черед, без каких бы то ни было по-  
блажек. Ему повезло, что место его службы в те годы отстояло недалеко от пансиона. В одном из писем находим такое приглашение друга: «Приходи в наш развод в Охотном ряду, я там буду действующим». Охотный ряд – это улица рядом со зданием Дворянского благородного собрания (ныне Колонный зал) и совсем недалеко от университета и пансиона.

Здесь, на Моховой, в конце 1798 года Андрей Сергеевич по-  
знакомился с братьями Тургеневыми, о которых тогда все говорили. Их было четверо, как и Кайсаровых: старшие – Андрей и Александр – оказались ему почти ровесниками, а младшие – Николай и Сергей – были тогда ещё детьми.

Возможно, что Кайсарова познакомил с Андреем Тургеневым Мерзляков, он учился с Андреем Тургеневым в университете и одновременно состоял домашним учителем Николая и Сергея Тургеневых. Алексей Мерзляков и Андрей Тургенев дружили. Их сближала любовь к литературе, философии, языкам. Андрей Иванович уже тогда знал латынь, немецкий, французский, итальянский и английский. А его друг Мерзляков изучил столько же языков с той только разницей, что английский заменил древнегреческим.

Мерзляков часто ходил к Тургеневым. В одну из суббот, когда Андрею Кайсарову не надо было идти в развод, он пригласил его в дом Тургеневых, чтоб познакомить со своим любимым другом Андреем Тургеневым.

Путь мимо Ленивки и божественно-нарядного, как храм античных муз, Пашкова дома к университету на Моховой Андрею Кайсарову был знаком много лет. А вот в квартире Тургеневых он ни разу не был. У входа его ждал Мерзляков, и Кайсаров, немного робея, но превозмогая робость любопытством, вошел в квартиру.

Их встретил старший из братьев Тургеневых Андрей Иванович. Встреча не была церемонной, чувствовалось, что Тургенев о Кайсарове знал от братьев и друзей, и сразу же хозяин покорил гостя своим радушным вниманием и непринужденностью.

Семнадцатилетний, на год старше своего тезки, он казался немного серьезнее. Хотя Андрей Тургенев порой быстро вспыхивал и краснел, как девушка, но тут же проявлялась уверенность в себе. Более того, он незаметно обретал власть над всеми, кто был рядом. Притяжения этого удивительного обаяния не избежал и Кайсаров. Мерзляков вскоре ушел в комнату Николая, и тезки остались одни.

Андрей Иванович не говорил почти о пустяках. Сразу же разговор коснулся любимой литературы. Он читал больше против того, что знал Кайсаров. А Кайсаров читал в основном то же, что все его сверстники: Руссо, Сен-Пьера, Жанлиса, Ломоносова, Хераскова, Державина, Карамзина, журналы карамзинского направления «Приятное и полезное препровождение времени», «Детское чтение», «Московский журнал», сборники песен, сборники мифов и суеверий, изданные Поповым, Чулковым. Потом ещё Стерна, которого переводил брат Михаил, и Коцебу, которого переводил брат Петр, да ещё кое-какую мелочь… всё это чтение, сколь разнообразное, столь и бессистемное, хотя в какой-то мере удовлетворяло любознательность, но не было целенаправленным и серьезно осознанным.

Андрей Тургенев тут же назвал имена неизвестные. Прежде всего Шиллер и Гёте – «сладостные мучители сердец». Шиллер! Самое лучшее – ода «К радости», которую Андрей Иванович тогда переводил с энтузиазмом; трагедии «Коварство и любовь», «Разбойники», «Дон Карлос». Затем Гёте – «Страдания молодого Вертера» и драма «Эгмонт», роман Виланда «Агатон» и прозаическая поэма «Оберон». Андрей Кайсаров ничего из названного не читал и сгорал от стыда и обиды на себя. Просить тут же почитать всё это у Тургенева казалось неловко.

А Андрей Иванович увлеченно говорил:

– Какая душа разбойник Карл Моор! – мятущаяся и с жутким предчувствием своей судьбы. Уже с начала пьесы понимаешь, что такой герой в тамошнем кругу неестественен, и он погибнет. Сам идет к своей погибели и тем потрясает вас, потрясает! Да, он неестественно велик и грозен! Но Шиллер и не хотел рисовать обыкновенного человека. Он хотел нас потрясти, растрясти в нас спокой, трусливое прозябание, разбудить совесть.

– Ах, сколько чувства! – только и воскликнул Кайсаров. Так что неясно было, относится ли это к Шиллеру или к Андрею Тургеневу.

– Настоящий потрясатель чувств наших, коему мы обязаны «величайшим наслаждением ума и сердца», – Гёте. Его Эгмонт как живой. Он – мой друг, я постоянно хочу говорить с ним…

Кайсаров вернул разговор к «Разбойникам», заинтересовавшим его. Слово «разбойник» неприятно резало слух заключенной в нем бранью.

– Как же разбойник может быть приятен? Ведь он лишает жизни невинных, грабит?..

– Да, это и такой, и не такой разбойник! Он разбойник по об-  
стоятельствам. Но не для грабежа рожден, рожден для благородных поступков. Он не низок, он вынужден людьми и всею жизнью благородных поменять на разбойников и идти против общества, отвергнувшего справедливость. – Андрей Тургенев подошел к книжному шкафу. – А «Вертер»! Боже мой, смотри не читай его в переводах, много потеряешь! Переводы все нехороши. Надобно самому мне взяться, и пока не добьюсь успеха, равного Гёте, хоть сто лет корпеть буду над немецким!.. Ты хочешь переводить, Андрей Сергеевич?

– Да я уж пробовал кое-что. Немецкий и французский мои, однако, не блестящи. Кажется, теперь я больше знаю, как учить обращаться с ружьем… У братьев получается лучше.

– В языке нет искусства. Надобно практиковаться. А неудачи или от малого упорства характера, или от того, что выбор твой неинтересен. Ничего, я тебе подбирать стану. Что б ты хотел перевести?

– Не знаю сам.

– Ладно, подберу в другой раз…

Расстались совершеннейшими друзьями.

Андрей Кайсаров был в восхищении: «Какая это мягкая душа! как раскрыта! как привыкаешь к нему тотчас! как трудится Андрей Иванович – и философию изучает, и языки, и стихи пишет, и жур-  
нал (так называли тогда дневник) ведет! Я же одни разговоры развожу, теряю время в караулах. Нет, надобно перемениться: взяться за языки, за серьезное чтение, да трудиться, как пахарь на ниве!»

Он так и сделал. Почти полгода ограничивался домашними занятиями языком, переводами, которые казались ему «трудненьки», чтением. Изредка показывал свои труды Андрею Ивановичу, получая всегда справедливую и суровую отповедь пополам с дружеским участием и помощью. Он уже не мог обходиться без Андрея Тургенева и дня. Когда друзья не виделись, они обменивались письмами и записочками. Первое письмо Андрея Кайсарова к другу датировано 6 июля 1799 года. Тургеневы уехали тогда на лето в свое Симбирское имение, и предстоявшая разлука накладывала на краткое послание отпечаток грусти.

«Любезный друг, Андрей Иванович!

На что ты, братец, умел так меня привязать к себе, что я после твоего отъезда не был ни на одну минуту весел? Нет, брат, виноват, что попрекаю тебя; ибо я представляю себе теперь ту радость, которую я буду ощущать при нашем свидании. Теперь, любезный друг, вспоминаю я некоторые минуты, когда я имел право пользоваться твоею дружбою и потом упрекаю себя, что был слишком груб и глуп. Прости, брат, меня!.. Эти два месяца будут для меня временем искуса. Завтра, брат, мы будем с Василием Дмитриевичем[[6]](#footnote-6), с Егором Федоровичем, с Губаревым и Есиповым в Останкино. Лошади твоей я ещё не брал. Паисий с глухим играют все в дураки и тем убивают большую часть дня. Прости, милый мой, и не забывай искренне тебя любящего друга.

Андрей Кайсаров.

…Целую тебя мысленно несколько тысяч раз. Батюшке и матушке засвидетельствуй мое нижайшее почтение, Сергея поцелуй, а Николаю выдери уши…»

Андрею Тургеневу Кайсаров тоже, видно, пришелся по душе. С дороги он писал: «Здравствуй и ты, брат Андрей Сергеевич, наставник мой и учитель! Всё ли здоров и жив ли?.. Я нашел по дороге прекрасных незабудочков, твои любимые цветы, сорвал и положил их в карман, а как скоро я их увидел, тотчас и вспомнил тебя».

Почему справедливый Андрей Тургенев называет Кайсарова «наставником» и «учителем»? Видно, не только Кайсаров черпал познания от Тургенева, но и наоборот.

15 июля из Симбирска Тургенев отвечал другу: «Какое письмо получил я от тебя, мой милый друг, Андрей Сергеевич! Что я чувствовал, когда читал его и перечитывал несколько раз, и буду ещё всегда перечитывать? Будь опять моим другом, а мне позволь быть твоим, ибо эта дружба сделает мое счастие».

В то время многие блистали умом и остроумием, но Кайсаров не терялся среди них. Он был часто окружен людьми гораздо старше себя, более развитыми духовно, культурно, обладавшими многими талантами, и как-то незаметно приспособился к их среде. На этом фоне расцвели приглушенные или запрятанные в глубине дарования, что делало привлекательной его натуру.

После отъезда Тургеневых ротмистр Кайсаров тоже уехал, впрочем, недалеко – на Воробьевы горы, тогда прекрасное предместье Москвы. Здесь он отдыхал близ деревни, живя в палатке с однополчанином Яценко, иногда ходил в гости к отдыхавшей поблизости группе молодежи пансионского круга, выехавшей сюда во главе с преподавателем Михаилом Никитовичем Баккаревичем, к нему самому часто приходил Семен Емельянович Родзянко.

Вот как Кайсаров показал эту жизнь: «Теперь приступим к описанию моего препровождения времени на Воробьевых горах. Сплю я до тех пор, пока душе угодно; а иногда встаю часу в третьем и иду к реке дожидаться восхождения солнечного, тут-то я наслаждаюсь во всей полноте бытием своим. Оттуда иду к Баккаревичу и вместе с ним пью чай, хотя этот компаньон мне не очень приятен… Потом иду есть грибы в сметане зажаренные, потом играть в мяч, потом обед… После обеда, лежа на постеле, читаю кой-какие книжонки… Полежав немного, иду гулять в рощу; на дороге встречается мне мороженое, не могу пройтить, чтоб не засвидетельствовать ему должного почтения, или иду есть какие-нибудь ягоды. Потом опять пить чай… и где же? сидя под тенью развесистых дерев. Потом, по просьбе тамошнего офицера, иду дурачиться, т. е. помогать ему учить детей ружьем. Потом ужинать, а там – беседовать с Семеном Емельяновичем; о чем же!.. мы говорим о философских материях; а ты сам знаешь, что я человек сериозной. Говорим о добродетели, о дружбе… Потом неприметным образом Морфей на цыпочках крадется ко мне и осыпает меня своими усыпительными цветами…»

И в другом письме: «Совсем уже распростился я с Воробьевыми горами! Разве съезжу туда к Яценке, он там живет и звал меня. Никогда бы оттуда не вышел! Так полюбилась мне деревенская жизнь после двухнедельного пребывания на Воробьевых горах».

Кайсаров любил смотреть с Воробьевых гор на туманную панораму Москвы. Там, в зеленой оправе огромной диадемы, за Кремлем – головою всему великолепью – как драгоценные каменья рассыпались золотые маковки церквей, вспрыснутые солнечными лучами. Уютные часовенки намечали своим одиночеством странно-  
приимные точки. И тут же толпились кичливо убранные хоромины и приземистые, будто для вящей прочности ушедшие в землю, теремные дома с вековыми каменными сводами. Узорчатые башни стояли, как солдаты в пышных мундирах, они отмечали вехи дорог и въездов в Москву. Поодаль разбросаны были закоптелые кузницы и ветряные мельницы, своими исполинскими крыльями напоминавшие былинно-сказочных птиц.

Движущиеся по кривым улицам повозки казались игрушечными, как и черточки лодок, плывущих по Москве-реке, Яузе, Хопиловке (в басманной части города), Кабанки (близ Тверской заставы). Пруды, как кусочки небес, просвечивали кое-где в кудрявом, волнистом океане зелени. Полосатые огороды, темные сосновые боры, волнистые высокие дубравы, березовые светлые рощи – окаймляли город. А дальше – слобды, пригородья, приселки, поля, перелески, некогда отделенные от Москвы высокими деревянными надолбами, теперь наступали на эту уже трудноразличимую черту.

Нельзя не залюбоваться Москвою с Воробьевых гор!

Все лето и весь 1799 год были наполнены приятною обязанностью писать к Андрею Ивановичу. До нас дошли обильные чувствами и преувеличениями, согретые девственным огнем души, полные «младых восторгов» письма и записочки Андрея Кайсарова, навеки запечатлевшие юношескую любовь к другу, донесшие к нам мир поколения, вступившего в жизнь на рубеже веков: восемнадцатого и девятнадцатого. Письма его дают представление о притягательной прелести его натуры: «Насилу отдохнуло мое сердечко. Милый друг, Андрей Иванович!.. На Воробьевых горах, после вас, ещё ни разу не был я, а ездили мы с Апрелевым, Сокольским, Есиповым и Губаревым в Царицино; просил было я Баккаревича, чтоб он отпустил с нами Жуковского; но он, видно, боялся, чтоб мы его не развратили, учтивым образом отказал…»

«Сейчас лишь с Воробьевых гор, милый друг, Андрей Иванович, пришел я и, несмотря на всю усталость, не имею столько отважности, чтоб пропустить почту, не написать тебе кой-чего о себе; зная, что ты ещё не вовсе разлюбил меня. Жуковского в Москве нет, он куда-то поехал в деревню на пять день; но вот уже десятый день как его здесь всё ещё нет… Ты пишешь, что взглянув на незабудочки, ты вспомнил меня и Сандунову. Не забывай ее; я час от часу узнаю об ней больше хорошего, да и ты дурного человека не полюбишь…

Театров без тебя ещё не было, только один раз играли «Бедность и благородство души», да и то мне не случилось там быть…»

Записочками они обменивались и в Москве, пиша иногда по две-три в день.

«Что ж, мой милый друг, ты ведь обещал сегодня прийти ко мне? Сдержишь ли слово свое? Теперь я думаю час, третий; и ты обещал в эту пору быть. Приходи поскорее. Я сегодня встал в третьем часу; голова и грудь болели чрезвычайно; но теперь лучше…

Твой А. К.»

«Другого нечего делать, как простить тебя. К этому случаю я скажу тебе пословицу, которая водится издавна у нас на Руси: бодлива была бы корова, да рог нет. Несмотря на высокую истину этой пословицы, не хочу сравнить себя с коровою; и скажу просто: рад тебя простить!.. Если есть хотя малейшая возможность тебе прийти, то ты, верно, не упустишь случая быть вместе с тем, кто тебя душевно любит… В ожидании ответа иду приносить жертвы Морфею. Твой А. К…

Эх, брат! А куда бы хорошо посидеть вечером с тобой! Раза бы два, три друг на друга покричали».

У Кайсарова иногда собирались армейские офицеры, они вели себя шумно, весело и тащили Кайсарова с собою играть в карты. Но он всё же находил время, чтоб сочинить хоть на ходу краткое веселое послание другу: «… Окружен мужами знаменитыми, задушон дымом табаку горчайшего, досадую на судьбу свою… Постой начисто! Вырывают перо… По просьбе издателя Суворовой звезды начал было я переводить систему Птолемееву, как вдруг, один из окружающих меня «философов» вырвал у меня перо и дополнил Птолемееву систему новыми своими «открытиями». Я тебе ее в оригинале посылаю… Если Жуковский у тебя, поклонись ему от меня. Желаю, чтоб вам было веселее моего. Гремит музыка. Они и тащат меня! Прости!»

Андрей Тургенев давал Кайсарову новые стихи, и тот не задерживался с ответом: «Ступай, Никитка! Неси записочку к Андрею Ивановичу! Право, это стоит того!.. Я принялся за перо для того, чтоб похвалить тебя за чистоту слога. В этих трех строках к нам никакой крючок и придраться не может. Но я тебя хочу уведомить, что я больше понял, нежели, что они значат…»

«Ты мне сказал вчера, что ты меня любишь,.. а ты неушто будешь сомневаться в моей к тебе любви? Если б ты открыл мое сердце, то, верно бы, увидел, что оно почти одним тобою дышит. Я тебя люблю… более самого себя. Правду сказать, я сам себя не очень люблю. Ну, если нам случится когда-нибудь с тобою расстаться? Мне кажется, что я этого не перенесу. Ну, а если расставшись, мы более никогда друг друга не увидим? Это ужасно! На что заниматься предположениями, лучше наслаждаться настоящим… Приходи в развод… После обеда можно ли тебе ехать верхом на Воробьевы горы?»

«Ах, как мне досадно было, что ты не был в театре!.. Как Сандунова играла! Я с места прыгал… Как она крепко целовала Пономарева! И как мне досадно было, что не тебя! Каково ты поживаешь? Здоров ли ты? Что с тобою вчера происходило? Думал ли ты обо мне? Не сердился ли на меня? Я сегодня в карауле, и вот другой день нам не видаться! Прости, мой милый. Покидаю писать, чтоб приняться за утку поприлежнее…»

«Я было совсем изготовился к вам ехать и чуть не приложился сидением к саням, как вдруг хлоп: разительный ордер от высшего начальства, т. е. от матушки, ехать, с получения приказа, ни мало не медля в страну, хоть и приятную, но не в вашу; и бедный наш Андрей – надул губу, как кот на мышей… Скажи, брат, будешь ли ты после обеда дома? И в котором часу? Если тебе не в тягость будет мое прибытие, то я непременно явлюсь у вас…

А. К.»

В этих беспечных письмах и записочках (которые мы здесь обильно цитируем, так как они не опубликованы, и эта книга – по-  
ка единственный способ услышать живой голос юного семнадцатилетнего Кайсарова) отражена московская жизнь 1799 года. Интересы, знания, чувства ещё испытывались, опробововались, и не было ясного представления о дальнейшем житье.



Глава третья

«Там, там под сению кулис младые дни мои неслись»

В

письмах и записках Кайсарова, переполненных любовью к другу, упоминаются театральные спектакли, пьесы Коцебу, Шиллера, фамилии Сандуновых, Пономарева и других, которые надо пояснить, ибо всё это – часть жизни Андрея Кайсарова, Андрея Тургенева, их друзей и современников.

Театр Андрей Сергеевич любил страстно. Театр вообще в это время был в большой популярности, считался наиболее прогресс-  
сивной и мобильной формой искусства, так как быстро схватывал всё передовое – европейское и отечественное, – что тогда появлялось в области идей и эстетики, и доносил к людям разного уровня подготовленности в наиболее доступной форме, то есть убеждая их словом и действием.

Сам, уже кончившийся, восемнадцатый век накопил огромный театральный опыт. Ведь это был век, который постоянно рядился в чужие одежды, как актер. Он носил французские платья, парики; то прусского, то австро-венгерского образца мундиры; любил итальянские оперы и маскарады на европейский лад; украшал свои столовые, гостиные китайским, мейсенским и прочим фарфором; разбивал английские парки в российской малоезжей глуши; строил дворцы по образцам всех стран Европы; читал переводные романы и, самое главное, – в дворянских кругах почти не говорил по-русски, ведь дворян с детства воспитывали французские и немец-  
кие учителя.

Неудивительно, что театр, с его костюмами, условностями, аллегориями был публикой очень любим и занимал большую часть вечерней жизни дворянского и вообще городского общества тех лет.

Ко времени, когда Кайсаров впервые появился в Москве в 1795 году, – здесь было около дюжины известных домашних теат-  
ров: Блудова – на Поварской, Пашкова – на Моховой, Волконского – у Земляного вала. В дворянском благородном собрании (Большая Дмитровка и Охотный ряд) часто давали спектакли, балы и маскарады.

Но самым большим и пышным был Петровский театр (ныне Большой). Входили в театр тогда с Неглинной. Слева раскинулся просторный двор для стоянки карет, справа расположился трехэтажный дом, где жили артисты, у которых Кайсаров, возможно, и бывал; за ним – церковь Спаса на копиях. В отдельном здании жил сам директор театра Медокс. И всё это – недалеко от Моховой, где находилась тогда квартира Тургеневых, недалеко и от квартиры Кайсаровых. Кайсаров писал Андрею Тургеневу: «Я, братцы, не прочь от того, чтобы идти или ехать в театр». Действительно, что уж тут ехать (сотни три метров)?! – Только, чтоб престиж поддержать. Однако же, ездили…

Именно в Петровский театр с лучшей по тем временам труппой профессиональных актеров больше всего ходили Кайсаров и его друзья. Там волшебный занавес открывал для них неведомые миры, там страстно выплескивали они ладошками благодарение актерам-кудесникам.

Театр имел просторный вестибюль, на втором этаже – зал на восемьсот мест. На четырех ярусах было двадцать шесть лож. Вос-  
ковые и сальные свечи в бра, прикрепленные к бортам и стенам лож, и сорок две хрустальные люстры освещали театр приглушенным «вечерним» светом (который всё же был в десятки раз ярче того, что каждый имел дома), делающим аристократически-бледными и загадочными лица публики и экзотическими – нарядные туалеты дам. Хотя в театре не водилось позолоты, как в такого рода зданиях Петербурга, 24 фальшивых (деревянных) колонны коринфского ордера украшали здание, но это никого не волновало. Публика текла сюда оживленной рекой. Среди пестрой толпы в разное время нередко прохаживались Тургеневы, Кайсаровы, Жуковский, Крылов, Карамзин, Дмитриев, Херасков, Державин, Грибоедов.

Репертуар славился разнообразием. Здесь ставили пьесы Гольдони, Бомарше, Шиллера, Дидро, Мерсье. Но были и свои. Классическая трагедия менялась под воздействием, с одной стороны, просветительских идей, проникавших в драматургию, а с другой, – самой изменявшейся жизни; она все больше заменялась драмой. С успехом шла тогда «слезная комедия» (то, что мы теперь называем трагикомедией) В. Лукина «Мот, любовью исправленный». С удовольствием смотрели «Недоросля» Фонвизина, «Ябеду» Капниста, «Сбитенщика» Княжнина. Шли тогда (не только здесь, на многих сценах) комедии Екатерины II и немца Августа Коцебу.

Возникали новые жанры, например, комическая опера (в эти годы, под влиянием передовых идей, она часто сочувственно рисо-  
вала образы крестьян и вообще простых людей). Это «Анюта» Попова, «Розана и Любим» Николаева, обличающая купечество «Санктпетербургский гостиный двор» друга Тургеневых Алексея Федоровича Малиновского. Особым успехом пользовалась комическая опера Аблесимова на музыку Соколовского «Мельник – колдун, обманщик и сват».

Но самым модным драматургом в начале первого десятилетия нового века был Август-Фридрих-Фердинанд Коцебу (1761-1819). Этот далеко не гениальный драматург, живший в России в 1800-1801 годах, а после смерти Павла I покинувший страну, был необычайно плодовит. Он написал более 200 пьес, и 150 из них были известны (играны или напечатаны) в России. Около полувека они входили в репертуары русских театров. Карамзин писал П. А. Вяземскому: «Беру живейшее участие в судьбе Коцебу… Я плакал в его драмах, когда был молод». Так же плакали «в его драмах», когда были молоды, Андрей Тургенев и Андрей Кайсаров.

Коцебу Россию очень любил, изучил ее историю и писал мно-  
го для русской публики. Отсюда корнями родственники его жены, два его старших сына – Вильгельм и Отто – воспитывались в Петербургском кадетском корпусе. Сам Коцебу в 1800-1801 годах служил в Петербурге директором немецкого придворного театра. Благодаря административному положению – как это и водится! – в театры России стал внедряться и Коцебу-драматург. Вот один из секретов его известности.

А другой – в том, что, как драматург, он смело схватил веяния времени и сочинял сентиментально-назидатальные пьесы на темы морали, чем и прославился. Были у Коцебу несколько политических (отчего имел неприятности, даже ссылку Павлом I в Сибирь; но и славу фрондера, собиравшую на его спектакли публику, любившую всё скандальное) и исторических пьес, в том числе на темы русской истории, что тоже привлекало зрителей и вызывало симпатии к иноземцу у русских.

Поскольку Коцебу-моралист был ещё и убежденным монархистом, его взгляды оказались очень близки русским царям и дворянству (что тоже немало способствовало триумфальному шествию его пьес по России). Не случайно в годы царствования Александра I Август Коцебу служил в Германии по русской дипломатической линии в чине статского советника; проще сказать, был русским шпионом у себя на родине, за что и оказался убит своим молодым соотечественником.

В начале девятнадцатого века в России находились люди, которые задумывались о загадке необычайной популярности Коцебу. Безымянный, однако же весьма консервативный автор, в журнале «Корифей, или ключ литературы» в номере (части) 2 за 1803 год в статье «Дополнения к трагикам» писал: «Я хочу мимоходом приложить здесь мысли о г-не Коцебу… В Германии его не любят журналисты немилосердно; и кажется не напрас-  
но… Чем может занять он размышляющую голову? – Его романами: – они не имеют в себе ни той остроты, которую Вольтер себе присвоил, ни той нежности, которою прельщает Стерн… Чего мы ищем с такою жадностью в Коцебу? Совершенно безделок; какого-то особенного рода, писать всё запросто, не думавши, как попало и как пришло в голову; не уважая ни доброй веры, ни нравственности, ни общественных добродетелей, писать для того, чтоб вскружить всем голову ложными мыслями, испортить совесть и опять рассеять плевелы Вольтеровы… У г-на Коцебу, например, в «Жизни моего отца» и подобных, чему можно научиться?.. Все кажется пробы пера какого-нибудь молодого ученика, который торопится отнести листы свои в книгопечатню, или на продажу. Он подражает Вольтеру, но только с худой стороны: жадничает написать целую библиотеку и в этом успевает, только с тою разницею, что у Вольтера 70 томов простоят 7 веков; а у него 7-мь лет: ибо есть добрая надежда, что скоро этот мелочный, скороспелый вкус исчезнет в обществе, и тогда прощай и сказки, и вививаши (*всякая всячина –* А.Б.) г-на Коцебу».

Говоря о Коцебу, надо, видимо, различать драматурга и прак-  
тического политика; первый – сентиментально-романтический, хотя и с уклоном к морализаторству, период его творчества в начале девятнадцатого века (а именно он оказал влияние на наших героев) надо отличать от послевоенной его деятельности в качестве шпиона. Отзыв Карамзина, хотя и высказанный в год смерти Коцебу, относился именно к его творчеству в первом десятилетии XIХ века; а в стихотворении Пушкина «Кинжал» подразумевается Коцебу-шпион. Уже в двадцатые – тридцатые годы девятнадцатого столетия сочинения Коцебу назывались «коцебятиной» («козебятиной») и интерес к нему падал. Кайсаров не дожил до этих времен; он относился к Коцебу так же, как и Карамзин, зная лишь литератора и, в большей степени, драматурга.

Однако, несмотря на все последующие обстоятельства, пьесы Коцебу в 1800 – 1802 годах были в России на острие моды. Именно в это время несколько пьес, переведенных Петром Сергеевичем Кайсаровым, – «Кто бы этому поверил? Несчастное, с одним му-  
жем случившееся приключение», «И малейшая ложь опасна, справедливое приключение», «Излеченная мечтательница, справедливая повесть», «Женский якобинский клуб» – вышли напечатанными в Смоленской губернской типографии. Модные пьесы Коцебу переводили также Андрей Тургенев, Василий Жуковский, Михаил Кайсаров, Николай Сандунов, Алексей Малиновский. Андрей Кайсаров как актер участвовал в пьесе, переведенной А.Ф. Малиновским «Бедность и благородство души», о чем неоднократно упоминается в письмах.

Андрей Сергеевич всегда детально обсуждал со своими друзьями спектакли. Это ещё раз подчеркивает, что театр тогда владел сердцами и умами молодежи. Они часто пересказывали друг другу содержание самих пьес, высказывали отношение к героям, к событиям и игре актеров. Вот одно из его впечатлений от французского театра, отраженное в письме: «А, брат!.. Я сам плакал в этом месте, не имея никаких посторонних причин плакать. Особенно, ежели помнить то место, когда аббат уговаривает этого злого деда, и когда тот все ещё остается также жесток… Ах, брат, тут и я плакал вместе с добрым Офреном. Пиеса эта так на меня подействовала, что я никогда не могу забыть физиономий Офрена и Валевилы. Вот искусство – не скажи ни слова – и умей много сказать! Валевила в этом успела. Какая доброта во всех движениях, во всяком шаге! Что чувствуешь тогда, как Аринкурт отдает половину имения Фринвалю и бежит к аббату, который в эту минуту говорит: «Теперь я награжден! Боже! Ты никогда не забываешь несчастных!» Офрен так входит в характер аббата, что невольно заставляет его любить даже того, кто никогда не слыхал об нем. Как Дюкраст славно выдерживает свою роль. Помнишь ли, как при первой встрече с племянником совесть мучит его, и как он опять ожесточается; но и в каменном его сердце остается чувство для того, чтоб тронуться тогда, как сын грозит умертвить себя… Еще, брат, пиеса тронула меня на французском театре… тут опять играет Офрен. Ежели ты ее увидишь, то вспомни, что я плакал в том месте, когда отец проклинает сына, и ещё во многих».

Переполненный театральными интересами, Кайсаров понукает Андрея Тургенева к переводу пьесы: «А после, брат, примись за «Макбета». Жуковский правду тебе пишет, что надобно бы переделать вовсе план пиесы. Эти ведьмы годились и в Англии тогда только, когда Шекспир выпускал видение, которое по ночам просило извинения у зрителей в том, что господин автор немного заврался. Русские не привыкли к таким пиесам; и Макбет с видениями кажется им Иваном Царевичем, который написала премудрая Екатерина. Брат! Пожалуйста спи меньше, а делай больше».

В эти годы блистали на подмостках актеры А. М. Крутицкий, В. П. Померанцев, А. Е. Пономарев, А. Г. Ожогин, С. Н. и Е. С. Сандуновы. О последних, хорошо знакомых Кайсарову (ведь именно их имена часто встречаются в его письмах), надо сказать особо.

Сандуновых было трое. Фамилию эту они взяли для удобства. Настоящее ее написание Зандукелли. Эта грузинская фамилия указывает былое происхождение и говорит о темпераменте актеров, хотя двое братьев Сандуновых были россиянами по рождению, языку и воспитанию.

Старший – Сила Николаевич (1756-1820) был актером и служил в том самом Петровском театре, куда так любили ходить Кайсаров и Тургенев (кстати, он же содержал знаменитые сандуновские бани в Москве, посещение которых и чаепитие представляло собой особый ритуал).

Сила Николаевич дружил с И. А. Крыловым (Сандунов играл в Петербурге и Москве), драматургом, чьи пьесы, в отличие от ба-  
сен, были известны лишь узкому кругу. Прославленного актера сближали с известным и любимым народом сатириком общие политические взгляды. С. Дурылин («И. А. Крылов». М., 1944) пишет о Крылове: «… Комедии Крылова не видели огней рампы. Причину этого надо искать в их характере. Они все посвящены, в сущности, беспощадному и злому высмеиванию пороков… Все эти господа Сумбуры, графы Дубовые, госпожи Новодомовы и княжны Тройкины – не что иное, как воплощение глупости, тщеславия, невежества и распутства. Как правило, этим глупым господам противопоставляются умные слуги, и автор не скрывает, что он на стороне этих слуг, дурачащих своих одурелых от чванства господ и помыкающих ими, как куклами».

Вслед за Фонвизиным Крылов в своих пьесах поставил вопрос о политической опасности галломании в дворянских кругах, незаслуженно пренебрегавших русской культурой. В пьесах Крылова билась тревога о судьбе русской национальной культуры, неразрывной с историческим развитием народа.

Безусловно, пьесы Крылова знал Сандунов, а, возможно, и бравший пьесы для переписки у Сандунова Кайсаров. Тогда часто в просвещенных кругах запрещенные произведения ходили в списках.

Игра Силы Николаевича носила ярко выраженный демократи-  
ческий характер. Он играл слуг, приказных, и его герои – подвижные, лукавые, сметливые – были, как правило, умнее господина. Это известный всему миру Фигаро, Скапен (из «Скапеновых обманов» Мольера), Полист (из «Хвастуна» Княжнина), Семен (из «Смеха и горя» Клушина). Сила Николаевич блестяще владел мастерством перевоплощения. В спектакле «Алхимист» Клушина, например, он исполнял семь ролей.

В 1794 году Сила Николаевич женился на выдающейся оперной и концертной певице Елизавете Семеновне (урожденной Урановой; 1777-1826), тоже прославившей фамилию Сандуновых. Елизавета Семеновна училась и дебютировала в Петербурге, а переехав в Москву, стала работать в том же театре, что и муж.

Сандунова обладала огромной популярностью. Ее голос (меццо-сопрано), имевший обширный диапазон, отличался мощью и в то же время пленял нежностью, пластической красотой. Она пела Прияту, Руситу, Лесту в операх «Князь-невидимка», «Илья-богатырь», «Днепровская русалка» Кавоса, Настасью в «Старинных святках» Малиновского, Лизу в «Лизе, или торжестве благодарности» Ильина – оперы и партии ныне – увы! – забытые и ничего не говорящие нашему воображению.

Однако, воображение Кайсарова и Андрея Тургенева они за-  
нимали немало. Известно, что Андрей Иванович первое время (возможно до 1801) был горячо влюблен в Сандунову, что тщательно скрывалось (только не меж друзьями!). Конечно, эта тайная влюбленность – безответная и не рассчитанная на ответное чувство. Тургенев и Кайсаров начертали в своем воображении идеал героической жизни, полной прекрасной самоотверженности и всевозможных подвигов, любви, исполненной мучительного блаженства. Они создали себе мечту о чистом счастье, о «небе на земле». В них тогда жила любовь к человечеству, которая не может существовать рядом с жизненным опытом.

Скорее всего влюбленность была в идеал красоты, женственности, таланта. А уж если Тургенев был в кого-либо влюблен, то тут же, в того же человека начинал всматриваться до полной, может быть, влюбленности и Кайсаров (не будем забывать, что ему – семнадцать!), желавший все чувства разделить с другом, проникнуться любыми его порывами, увлечениями и все понять в нем. Кайсарову нравилась Сандунова, с такой же силой он был влюблен и в ее мужа – Сандунова, и в Померанцева (себя он называл «юным Померанцевым»), непревзойденного в ролях пройдох и комических стариков, и в каждую отлично сыгранную роль. Они иногда заходили за кулисы и замирали в благоговении: что может быть более восхитительным, чем актриса в театральной уборной, перед зеркалом, меняющая свое существо?! Сандунова являлась им столь очаровательной, что красота оказывалась уже как бы лишней. Это не было лицо, это был характер, это была душа! Фигура Сандуновой напоминала волжский камыш, колеблющийся от таинственного дыхания воды, от ее невидимых на поверхности легких; а волосы точно позаимствованы у какой-то пролетающей феи – они струились от малейшего перемещения воздуха и жили в этой воздушной стихии «сами по себе».

Больше всего друзей пленяли песни Сандуновой. Она прекрасно, с чувством пела русские народные песни в обработке Д. Н. Кашина (который преподавал музыку в Московском благородном пансионе и был хорошо знаком друзьям) – «Реченька», «Чернобровый», «Рукавичка» и т. д.

«Жизнь богаче в пожаре страстей…» – пела Сандунова, и эти слова были откровением истины для молодых людей.

Русская литературная или литературно обработанная песня вообще новинка именно последней трети восемнадцатого века. Дворяне, привыкшие к иностранной речи и пению, переживали ни с чем не сравнимое чувство возвращения в лоно родной, но глубоко забытой культуры своих предков. Возвращались ещё пока не знаниями, а чувством, прозрением. Сердцем они всецело понимали мысль, лексику, мелодию, тон (а порой – стон!) русской песни.

Было много народных песен, которые создавались в разных областях обширного Российского государства и отражали религиозно-поэтические представления крестьян о природе и божественных силах, о судьбе человека, его доле в этом мире; было много календарных и обрядовых песен. Но эти песни горожанам и дворянам в силу своей традиционности, древнейших народных основ (архаики), областных говоров, лежавших в основе их текстов, были так же непонятны, как иностранные.

На первых литературных русских песнях во многом лежала миссия нащупать путь к духовному объединению нации: от крестьян с их оригинальным искусством и мещан, которые уже оторвались от самобытной народной среды, а к иностранной (или переводной) песне не обнаруживали никакой привязанности; и – до дворян, долгое время сознательно к упорно отгораживающихся от народа заемными культурными барьерами.

После не замечавшего индивидуальных чувств классицизма, в последней трети восемнадцатого века песня занимает ведущее место в русской лирике, если говорить о поэтической основе песни. И Кайсаров позже не ушел от этого притягательного жанра, написав несколько песен-стихов.

Безымянные и известные поэты писали о красоте, сложности, драматичности переживаний человека, о его напряженной нравственной жизни. Это было ново. Песня способствовала обновлению поэзии и даже прозы, так как помогала ценить чувства, наслаждаться ими. Песня стала практически самым доступным (даже театр не мог с ней конкурировать в этом!) и широко распространенным жанром, в котором с эмоциональной силой утверждалось новое понимание человека, через мир его чувств.

Хорошая песня пробуждала личность, учила ценить нравственное богатство человека, проявленное в искреннем слове, интенсивном, неподдельном чувстве, а не сословную его принадлежность; прославляла страсть, помогающую человеку переступить через устоявшиеся (по социальному образцу) представления о счастье.

Литературная песня во многом вырастала из народной. В эти годы пробуждался интерес к собиранию песен и пословиц. Поэтическое и мыслительное творчество народа использовалось для обновления литературы. Многие поэты черпали из этого источника, в том числе и друг Кайсарова А. Ф. Мерзляков. Народ давал мощную художественную силу своим поэтам, и лучшие их песни стали поистине народными.

Именно в последней трети восемнадцатого века вышли «Письмовик» Курганова, «Собрания разных песен» Чулкова (и Попова), «Новое и полное собрание российских песен» Новикова, «Российская эрата» Попова, «Карманный песенник» Дмитриева, которые Андрей Сергеевич, безусловно, внимательно прочитывал.

Кайсарову и его друзьям повезло в том, что их знакомство с русской литературной и литературно обработанной народной песней произошло с помощью богато одаренной и русской душою Сандуновой. Как тут было не восхищаться?!

Друзья сами до конца не понимали, что они влюблены не столько в Сандунову, ее голос, чувство, сколько в репертуар, мелодику песен, в идею возрождения русской культуры из ее недр, или, может быть, – в собственное духовное обогащение, отзывчивость своей молодости, приносящей каждый день радость жизни. В этом трудно разобраться зыбкому юному уму. И приятели конечно же считали, что влюблены в Сандунову. Кайсаров, хотя порой не прочь был похвастаться своими успехами и достоинствами, все же знал о личных недостатках и относился к себе строго. Конечно же, всё самое хорошее он уступал Андрею Тургеневу – лучшему в его глазах. Как же иначе?!

Гораздо ближе, чем с четой Сандуновых, Андрей Тургенев и особенно Кайсаров были знакомы с Николаем Николаевичем Сандуновым (1769-1832), младшим братом Силы Николаевича.

Николай Николаевич, юрист по образованию, в 1811-1832 годы профессор гражданского и уголовного права в Московском университете, в первые годы девятнадцатого века бакалавр – известен больше как драматург и переводчик, отчасти и как непрофессиональный актер. Сандунов автор сентиментальной драмы «Солдатская школа», написанной с хорошим знанием современной общественной жизни. В спектакле по этой пьесе неоднократно играл главную роль Андрей Кайсаров.

Пьесы Николая Сандунова носили ярко выраженный антикре-  
постнический характер. Иные из них, такие, как «Отец семейства» (1793) – пьеса знакома Кайсарову по рукописи и по постановке в театре, которая возможно и давалась всего один раз, – «Детский театр» (1802) были запрещены.

Кайсаров находил в этих пьесах созвучное своим знаниям жизни и ее пониманию, потому, может быть, он, ещё будучи в воинской службе, брал домой пьесы Сандунова, и в часы, свободные от дежурств, читал их, мысленно разыгрывая те или иные сцены; а также переписывал от руки.

Взаимоотношения же Николая Сандунова и Андрея Кайсарова не были бесконфликтными. В них выливались разный подход к пониманию тех или иных ролей, эпизодов и актерская ревность. Кроме того, часто в конфликтах оказывался «виноват» и взрывной характер Кайсарова, его приверженность к друзьям и истине, выраженная непосредственно прямо; хотя Кайсаров был отходчив и не держал зла в душе.

Однажды Сандунов, важно выставив вперед подбородок и многозначительно глядя в дальнюю стенку класса, словно ви-  
дел что-то далекое, наущал своих учеников – актеров-любите-  
лей:

– Писать нужно о том, друзья мои, что видишь перед глазами в жизни и о том, что чувствуешь, видя это. А не выдумывать из туманов неизвестности и мрака.

– Взять хотя бы хваленого Жуковского. Что это такое?! Какие-то мифические уголки природы неизвестно какой страны и надуманные, страдающие неизвестно отчего, а скорее от безделья, герои. Кладбища, кресты, слезы – замогильщина умопомрачительная! И это все написано со значительностью выражения на лице! Куда идут силы творца?!

В то время, когда рядом конкретное зло: пьянство и разгул. Вчера к радости всей Москвы выступил отсюда кирасирский полк, потому что начались уже не вытерпеваться от них шалости. На этой неделе остановили они графа Алексея Григорьевича Орлова, старик незаслуженно осмеян. А третьего дни крестьяне были запроданы помещицей Морозовой вместе со стадом овец… Вот что унижает душу! Вот о чем надо трубить! Бить в колокола!..

Кайсаров, пришедший на репетицию и остановившийся в дверях, случайно слышал эту не новую для него по своему гневному пафосу речь. Самое обидное здесь было, что Сандунов во многом прав (да что там говорить, и сам Андрей Сергеевич в душе не раз все то же переживал!); прав, но бестактен и глух к пониманию другого направления в литературе, направления мечтательного, романтического, объявшего всю Европу. Имя Жуковского, любимого Кайсаровым доброго друга, чьи сочинения и самому Кайсарову может не во всем нравились, высмеивалось. Этого нельзя было терпеть.

– Милостивый государь! – громко и гневно сказал Кайсаров. Все обернулись в его сторону. – Вы понсите честное имя человека, которого глубоко не знаете, не понимаете и не стите. Да, да, не стоите! Поэтому на всем, что здесь сказано правдивого, невольно лежит печать лжи.

Сандунов покраснел, затем побледнел и не нашелся тотчас с ответом на эту дерзость юнца, во многом ровесника его студентов.

Дальнейшее развитие конфликта и его краткое описание Кай-  
саровым мы находим в письмах к Андрею Тургеневу. Пятого декабря 1801 года он пишет: «Третьего дня побранился я с Сандуновым за Жуковского, и знаешь ли до какой степени? Он спросил меня: обдумал ли я то, что сказал? «Очень», – отвечал я! – «Я бы Вам советовал со мною считаться», – сказал он. – Я только сказал ему в ответ: «С Вами?!» – Но с таким тоном! Он готов был мне в волосы вцепиться. Благополучно разошлись благодаря Антонскому, который нас развел».

А через четыре дня после этого Кайсаров пишет, как всегда преувеличивая эффект: «Брат! Брат! Для чего тебя тут не было! Для чего ты не был свидетелем моего триумфа? Для чего ты не слыхал комплиментов Анны Федоровны (*Соковниной* – А. Б.) гораздо в сильнейшем тоне? Я играл вчера Стодума в «Солдатской школе». – И уверяют, будто совершенно. Сам Сандунов, с которым мы незадолго перед этим крепко побранились, сам он прыгал от радости. Этого мало! Вообрази: вхожу в залу и вдруг окружают меня дам 15, все незнакомые. Начали посыпать комплиментами, и так ими меня заспали, что я с трудом мог выкарабкаться, я кланялся на все стороны, отвечал, как умел, и, наконец, с превеликим трудом вырвался от них! – Таково-то, брат! – Для чего тебя тут не было! Я бы плюнул на все эти похвалы, лишь бы тебя увидеть. При выходе Катерина Михайловна кинула на меня какой-то взгляд, которого я ещё и теперь понять не могу: а Анна Михайловна улыбнулась. – Каково, брат?»

Конфликт разрешился быстро, через пару недель. Кайсаров с облегчением (ибо собственная вспыльчивость и ссоры вообще тя-  
готили его) 19 декабря писал Андрею: «Не дивись, что история с Сандуновым кончилась так скоро – ведь он брат Силе Сандунову. Однако ж вообрази, какое малодушие: в день представления он жаловался ученикам на Жуковского. Впрочем, несмотря на мои ему грубости, он должен был признаться, что я играл прекрасно. А Антонский сказал: «Чуть ли не лучше и Николая Сандунова сыграл Андрей Сергеевич». То же повторили и другии прочии».

В случае с Сандуновым ещё раз убеждаешься, что люди конца восемнадцатого – начала девятнадцатого века отличались большим благородством и культурой.

Пьеса Сандунова «Солдатская школа» опубликована в 1802 году в сборнике «Детский театр», но пропуск в печать ей дали первые постановки на сцене Московского благородного пансиона в конце 1801 года, именно те, где играл Кайсаров. Пьеса остросоциальная. Автор ее, из числа недворянских просветителей, был явным последователем классицистов восемнадцатого века. Действующие лица «Солдатской школы» делятся на два лагеря: помещики-крепостники изображены сатирически, как «трутни», тунеядцы; крестьяне – носители лучших качеств – трудолюбия, благородства, справедливости. Они терпеливы, но доведены до отчаяния. Эти идеи несправедливости крепостного положения русского крестьянина, не Сандуновым, конечно, придуманные, позже отзовутся в труде Кайсарова, посвященном освобождению крепостных крестьян, и таким образом, увлечение театром и демократическими идеями просветителей не пройдет для него даром.

Темперамент Андрея Кайсарова, природная искренность и увлеченность переживанием чужого, как своего (не так ли он переживал и судьбу друга?!), чувство юмора и артистичность позволили ему добиться успеха на театральных подмостках. Он свободно отдавался порывам своих героев, смело бросался в битву слов и мнений, разыгрывающуюся на сцене, что вызывало к нему симпатии.

Вот как сам он описывает свой триумф: «Сегодня у нас будет, по благословению отца-профессора, театр. И нынешний бы раз также не было театра, потому что я было занемог и два дни лежал в постели; но вообразив, что зрителями будут сестры-пре-  
лестницы, – оживился всеоживительным духом… и игрив…

Вчерашний вечер оставил в голове моей самые приятные впечатления… Теперь первое начну со вчерашнего, приятнейшего, восхитительнейшего вечера.

Был я призван судьбою в актера! Играл, аплодирован, осыпан похвалами; но эти похвалы теряют всю цену, когда вспоминаю, что есть ещё нечто вящее! Возвращаюсь в залу в триумфе; все хотят видеть юного Померанцева, обступают, хвалят! Эта минута была минутой торжества талантов! Через час сталкиваюсь с Анной Федоровной (*Соковниной – матерью* – А. Б.). Кланяюсь ей, вот разго-  
вор наш:

Она. Матушка ваша здорова ли? (обычный приступ).

Я. Слава Богу!

Она. Напрасно лишила она себя самовольно удовольствия видеть вас в таком действии.

Я. Она отозвана в другое место.

Она. Можно сказать, что вы прельщали сердца ваших зрителей.

Я. Много чести изволите делать, сударыня! Я не так хорошо играл.

Она. Я про себя скажу, что вы меня пленили.

Я. Я очень счастлив, если подлинно успел в этом!

Она. Вы в этой роле изобразили настоящий ваш милой, доброй характер!

Я скорее откланялся, чтоб не заставить ее наговорить мне ещё несколько таких глупостей… Как знать ей мой характер!.. Теперь я верю, что с ней надо быть говоруну.

После этого вдобавок Катерина Михайловна сказала Жуков-  
скому: «Лучше всех вас играл Андрей Сергеевич. Можно сказать, что он играл прекрасно!» И ещё что-то, чего Жуковский мне не сказал… Ах, брат! Для чего тебя тут не было! Ты был бы весел, я бы играл лучше, меня бы хвалили больше!.. Я был не слишком весел, притом же и болен».

Своим трудом на сцене Кайсаров незаметно приобретал авторитет, с его мнением считались.

Любовь к театру и приобретенное опытом актерское зрение заставили Кайсарова по-другому смотреть на людей его окружающих. Он видел, как лукаво играют воображением милые лгунишки-офицеры, его полковые товарищи, рассказывая басни с ними некогда происшедших историй. Наблюдал, как убедительно, с видом доброжелателей и советчиков, лгут в глаза приказчики и купцы, набивающие цену на свои товары. Как неприкрыто лгут, играя вашим вниманием, книги, описывающие идиллии, которых не было и нет.

Всё это настоящий театр, думал он, все это надо изобразить. А однажды Андрей Сергеевич наблюдал на Красной площади окру-  
женных толпою бродячих артистов со зверями. Одна обезьяна (он впервые видел живую обезьяну) поразила его воображение: какое уродство и страшная пародия на живое! – думал он. Но мимика привлекательна и удивительно точна. Обезьяна то скалила зубы, уперев при этом тонкие ручки в бока, – совсем как самодовольный купчина; то хмурилась и бралась за голову, подмаргивая из-под руки одним глазом, – как искусный во взятках и вымогательстве писарь; то представляла кокетку с зеркальцем. Народ хохотал и кричал:

– Артистка!

– Сущая артистка!

– Уморила!

Среди этого веселья и шумного многолюдья случилось вдруг у Кайсарова желчное настроение. Вот так и мы, подумал он, актеры, в глазах публики равняемся диковинным зверям, и они приходят глазеть на наши чувства и страдания. Острая жалость и теплая любовь к актерам вспыхнули в его душе с большой силой. Он, не раздумывая, пошел через Красную площадь к дому Сандуновых в Неглинный проезд. Повидаться с этими милыми и бесконечно дорогими ему тружениками было срочно необходимо.

В этот день до начала спектаклей они долго говорили о театре и актерах, об их превратных судьбах, как коллеги. А к вечеру разошлись каждый в свой театр.

С нашим рассеянным и увлеченным героем случались и жизненные курьезы, достойные пера комедийного драматурга. Вот один из них в изложении Кайсарова:

«Я и забыл тебе сказать, какой казус случился со мной в пансионе в театре. Надобно было мне играть в перстне, его у меня не случилось. Я попросил у твоей матушки, у нее такого не было. Иван Петрович велел мне просить у твоей тетушки, хотя это мне было и очень не но нутру; но перстень был необходимо нужен. Я интересовался к ней, перстень дали мне; но, видно, очень хорош стиль. Я не мог играть в нем, Я отдал его своему человеку спрятать, а сам взял у Кашина. Передеваясь после пиесы, совсем забыл я взять тетушкин перстень у человека, и он с ним ушел домой. Прихожу в залу, первая встреча – Иван Петрович спрашивает: «Отдал ли ты перстень? Ступай к Марье Семеновне. Я обомлел. Через пять минут приходит Александр с тем же, ещё через пять – опять Иван Петрович с тем же. Наконец, я решился к ней итти персонально. Тщетно уверял батюшка, Александр и я, что перстень цел; но она не хотела верить. Иван Петрович велел мне послать верхом человека. Она, выходя из залы, сказала мне: как хочешь, батюшка, я буду ждать у Катерины Семеновны (*Тургеневой –* А. Б.). Перстень привезли, и Жуковский был свидетель, как обрадовался я ему. Поскакал скорее к вам. – Я, право, думал, что в одних только комедиях бывают такие корыстолюбцы. Ты представить не можешь, как обрадовалась она, получа перстень в руки! Ей не верилось, что он у нее… Это фурия!»

В восемнадцатом театральном веке в России родились и сильные по тем временам театральные критики – Крылов и Плавильщиков. Последний, чувствуется, Кайсаровым особенно внимательно прочитан. Очевидно даже заметное влияние идей Плавильщикова на ход мыслей в некоторых произведениях Кайсарова.

Плавильщиков призывает прислушаться к живому народному слову, юмору, хотя понимает, что шутки людей из народа грубоваты и замысловатость проста. «Дело вкуса обработать и украсить сию природу», – пишет он. В этих словах, по сути, эстетическая программа будущих реалистов. Театральный критик с болью переживает «какое-то вредное влияние ненавидеть свое собственное». Он надеется, что настанет время, когда русские, особенно дворяне, «отдадут справедливость самому себе», «перестанут занимать чувства у других и предадутся собственному ощущению… Тогда возникнет торжество и совершенство истинного нашего вкуса».

Причину успеха художеств в России Плавильщиков видел в обилии «умов естественных», в том, что «русский ум всё удобен понимать», «проникать мыслями во внутренность дела, доходя до основания, ясно постигать умом его существо», имея в виду не что иное, как творческое усвоение достижений других народов. Так просто Плавильщиков объясняет тенденцию русских к заимство-  
ваниям – она, как одна из самых острых проблем русского национального характера, обсуждалась в то время.

Русский национальный характер Плавильщиков исследовал разнообразно. Вот что, например, родилось из-под его пера из на-  
блюдения за русским зрителем: «Мало трогают россиян многоглаголевые тонкости – россияне требуют не слов, но дела; они хотят, чтоб мало сказано было, но чтобы много замыкалось; любят замысловатое, но не терпят переслащенного; любят порядок, но не терпят широкого педантства; словом, россияне хотят совершенного, которое в подражании существовать не может».

Плавильщиков добавляет к уже названным чертам характера русского человека, подмеченные им самим: радушие, гостеприимство, хлебосольство, верность слову, боязнь стыда, благочестие, веротерпимость. Ценность человека он определяет его прочной связью с отечеством. «Напрасно мудрец проповедует, что он гражданин целого света – спорит он с масонами, склонными к мистическим обобщениям, – ни один мудрец не предпочитал своему отечеству земли чужой, где бы он ни жил». Эти слова потом откликнутся в самой лучшей из речей Кайсарова. У Кайсарова буквально такие слова: «Тщетно лживые мудрецы… старались осмеять любовь к отечеству… Не быв истинным сыном отечества, возможно быть добрым гражданином мира?»

И другая мысль просветителя Плавильщикова близка Кайсарову, как, впрочем, и некоторым современникам-просветителям, – нельзя поручать воспитание гражданина иностранцам. «Какое бедствие не знать отечественного языка!» – огорченно восклицал Плавильщиков. Он настаивал и на русском репертуаре в театрах, так как достичь правдивости искусство может лишь на основе народного творчества с учетом современных достижений русского общества и специфики национального характера.

Полемическая острота обсуждения вопросов, связанных с развитием национальной самобытности, вкуса, культуры в последние десятилетия XVIII века внесла свою долю в воспитание Кайсарова. В своих творческих способностях утвердиться помогла ему и актерская игра, разучивание и трактовка ролей в пьесах и, наконец, даже внимание к нему окружавших его зрителей и почитателей.



Глава четвертая

Парнасские встречи и судьбы друзей

Н

ельзя говорить о друзьях Кайсарова, ограничив их характеристику лишь 1799-1802 годами, годами наиболее тесной дружбы, ибо тогда мы не получим истинного представления о них. Многие перипетии судеб друзей своей молодости Кайсарову никогда не суждено было узнать, но мы должны поинтересоваться ими, так как черты, определившие будущее окружения Андрея Сергеевича, проявились как-то и в годы наиболее тесного их знакомства.

Самый старший в дружеском кругу – Алексей Федорович Мерзляков (1778-1830).

Когда Кайсаров знал его, это был приземистый, широкоплечий, со свежим, открытым, по-мужицки простоватым лицом, приглаженными волосами доброю улыбкой человек, обладавший пермским выговором на «о». Он был поэт с горячей душой и нежным сердцем, критик с неизменным чутьем справедливости, активный просветитель-труженик, чернорабочий на ниве просвещения.

Мерзляков тоже попал в Москву пятнадцатилетним мальчиком (в 1793 году). Причем в судьбе сына никому не известного провинциального купца приняла прямое участие императрица Екатерина II. Будучи учеником Пермского народного училища (в котором он учился благодаря В. И. Панаеву, другу И. П. Тургенева), Мерзляков написал оду «На заключение мира со шведами». Через Панаева и губернатора понравившуюся всем в Перми оду представили Екатерине и напечатали по ее распоряжению. Немногим провинциалам так счастливо улыбается фортуна, но Мерзляков достоин внимания, обращенного на него в отрочестве. Тогда же высочайшим указом императрицы предписывалось отправить мальчика-поэта по окончании народного училища в Петербург или Москву для продолжения образования. Так он оказался в гимназии при Московском университете. Затем, здесь же, его ожидал философский факультет и профессорство – до конца дней.

В последние годы жизни Алексея Федоровича его лекции слушал Михаил Юрьевич Лермонтов, для которого Мерзляков стал одним из первых учителей словесности, а также М. П. Погодин, Н. И. Надеждин,

И. И. Лажечников, С. П. Шевырев и другие.

Мерзляков нес в себе литературные понятия целой эпохи. Он призывал литераторов, работавших в разных жанрах, заняться теорией изящных наук. Теория, считал он, покажет масштаб всего изящного и будет «служить ариадниной нитью в лабиринте юродствующего воображения», воображения, которое Алексей Федорович не отрицал, а только пытался обуздать добрым разумом. «Искусство вообще есть следствие правил», – говорил он.

Как же разрешить эти противоречия, где «правила» признавались столь же нужными, как и свобода творчества, воображение? Дело в том, что в понимании Алексея Федоровича «правила» – не свод догм, а разумное обобщение опыта и изъятие из него ценных зерен. Он говорил о «правилах»: «Мы сотворим их сами». Правила эти подвижны, изменчивы, не являются неким абсолютом.

Серьезно подходил Мерзляков к пониманию поэта и поэзии. Поэт, в его представлении, не дилетант-мечтатель, «праздный ленивец», слуга минутных чувств и прихотей воображения. Поэт – всесторонне образованный человек, ученый, теоретик, труженик в литературе. Алексей Федорович призывал «опровергнуть нелепое мнение, что стихотворцу не нужно учение, и что талант всё заменяет». Литературное творчество, праздность, и барство в глазах Мерзлякова, не совместимы.

Он гневно выступал против дилетантства, поверхностности, невежества: «И что может быть другое тогда, когда основательная теория изящных наук неизвестна, когда мы незнакомы с главными образцами, когда не подозреваем даже, что начала литературы составляют науку обширную и глубокую, требующую трудов и тщания, когда Аристотеля, перекрестив в Ариоста, почитаем французом! Самый высший класс народа смотрит на ученых с милостивою гордостию. Он ставит учение ниже своего сана. Богатая праздность и невежественная гордость чувствуют нужду в занятии, любят забавы словесности, но для чего? Для рассеяния и по странному честолюбию хотят казаться в них сведущими… Песенки, мадригалы, историйки, романы привязывают к себе всех как важное, но никто не думает, чтоб можно было в другом роде написать что-нибудь хорошее. Переводчики бросаются в романы, авторы в сочинения путешествий, книгопродавцы не хотят в руки взять книги, имеющей важное заглавие».

Вызывает уважение это радение о критике и философии, совершенно не пробуждавших тогда интереса публики. «Мы не можем представить почти никаких подлинных и даже переводных сочинений, принадлежащих к высшим философским наукам», – справедливо писал Алексей Федорович. Он слишком хорошо понимал, что без мысли общество похоже на ребенка, играющего красивыми безделушками развлекательной литературы; протестовал он также против литературных условностей, скрывающих правду образа, делающих героев бутафорскими. Достоинства художественного произведения во многом определяются искренностью: «Где истина, там и красноречие».

В связи с оценкой Сумарокова, Мерзляков выступал с резкой отповедью «умственного рабства» русских писателей перед французскими. Он предъявлял к литературе требование национальной самобытности. Алексей Федорович понимал, что необходимо тщательное изучение народного творчества, остававшегося тогда все ещё белым пятном русской культуры; при этом предостерегал своих слушателей, читателей, учеников, что нельзя допустить приспособления народной поэзии и музыки к дворянским эстетическим вкусам, что привело бы народное творчество к выхолащиванию, искажению.

Современники любили и высоко ценили песни и романсы Мерзлякова, вполне сознательно ориентированные на русские народные. Не нужно забывать о том, что тогда обращение к народной культуре и было новаторством. Такие песни, как общеизвестная «Среди долины ровныя…», сделали Мерзлякова предтечей Кольцова и Некрасова. По словам Белинского, Мерзляков «перенес в свои русские песни русскую грусть-тоску, русское горевание, от которого щемит сердце и захватывает дух». Песню на стихи Мерзлякова «Я не думала ни о чем в свете тужить…» пела любимая тогда всеми Сандунова.

Алексей Федорович советовал своим студентам «прислушиваться к народным песням и записывать их: в них вы услышите много народного горя». И с кафедры о русской песне Мерзляков говорил как поэт: «О! каких сокровищ мы себя лишаем! Собирая древности чуждые, не хотим заняться теми памятниками, которые оставили знаменитые предки наши! В русских песнях мы бы увидели русские нравы и чувства, русскую правду, русскую доблесть! В них полюбили себя снова и не постыдились так называемого первобытного своего варварства. Но песни наши время от времени теряются, смешиваются, искажаются и, наконец, совсем уступят блестящим безделкам иноземных трубадуров. Неужели не увидим ничего более, подобного несравненной песне Игорю!»

Александр Тургенев, имея в виду прочувствованные, глубоко патриотичные зажигательные речи друга, писал в 1804 году отцу: «Это же одним только Мерзляковым можно в такие лета иметь у себя полную аудиторию».

Многообразная профессиональная деятельность Мерзлякова всегда оценивалась положительно, но не всегда все же справедливо. Его постигла участь всех деятелей переходного периода, или периода отпочкования, зарождения какого-либо явления (в данном случае русской критики): он не был правильно понят иными современниками. Его судили не по критическим и теоретическим сочинениям, а по стихам и переводам, относя то к классицистам, то к архаистам, в то время, как он – мыслитель в литературе – ушел уже далеко и был всеми корнями в будущем, которым для литературы той поры оказывался реализм. И для которого не все современники созрели.

Как активный деятель эпохи просвещения, он делал все для того, чтобы русская словесность стала предметом научного изучения, кроме того, он был страстным пропагандистом русской литературы, его подвижнический труд выходил далеко за границы университетской деятельности.

Н. Мордовченко, современный биограф, пишет: «Мерзляков явился первым профессором Московского университета, благодаря которому русская литература получила самостоятельное место в ряду других дисциплин филологического факультета. Мерзляков первый отделил изучение русских писателей от древнеклассических, тогда как до него отечественная литература вообще не составляла особого предмета в системе университетского преподавания».

Взгляды Мерзлякова были связаны, с одной стороны, с клас-  
сицизмом восемнадцатого века, а с другой – с демократическими тенденциями просветителей, хотя ни тем ни другим направлением не ограничивались, ибо он постоянно анализировал и размышлял над теми новыми явлениями, которые преподносила жизнь.

Многое в его характере раскрывает позднейшая позиция по отношению к другу юности Василию Андреевичу Жуковскому. Нельзя cказать, чтоб Мерзляков не понял Жуковского или не хотел принять то новое, что нес романтизм, который представлял Жуковский, хотя так иногда кажется исследователям, называвшим Мерзлякова «застывшим классицистом» и проч. Все гораздо сложнее. Мерзляков не был столь неблагороден, чтоб переходить на критическое преследование одной личности, тем более личности друга, где речь идет ещё и о большом таланте. Тогда люди вообще были намного благороднее, сам уровень благородства был выше, это и Мерзлякова, и всех касалось. Уважалось именно мнение, мнение свое, особенное. Никакого давления, кроме своих убеждений, русская классическая литература девятнадцатого века не знала. Мерзляков отстаивал эти убеждения и, подспудно, свой авторитет в обществе, он ни при каких обстоятельствах не решался приневоливать свою прямоту.

Известен случай, характерный для Мерзлякова, хотя Кайсаров уже не мог о нем знать, произошедший 22 февраля 1818 года в заседании Общества любителей российской словесности, о котором вспоминает племянник поэта И. И. Дмитриева, М. А. Дмитриев: «На заседании общества собралась тогда высшая и лучшая публика Москвы: и первые духовные лица, и вельможи, и дамы высшего круга. Каково же было удивление всех, когда Мерзляков, по дошедшей до него очереди, вдруг начал читать… против гекзаметра и баллад Жуковского, который и сам сидел за столом тут же, со своими членами!

И не колеблясь нимало, Мерзляков прочитал хладнокровно статью, в которой явно указано было на Адельстана Жуковского, на две огромные руки, появившиеся из бездны, на его Красный карбункул и Овсяный кисель, как на злоупотребление поэзии и гекзаметра. Жуковский должен был вытерпеть чтение до конца; председатель был, как на иглах: остановить чтение было невозможно; сюрприз и для членов и для публики очень неприятный!»

Дальше Дмитриев, не понявший, почему Мерзляков опалился на любимого многими, уважаемого поэта, говорит о боязни (Мерзлякова) нововведений и старой привычке к классицизму. В такой же мере самого автора этих мемуаров можно обвинить в приверженности к авторитетам! Кроме того, что Жуковский-корифей для нового послевоенного поколения критикуется (даже показалось, чуть ли не низвергается), автор этих наблюдений не увидал ничего. Жуковский, скорее всего, понял больше, ибо его формировал тот же дружеский круг, включавший и Кайсарова и братьев Тургеневых, где не было привычки захваливать авторитеты, где царил дух критического отношения ко всем явлениям литературы, дух правды. Мерзляков остался верен этому духу. И поэтому был непримирим к недостаткам друга, а не к Жуковскому вообще, не к романтизму вообще.

Ведь именно Мерзляков чувством критика и кистью художни-  
ка в своем «Кратком начертании теории изящной словесности» (М., 1822) дал определение наиболее популярным романтическим жанрам своего времени. «Источники, – писал Мерзляков, – из которых почерпаются материалы для сего рода стихотворений, суть: баснословная и истинная история, рыцарские времена, обыкновенные случаи, встречающиеся беспрестанно в сей жизни или взятые из пиитического мира. Повествование сие бывает занимательно своими чудесностями, сказаниями, удивительными привидениями, новостию и всем, что ужасно, особливо странно или смешно и притом соответствует сколько-нибудь духу народа и времени. Вообще чудесное здесь непосредственно поддерживается господствующими в народе предрассудками: здравый и просвещеный смысл разрушает все очарование». Романс и балладу Мерзляков характеризовал как «романтическо-лирические стихотворения в простонародном тоне».

Понимание романтизма весьма глубокое. Чувствуется, что Мерзляков знал предмет. Именно поэтому он, как убежденный критик, публично указывал на чрезмерно уродливые места в фантазиях Жуковского, на злоупотребления поэта классическим (кстати о классицизме!) гекзаметром. Он говорил, что там, где автор просто затуманивает сочинения без цели и меры, там он неизбежно теряет читателя, ищущего простоты и мудрости художественной мысли и ясности формы.

Для представления о мерзляковской справедливости приведем случай с Батюшковым. В 1809 году он сатирически изобразил Мерзлякова («маленькая тень», «Верзляков») в стихотворении, быстро распространявшемся в списках, «Видение на берегах Леты». До этого Батюшков знал Мерзлякова лишь по стихам и переводам. В 1810 году, когда он лично познакомился с Мерзляковым, милым и добродушным человеком, который «принял» Батюшкова без всякого недоброжелательства, Батюшков писал другу: «Мерзляков – и это тебя приведет в удивление – обошелся как человек истинно с дарованием, который имеет довольно благородного самонадеяния, чтоб забыть личность в человеке. Я с ним имею тесные связи по разным домам и по собранию любителей словесности, составленному из нескольких человек, где мы время проводим весело, с пользою и чашею в руках. Он меня видит – и ни слова, видит и приглашает на обед. Тон его нимало не переменился… Я молчал, молчал – и молчу до сих пор, но если прийдет случай, сам ему откроюсь в моей вине».

К Мерзлякову как-то никто не хотел присмотреться внимательнее. Арзамасцы почему-то относили его к шишковистам (споры шишковистов и карамзинистов происходили уже тогда, когда Кайсаров не мог в них участвовать). Кстати, и самих шишковистов в карамзинистов, то есть враждовавших (или хотя бы просто полемизировавших) эпигонов, часто отождествляли с Шишковым и Карамзиным, никогда не враждовавшими. Ведь именно Шишков предложил принять Карамзина в Российскую академию и именно Шишков ходатайствовал о награде Карамзину за исторические труды, которых он был горячий поклонник. Шишков и Карамзин, словно две стороны одной медали, составляли скорее целое, чем рознь, как иногда представляли в советских учебниках.

Мерзлякова (как классициста!) раньше времени «сдавали в архив» литературы, в ее пассив, хотя мало кто, как Мерзляков, был наиболее действенным и деятельным критическим реалистом, видевшим все явления, все охарактеризовавшим, на всём, как личную печать, поставившим свое мнение, главная отличительная черта которого – служение справедливости, русскости, народности, патриотизму. Его обвиняли в архаичности, в то время, как он – один из немногих ратовал в начале века за русские критику и литературоведение, как науку. Это было тогда ещё мало кому понятно. Он желал развить как можно скорее русские язык и мысль.

К классическим писателям прошлого века Алексей Федорович подходил со смелостью, не свойственной ни Шишкову, ни поклон-  
никам Жуковского. Курс его лекций отличался критическим характером, острым анализом и смелыми выводами, хотя сама речь была слишком державна, возвышенна для будничных лекций, порой далека от разговорной, что и давало повод для параллелей с классицистами, писавшими «высоким стилем». Трагедия непонимания Мерзлякова, во многом, кроется в том, что справедливая мысль его одевалась в архаическую эстетику, высказывалась посредством ломоносовской ещё лексики и отчасти даже терминологии (например, слово «правила» для каждого жанра пора было заменить «особенностями», или, может быть, «свойствами» жанров и т. д.). Слабо развивавшаяся эстетика критических сочинений Мерзлякова (хотя времена-то менялись!) – вот главный недостаток, а может быть просто особенность этого критика.

Размышление его о «правилах» – пример такого несоответст-  
вия мысли и эстетики. Алексей Федорович утверждал, что словесность «заключает сочинения разных родов, составленных по свойственным каждому из них правилам, относительно к предметам, характерам, намерениям автора, месту, времени, читателям». «Разные роды», правила, но «особенные» для каждого жанра, требование народности – разве это лишь классицизм?

Свои понятия о критике он высказывал смело: «Почитают тень великого мужа оскорбленною, если кто обратит на его творения испытательные взоры!». Здесь предугадан случай с поклонниками Жуковского. Для Мерзлякова было равно критиковать Хераскова ли, Сумарокова, Жуковского. Главное – правда, просветление истины. Он называл критику «матерью и стражем вкуса». В то время (отчасти это представление осталось и доныне) слово «критика» было страшным: брань, насмешка, фельетон, сатира – вот с чем отождествлялось слово это «в виде страшном, в виде открытой брани». По мнению Мерзлякова (он высказал его, анализируя творчество Сумарокова), драматический талант писателя может не развиваться и зачахнет, если в то же время не будет критика и критики, которые бы способствовали росту писателя (а не занимались бы бранью, как думали иные).

В личной жизни Алексея Федоровича не было необычайных и бурных событий. Он прожил всю жизнь в Москве, ходил по одним и тем же улицам, сидел с друзьями и знакомыми в последние годы жизни все в той же кофейне, где сиживал с братьями Тургеневыми, Кайсаровым и Воейковым ещё во дни своей молодости, ходил в те же театры, гулял на тех же Воробьевых горах, а чаще трудился над книгами и рукописями литераторов (ведь он, подобно Новикову, многие годы возглавлял Московскую университетскую типогра-  
фию вместе с Дубровиным), читал лекции (кстати, Мерзляков – один из первых литераторов-просветителей читал и регулярные публичные лекции в различных домах для нескольких десятков слушателей, как, например, в доме князя Голицына в Москве и других, куда могли ходить не только студенты университета, но и военные, духовенство, дворяне, занимавшиеся активным самообразованием). Мерзляков и Кайсаров любили и понимали друг друга. Меж ними не существовало конфликтов.

Андрей Тургенев относился к нему так же, как и Кайсаров. В дневнике 17 ноября 1799 года он записал: «Вечер провел приятно. У меня был Андрей Сергеевич и Мерзляков; я не чувствовал, как время прошло и наступил девятый час».

Александр Тургенев, который больше уважал Мерзлякова, чем любил, писал: «На Мерзлякова грудь я надеюсь, как на вечную гранитную скалу». Энергичный прямодушный Мерзляков, как и Кайсаров, в нашем представлении навсегда связан с кругом братьев Тургеневых.

Братьев Тургеневых, как мы уже говорили, было четверо: Андрей (1781-1803), Александр (1784-1845), Николай (1789-1871) и Сергей (1791-1827). Они расширили для Кайсарова круг друзей до размеров всей России.

С Александром Тургеневым дружили в разные годы, кроме друзей Кайсарова – Жуковского, Мерзлякова, Воейкова, Константина Булгакова, Михайловского-Данилевского, – Пушкины, Василий Львович и Александр Сергеевич, Николай Гнедич, Константин Батюшков (кстати, с любимым другом Батюшкова Петиным учился в пансионе Александр Иванович Тургенев и Жуковский, знал его и Кайсаров), Александр Грибоедов, Петр Вяземский, с Вяземским, в свою очередь, дружили Денис Давыдов, Иван Крылов, список этот можно ещё долго продолжать.

С Николаем Тургеневым, известным декабристом-теоретиком, юристом и автором экономических трудов, которому Пушкин посвятил строки «Евгения Онегина»:

*Одну Россию в мире видя,*

*Преследуя свой идеал,*

*Хромой Тургенев им внимал –*

*И, плети рабства ненавидя,*

*Предвидел в сей толпе дворян*

*Освободителей крестьян;*

и с которым едва не стрелялся не дуэли, – дружило большинство декабристов.

Что касется Пушкина и Николая Тургенева, то известно, что последний оказал кратковременное влияние на молодого поэта. В квартире Николая Тургенева Пушкин написал оду «Вольность». Но сами отношения «легкомысленного», без всякого практическо-  
го интереса оставившего вопрос освобождения крестьян, Пушкина и – глубокомысленного Николая Тургенева приняли трагический характер, и несостоявшаяся дуэль не стала актом примирения.

Известно письмо Николая Тургенева из Парижа от 20 августа 1832 года, написанное в ответ на отрывок из «Евгения Онегина», который приведен.

«Сообщаемые Вами стихи о мне Пушкина заставили меня пожать плечами. Судьи, меня и других осудившие, делали свое дело: дело варваров, лишенных всякого света гражданственности, цивилизации. Это в натуре вещей. Но вот являются другие судьи. Можно иметь талант для поэзии, много ума, воображения, и при всем том быть варваром. А Пушкин и все русские, конечно, варвары…

Покуда Дикий в лесах, дотоле он не в состоянии и особенно не в праве судить о людях, коим обстоятельства позволили узнать то, чего в лесах знать невозможно… Для меня всего приятнее было бы то, если б бывшие мои соотечественники вовсе о мне не судили… Если те, кои были несчастливее меня и погибли, не имели лучших прав на цивилизацию, нежели Пушкин, то они приобрели иные права пожертвованиями, страданиями, кои и их ставят выше суждений их соотечественников».

Конечно, это письмо злое и несправедливое, особенно, где касается русских и Пушкина. Его диктовала желчь, неизбывная ностальгия, безысходность положения изгнанника. То обстоятельство, что царю, обществу и Пушкину (праздному человеку без определенных обязательств, в глазах Н. Тургенева) это письмо станет известно, подогревало густую желчь больного человека, отверженного политика. Все это нужно понять!

Пушкин же высказал свое благородство по отношению к Николаю Тургеневу именно в самый тяжелый для него период, не помня о разногласиях, а единственно желая спасти. На вопрос Николая I о Тургеневе (такие вопросы задавались относитель-  
но многих декабристов) Пушкин ответил: «Мы видим, что Н. Тургенев, воспитывавшийся в Гёттингенском университете, несмотря на свой политический фанатизм, отличался посреди буйных своих сообщников нравственностью и умеренностью, следствием просвещения истинного и положительных познаний». Кто знает, может быть вес слов Пушкина перетянул чашу правосудия и дал повод позже снять с Николая Тургенева смертный приговор.

Но это все необходимые отступления, описывающие то, что было позже. Тогда же, в 1799-1802 годах, все друзья и окружение, включая братьев и отца, Ивана Петровича Тургенева, возлагавшего на сына большие надежды, тянулись к богато одаренной личности Андрея Тургенева, а Николай Тургенев был ещё ребенком.

Андрей Тургенев, худой и крепкий, коротко остриженный, носил рыжеватые бачки на широких скулах. Большие глаза его с бархатным густым взглядом казались глубокими колодцами, полными юношеской мудрости. Круглый волевой подбородок и чуть вздернутый нос выдавали человека решительного характера. С поэтическим талантом, со способностями к языкам, юным темпераментом и, одновременно, холодным, острым умом, он хотел быть известным в литературном мире и не только мечтал, но и трудился, много читая, переводя и сочиняя при этом. Он находил время писать дневник, где очертил интересы и жизнь просвещенных кругов того времени, своих друзей.

Будучи вполне самостоятельным в своих суждениях по развитию и по природному вкусу стоявший выше ровесников, он руководил друзьями, которые, в первую очередь, к нему обращались за советом и помощью. Всем он говорил, что читать; давал, что переводить… Андрей Кайсаров, фамильярничая и шутя, писал: «Искал, искал я причину тебя упрекнуть, и, слава Богу, нашел. Помнишь ли ты, пребессовестной, что уже месяца четыре тому назад обещал мне выбрать или выпросить для перевода какую-нибудь книжку. Помнишь ли? И ты ещё не краснеешь?».

Имевший независимые суждения, Андрей Тургенев смело вступал в споры со старшими, находя такие выражения своих мыс-  
лей, которые не воспринимались в дискуссиях как оскорбительные или обидные. Он был юным и ищущим, мятущимся и полным надежд, при этом умел хладнокровно прятать свои порывы, избегая всяких крайностей. Иногда Андрей Иванович мог показаться сухим, скупым на изъявления чувств и не скорым на отклик. Это потому, с одной стороны, что кипучая натура его не оставляла места для чувствительности (над чрезмерной чувствительностью, не сдерживаемой «на людях», он часто смеялся); а с другой, – потому что перенял от отца аскетический образ жизни и умение стоически переносить неудачи, или какие-либо сложности жизни, не перекладывая их на сочувственные плечи друзей и близких. Все его страсти, в большей степени, были сосредоточены у него в голове.

Андрей Кайсаров, как всегда с большой горячностью говоря, а иное преувеличивая, писал своему тезке: «…Так люблю тебя, что всякую минуту дрожу, чтоб кто-нибудь не занял в твоем сердце моего места! Это очень легко. Ведь ты можешь найти миллионы заслуживающих твоей любви; но нигде и никогда не найдешь ты, кто б любил тебя так, как я. Вчера перечитывал я твои письма».

Андрей Иванович платил Кайсарову тем же. 5 января 1800 го-  
да Кайсаров был в своей деревне. Андрей Тургенев писал ему, рассказывая о том, что ходил здесь без него в «маленькое общество», где говорят «многое о многом»: «Я пришел и увидел тут Карамзина,.. двух Пушкиных, и мы просидели целый вечер очень весело. Измайлов читал свое «Путешествие в Киев». И далее: «Вчера я был тронут в одном месте Измайлова писем. Он описывает – и очень живо – потерю своего друга, пишет, как он ходил один по весенним лугам, которые прежде радовали их вместе с его другом, и проч. Я посмотрел на Карамзина, вспомнил Агатона, и вообразил тебя, и – почти заплакал».

В одном из писем к другу Андрей Сергеевич признавался: «Я час от часу нахожу в себе с тобою сходство». Друзья, словно предчувствуя, что оба погибнут рано, сильно, почти суеверно дорожили друг другом.

В те годы (1799-1802) рядом с триумвиратом друзей – Жу-  
ковский, Андрей Тургенев, Мерзляков – Кайсаров был как бы учеником. Дело здесь не в возрасте, конечно, а в духовной зрелости. Разносторонне подготовленные и занимавшиеся литературой профессионально, они были на голову выше провинциального Кайсарова, отдававшего до этого и уже в годы знакомства львиную долю своего времени военной однообразной службе. Андрей Тургенев однажды, возможно в шутку, назвал Кайсарова «дополнительным количеством» в их дружеском кругу.

Кайсаров выразил обиду: «Ты думаешь, что обидел меня, сказав, что я дополнительное количество в вашем собрании. Конечно, мне неприятно было это; но ты сам знаешь, что я к вам не напрашивался, чувствуя, что в словесности с вами не равен. Я ещё заранее все это предвидел и был уверен, что если не ты, то, конечно, другой бы кто-нибудь скоро мне об этом напомнил».

Тургенев бросил другу справедливый, но не злостный упрек. Он любил Кайсарова, в котором за муками косноязычия, за грубоватостью и простодушием зрела личность крупного масштаба, этот процесс развивался динамично и сложно. Не случайно Андрей Сергеевич поражал друзей перепадами душевных состояний: то приступами безудержной веселости, то вдруг наступавшей тяжелой меланхолией. Хотя среди них он больше, конечно, слыл за веселого человека и юмориста. В переписке с Александром Тургеневым, имея в виду адресованную себе надпись на портрете Александра со словами «меланхолик», Андрей Сергеевич возражал: «Я совсем не меланхолик; наше маленькое общество только тогда и смеется, как я дурачусь».

Кайсаров прощал своему другу любую критику в свой адрес и… обижался порой, но обижался ненадолго. Он просил Андрея Ивановича высказывать ему все, но не «при гласе трубнем», то есть не при множестве народа, а в личной дружеской беседе.

Держа в уме свои отношения с Андреем Тургеневым, Кайсаров говорил ему: «Мне кажется, что в многих случаях холодность так же вредна, как излишний огонь. Но ты сам все знаешь».

Таким образом, есть намек (всего лишь намек!), что соотношение характеров двух Андреев было такое; «холодность» и «из-  
лишний огонь»; отношение резкого, охлажденного ума (Тургенев) и горячего сердца (Кайсаров), почти как у Пушкина: «лед и пламень». Впрочем, эта полярность была лишь в глубине их натур. В жизни, верхнем слое, они сходились гораздо ближе, в их дружбе растворились понимание и теплота. Ошеломивший Кайсарова своей личностью Андрей Тургенев навсегда, до конца дней, стал лучшим его другом, которому была отдана самая сильная, самая глубокая, самая горячая привязанность в жизни.

Примерно так было и со всеми друзьями Андрея Ивановича, которого они любили, может быть не меньше, чем Кайсаров.

Жуковский, выразил свою любовь к Андрею Тургеневу в стихах:

*Не он ли нас приятной остротою*

*И ценностью сердечной привлекал?*

*Не он ли нас тесней соединял?*

*Сколь был он прост, нестрашен в разговоре!*

*Как для друзей всю душу обнажал!*

*Как взор его во глубь сердец вникал?*

*Высокий дух пылал в сем быстром взоре…*

Во все времена среди молодежи явное подчеркнутое поклонение авторитетам подвергалось насмешкам. Однако, строгие молодые люди в душе были готовы к поклонению лидеру. Не богатство, не знатность, не чин, даже не великий ум подкупали молодежь. Нужен был лидер. Какой? – с характером и волей, с чутьем справедливости и широтой мышления, и главное – с безоговорочной современностью взглядов. Молодежь всегда тянется к новизне! Как это ни парадоксально, весьма свободные убеждения юных максималистов отлично могут ужиться с восторженным благоговением перед человеком, в котором видится настоящий вожак.

Преувеличенный энтузиазм свойствен молодому сердцу, но оно не способно вдохновиться просто идеей (говорят ещё «голой идеей»). Нужно, чтоб какая бы то ни было идея была воплощена в обаятельном лице, в энергичных жестах, в теплом бархатном взгляде, в насмешливой улыбке, остром слове человека, о ней поведавшего. Словом, ей должна сопутствовать вся магия, все очарование личности.

Независимость мнений очень ценится, но особенно хороша она, когда выражается не среди послушных и робких, а в присутствии всеобщего любимца и авторитетного вождя, тогда независимое мнение только и проходит закалку. Лидером для всех, его окружавших, стал Андрей Иванович Тургенев. Родители возлагали на него надежды, друзья видели в нем главную опору. Он был вожак! Позже, когда Андрея Ивановича не стало, все вдруг словно осиротели. Это чувство оказалось всепоглощающим и единодушным. И после уже такого единодушия не было ни в чем. Привычные связи нарушились, друзья разбрелись…

Если Андрей Тургенев был натурой цельной и волевой, то Александр, по словам его друга, Петра Андреевича Вяземского, не представлял цельности ни в характере, ни в уме. Натура эклектиче-  
ская – «он был умственный космополит; ни в каком участке человеческих познаний не был он, что называется дома, ни в каком участке не был он и совершенно лишним».

Друзья, иные из которых позволяли себе подтрунивать над многообразием его дел и забот, – все вполне искренне и с беско-  
нечной благодарностью любили Александра Ивановича «за добродетели его и за милыя чудачества». Александр Тургенев без друзей не мыслим, а друзья и знакомые его – все выдающиеся люди того времени.

При жизни в Александре Тургеневе находили много недостатков и много достоинств. В архиве братьев Тургеневых есть шуточный его портрет:

*По летам – муж, по опыту – старик,*

*Невинностью души – младенец;*

*И малодушен и велик,*

*И раб страстей и их владелец!*

*Он с волей твердой, – а других*

*Своей он воле покоряет –*

*Живет в мечтах, земное презирает,*

*Но ест и пьет за осьмерых.*

Сегодня мы не можем назвать его ни «ленивцем», ни «празд-  
ношатающимся», ибо дошедшие до нас обширные его писания, будь то письма, дневники, выписки – тысячи всевозможных бумаг – являются кладезем самых разнообразных сведений об эпохе и людях, об истории. Ведь Александр Иванович всю жизнь собирал документы из зарубежных источников, относящиеся к России, характеризующие ее во все эпохи разными народами. Такой редкий труд, казалось, никто не смог бы лучше выполнить, чем Александр Иванович Тургенев.

При всей внешней суетливости, заботе о пустяшных «делах, невидных для общества», он сделал немало для литературной России.

Во второй трети своей жизни (1804-1825) он активно участвовал в делах страны. Был в комиссии по составлению законов (1806). В 1807 году во время заграничного путешествия Александра I находился в свите царя (с того года он лично известен ему и его семье). Был также на должности директора департамента духовных дел (1810); на посту помощника статс-секретаря Государственного совета (1812); правителем дел в Женском патриотическом обществе (к которому относился с живейшим участием); состоял секретарем Российского библейского общества, где всячески тормозил распространение влияния католической церкви на территории Российского государства.

Немало усилий приложил Александр Тургенев для изгнания из России иезуитов. Этот орден скрытых мародеров, помимо того, что отвращал людей от идеи служения отечеству, при помощи краснобайства одаренных и искушенных в пустословии и религиозной софистике служителей заманивал в свои сети, опутывал лживым туманом самые богатые семьи России, заставляя их вкладывать средства на счет ордена, а также делать духовные завещания и вывозить капиталы, материальные, художественные ценности, библиотеки, коллекции, архивы и проч. за границу. Орден не останавливался и перед такими средствами, как подделка завещаний и других документов, шантаж, запугивание, провокация, убийство.

Тургенев имел влиятельных друзей, личное знакомство с царем давало ему возможность быть «ходатаем, заступником, попечителем». Литераторы, нуждавшиеся в поддержке и не умевшие себе проложить дорогу всегда могли опереться на щедрую руку Александра Ивановича Тургенева. Альтруистический талант – тоже талант и довольно редкий. Вяземский называл Тургенева «виртуозом и неутомимым тружеником в круге добра», «агентом по собственной воле». Он объединял разобщенные и разделенные необозримыми пространствами интеллигентные силы России.

Так связала его дружба с Пушкиным, для которого Александр Тургенев навсегда остался старшим наставником.

Все началось с того, что Василий Львович Пушкин, друг Тур-  
генева, попросил отзывчивого Александра Ивановича устроить и отвезти племянника Александра в открывавшийся тогда Царскосельский лицей. Сделать это было нетрудно, так как первый директор лицея В. Ф. Малиновский, и в большей степени даже брат его – А. Ф. Малиновский, драматург и переводчик (в пьесе Коцебу его перевода «Бедность и благородство души» играл Кайсаров), – были друзьями семьи Тургеневых, друзьями Карамзина и многих из этого круга.

Александр Иванович исполнил поручение в конце октября 1811 года. Об этом мы знаем из письма самого Тургенева к Жуковскому, которое довольно известно. Тургенев познакомил Пушкина и всех лицеистов с Карамзиным и Жуковским. Вместе с Жуковским организовал «Арзамас».

Обращения Тургенева к Пушкину были покровительственными и назидательными. Пушкин всегда называл Тургенева на «вы» (не в стихах), а Тургенев Пушкина на «ты». Они переписывались. Ему же Александр Сергеевич посвятил и прислал стихотворение:

*Один лишь ты находишь время*

*Смеяться лености моей…*

*Тургенев, верный покровитель*

*Попов, евреев и скопцов,*

*Но слишком счастливый гонитель*

*И езуитов, и глупцов,*

*И лености моей бесплодной,*

*Всегда беспечной и свободной,*

*Подруги благодатных снов!*

*К чему смеяться надо мною,*

*Когда я слабою рукою*

*По лире с трепетом вожу*

*И лишь изнеженные звуки*

*Любви, сей милой сердцу муки,*

*В струнах незвонких нахожу?*

*Душой предавшись наслажденью,*

*Я сладко-сладко задремал…*

*Один лишь ты с глубокой ленью*

*К трудам охоту сочетал;*

*Один лишь ты, любовник страстный*

*И соломирской и креста,*

*То ночью прыгаешь с прекрасной,*

*То проповедуешь Христа.*

*На свадьбах и в Библейской зале,*

*Среди веселий и забот,*

*Роняешь Лунину на бале,*

*Подъемлешь трепетных сирот;*

*Ленивец милый на Парнасе,*

*Забыв любви своей печаль,*

*С улыбкой дремлешь в «Арзамасе»*

*И спишь у графа де Лаваль.*

*Нося мучительное бремя*

*Пустых и тяжких должностей.*

Тургенев снабдил это стихотворение своими замечаниями и отправил Жуковскому: «Посылаю послание ко мне Пушкина – Сверчка; которого я ежедневно браню за его леность и нерадение о собственном образовании. К этому присоединились и вкус к площадному волокитству и вольнодумство, также площадное, 18-го столетия. Где же пища для Поэта? Между тем он разоряется на мелкой монете. Пожури его».

До высылки на юг Пушкин посещал квартиру Александра Тургенева, с юга прислал ему несколько писем.

После 1825 года произошли резкие перемены в судьбах друзей. Тургенев был ошеломлен и выбит из колеи судом над декабристами, к которым был причастен его брат Николай. Спасло жизнь Николая лишь то, что он находился в 1825 году на лечении за границей. Следом за судом над Николаем, лишившись рассудка из-за слабого здоровья и пережитой трагедии константинопольской резни, свидетелем которой он оказался будучи секретарем дипломатической миссии в Турции, умер младший брат Сергей Тургенев, который был очень дружен с Кайсаровым (в последнее десятилетие и с Пушкиным).

После безуспешных хлопот за брата Александр Тургенев оставил официальную службу и выехал за границу, проводя всю оставшуюся жизнь в странствиях по Германии, Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Голландии, Дании и Швеции. Лишь изредка он наведывался в Россию.

А Пушкин в это время был уже знаменитостью. Жил в Москве и Петербурге. Однако, в год смерти Пушкина Александр Иванович как раз посетил Россию: Симбирск, Москву, Петербург и находился у смертного одра поэта. Он же, по желанию императора, выраженному графом Бенкендорфом, отвез прах Пушкина к месту последнего успокоения во Псковскую губернию, в Святые горы.

Читатель вправе задать вопрос: был ли Кайсаров знаком с Пушкиным? Он вполне мог видеть Александра Сергеевича в доме Тургеневых, где, если находился в Москве или в Петербурге, бывал почти ежедневно; мог встретиться в театре, на прогулке, на детском празднике, в доме Василия Львовича Пушкина и т. д. Ведь в Москве (и Петербурге) в литературных кругах все знали друг друга. Но Кайсаров мог не придать значения встрече с ребенком или никому не известным тогда подростком, всего лишь племянником литератора. Ведь Кайсаров до поэтической славы Пушкина не дожил. Письменных упоминаний о такой встрече нет. Виделся ли Кайсаров с Пушкиным? – все же это весьма гадательно. Однако Пушкину имя Кайсарова не могло быть не известно в связи со славянскими и сербскими делами и единственной книгой Кайсарова, о которой мы ещё будем говорить и которые Пушкина интересовали тоже. Такие близкие Пушкину люди, как Куницын, Тургенев, Жуковский, Кайсарова знали и могли о нем рассказывать.

Сам Андрей Сергеевич очень любил Александра Тургенева и оставил об этом немало письменных высказываний.

Здесь же следует сказать подробнее ещё о двух друзьях Кайсарова и Тургеневых, ставших в жизни, по иронии судьбы, друзьями-врагами, – о Василии Андреевиче Жуковском (1783–1852) и Александре Федоровиче Воейкове (1779–1839). Хотя наши современники одного знают (мы здесь поэтому не станем анализировать творчество Жуковского), а имя другого мало о чем говорит, – для Кайсарова они оба были одинаково дороги и по-разному любимы.

К Василию Андреевичу Кайсаров присматривался с интересом и желанием полюбить его. «С Жуковским разговариваем мы все почти о тебе… Мне хотелось с ним гораздо покороче познако-  
миться потому только, что ты его любишь…», – писал он Андрею Ивановичу. И в другом письме: «Он имеет особенное что-то, что заставляет, при первом на него взгляде, полюбить его». Что, однако, не мешало относиться к поэту порой и критически. Чаще – когда Кайсаров судил о литературных трудах, реже – когда говорил о личных качествах. Жуковский удивительно не соответствовал сам себе в своих сочинениях (романтических). Там случалось и туманное безвременье эпох и мрачные пейзажи, сюжеты, много слез и кладбищенского уныния. В жизни это был, бесспорно, чуть ли не самый мягкий, добрый, милый и веселый человек в том дружеском окружении, в котором жил.

Отношение Кайсарова к Жуковскому – это отношение понимающей все, но более простой, ясной натуры к натуре более сложной, утонченной, но такой же чистой. Кайсаров, как человек искренний, не скрывал творческих расхождений со своим, бесспорно, очень любимым другом, а порой подчеркивал их с эпиграммической остротой. Он пишет Андрею: «Жуковский мне прислал книгу, но и так ответил, что мне даже легкое мудреным кажется».

Кайсаров порой считал: Жуковский «слишком церемонен». Ведь сам Андрей Сергеевич педантизмом отнюдь не отличался. Внимание к иным мелочам ему и не было понятно. Но это не конфликты, лишь особенности друзей: ведь ни Жуковский не мог стать проще, ни Кайсаров – сложнее.

И для Жуковского Кайсаров не бесспорен. Он чувствовал, что в нем нет тех знаний, какими обладал сам Жуковский; нет той культуры; а также кротости; что он вспыльчив, порой неловок, но – оба они искренни и чисты в своих помыслах.

Словом, все это не мешало друзьям любить друг друга и ува-  
жать; встречаться, спорить, обмениваться мнениями, взаимовлияя друг на друга. Их объединяло и притягивало то, что оба они обладали натурами цельными и были – каждый по-своему – талантливы.

Более направлены к полярным наклонности Воейкова и Жуковского. Жуковский – мягкий, нерешительный, щепетильный, бесконечно трудолюбивый и во многом неброско педантичный. Воейков – неуклюжий, грубовато-демократичный, напористый, максималистски настроенный, в разные годы бросался в крайности от демократических убеждений к ревностному служению русской монархии и ее консервативным устоям. Он был участником «Арзамаса»; его вечера посещали Гнедич, Языков, Баратынский, Батюшков, Вяземский.

Воейков обладал характером противоречивым. Например, Александр Федорович мог высказать злые мысли в отношении не только своих врагов, но и друзей, безмерно огорчая их, идя на ссору. И затем – с таким же жаром! – мог искать примирения. Противоречивому нраву Воейкова не всегда удавалось устранить себя от дел, не одобряемых совестью, и это отвращало от Александра Федоровича симпатии современников.

В словаре Геннади о Воейкове сказано: «Средней руки стихотворец… Как журналист Воейков при неуживчивом, завистливом характере, отличаясь желчною и придирчивою критикою, грубою бранью и неугомонною полемикою, возбудил против себя большую часть литераторов».

Воейков был некрасив. На широком мясистом лице его маленькие калмыцкие глаза сверкали углями. Человек он был открытый, манеры имел размашистые, любил выпить, отчего делался говорлив и задорен: ругал тиранов, спорил о политике, высмеивал литераторов, был шумен, пел, играл на гитаре. Иван Сергеевич Тургенев, видевший Воейкова в последние годы его жизни, дает нелестный его портрет: «Воейков, хромоногое и как бы искалеченное полуразрушенное существо, с повадкой старинного подъячего, желтым, припухшим лицом и недобрым взглядом черных крошечных глаз».

При этом все же сатирическая меткость характеристик литера-  
торов и политических деятелей снискала Воейкову известность среди современников. Хотя две наиболее значительные его сатиры «Дом сумасшедших» и «Парнасский адрес-календарь» при жизни не издавались и ходили в списках, утоляя потребность злорадных умов в дурных эмоциях.

Воейков далеко не был во всем благородным человеком. Поэт, переводчик, острый полемист, впоследствии журналист и издатель; соиздатель (вместе с Н. Гречем) «Сына отечества» – одного из самых популярных журналов XIX века, просуществовавшего тридцать семь лет, что для тогдашних журналов было редкостью; организатор и редактор «Русского инвалида» и литературного приложения к «Русскому инвалиду»; издатель журнала «Славянин» (1827-1831), в котором печатался и Пушкин, – он был литератором среднего дарования, небрежным редактором, работавшим неровно. И хотя Воейков по натуре просветитель и занимался просветительством активно и смело, однако, и коммерческие цели ему были не чужды. Бессребреником Воейкова явно не назовешь.

Как считают исследователи творчества Жуковского, корыстные цели преследовал Воейков и тогда, когда осуществил коварный, по сути план: предал доверившегося ему друга, разбил чужое счастье.

Речь идет о любви Воейкова и Жуковского к сестрам Протасовым. Читателям, даже знакомым с биографией Жуковского по исчерпывающе подробному варианту В. В. Афанасьева (М., 1986), следует здесь напомнить вкратце эту историю. Хотя она по своей протяженности уходит далеко за границы жизни Кайсарова и его как бы не касается, но все же очень глубоко раскрывает суть характеров, позиций и жизненных катастроф его близких друзей.

В конце 1802 года Жуковский, вынужденный подать в отставку, уехал в село Мишенское, где жила его сводная сестра Екатерина Афанасьевна Протасова (она была родней Карамзину, так как тот был женат первым браком на младшей сестре ее покойного мужа).

Две дочери Екатерины Афанасьевны, Маша и Саша, быстро привязались к Жуковскому. Он стал их учителем и другом. Излишне говорить, что Маша и Саша были влюблены в него. Большеглазая, грациозная, как лань, открытая душой и добрая Маша казалась ему особенно беззащитной. Она принимала каждое слово за святую истину и верила чувству, как провидению. Жуковский стал замечать, что думает о ней чаще.

Екатерина Афанасьевна Протасова, когда он открылся ей в своем чувстве к Маше (которое и невозможно скрыть от материнских ревнивых глаз), отнеслась к Жуковскому более чем сурово и бесповоротно осудила его:

– Маша ещё ребенок, – сказала она (хотя Василий Андреевич намекал на женитьбу лишь в неопределенном будущем). – Маша племянница Вам, а Вы ей дядя, – напомнила она давно известное.

Екатерина Афанасьевна не желала слушать возражения о том, что он лишь сводный брат ее, и что подобные браки не редкость (приводились примеры).

– Вы обманули доверие и тайно взлелеяли чувства, какие не подобает иметь мужчине ваших лет к ребенку, – гневно упрекала его Екатерина Афанасьевна.

Жуковский впал в отчаяние. Он понимал, что кроткая его избранница не поступит против воли матери и сестры. Маша чувствовала напряженность отношения семьи к Жуковскому и… с ещё большей нежностью тянулась к нему.

Василий Андреевич, зная твердость характера Екатерины Афанасьевны, уезжает, приступая к внутренней «борьбе с любовью». Но не прекращается письменное сообщение. Десятки искренних писем идут в Мишенское, а оттуда – в Москву.

«Борьба с любовью», однако, внезапно рухнула, как только Жуковский через несколько лет, – когда Маше исполнилось уже восемнадцать, и она расцвела ещё больше, – приехал в деревню. Душа устремилась к ней с новой силой. Они с Василием Андреевичем гуляли, играли на фортепиано, читали стихи, но всегда не одни: Екатерина Афанасьевна не спускала с них глаз. Они старательно делали вид, что любовь их прошла, но именно старание это сразу вызывало подозрение своей чрезвычайной ревностностью. Материнское сердце и женское чутье не обманывали Екатерину Афанасьевну.

Шли годы. Ничего не менялось.

Однажды, когда Маше уже был 21 год, а отношения их с Василием Андреевичем были все так же окрашены безнадежностью, Жуковскому пришло вдруг письмо от Воейкова. Он вспомнил о двух Андреях – Тургеневе и Кайсарове. Святая память облагородила Воейкова в глазах не высказывавшего особого расположения к нему Жуковского. Василий Андреевич расчувствовался, во имя памяти и былой дружбы пригласил Воейкова к себе и представил Протасовым.

Воейков обратил на Жуковского самые жаркие чувства, доверяя и тайну: у него тоже есть связь с одной своей дальней родственницей – Авдотьей Воейковой – и даже есть ребенок. Он думает жениться на ней, но сначала, для вящей жизненной прочности, хотел бы получить место профессора где-нибудь в университете.

Жуковский принял в судьбе друга живейшее участие. Она написал письмо Александру Ивановичу Тургеневу и тот начал хлопоты.

Тем временем Воейков расположился в доме Жуковского, а затем переехал к Протасовым, очаровав их своею предупредитель-  
ностью, остроумием, многими познаниями. Был принят как друг Жуковского. Екатерина Афанасьевна отвела ему комнату во флигеле. Воейков нравился ей. В нем нашлось то, чего не было и казалось никогда не могло быть в хрупком, нежном Жуковском, – солидность.

Жуковский удивлялся проворству Воейкова, но старался не придавать этому особого значения. Воейков верен своей деятельной, взрывной натуре, не переменился, думал он.

Александр Федорович действительно кипел энергией. Во все вникал, помогая Екатерине Афанасьевне по хозяйству, ездил по поручениям. Вечерами читал Протасовым свои сатиры и переводы Вольтера.

Немудрено было скоро догадаться, что Жуковский влюблен в Машу. Воейков старался понравиться Саше, у которой немалое приданое, да и сама она недурна. И Саша вскоре с удивлением поняла, что уже оказалась невестой Воейкова…

Александр Федорович усердной овечкой просил Жуковского быть его сторонником и ходатаем в женитьбе. Здесь он нажал на самую чувствительную струну Жуковского, обещая (потом, после своей свадьбы, конечно!) хлопотать за него и Машу перед Екатериной Афанасьевной.

Василий Андреевич изумился и огорчился такому безапелляционному вторжению в столь счастливый и дорогой ему мир. Он не верил. Он пытался противиться этому:

– А как же та женщина с ребенком, на которой ты собирался жениться? – спрашивал он со страданием во взоре. – Так ты выполняешь свои обязательства?

– Там все кончено, – сказал Воейков.

– Когда ж ты успел все кончить?.. – съязвил обиженный и расстроенный Жуковский.

– У всякого могут быть ошибки. Не вечно ж за них расплачиваться?

«Не видно, чтоб ты за что-либо расплачивался», – подумал Жуковский, а вслух вздохнул:

– Бедная Саша!..

– Саша чиста, как ангел. Кто начнет тревожить ее рассказами об искушениях и ошибках, подстерегающих мужчину на каждом шагу, – тот будет клеветник…

Так закончился этот неприятный для обоих разговор. Конечно, Жуковский не мог оказаться клеветником, и Протасовы ничего не узнали.

Вскоре Воейков (с помощью Жуковского и Тургенева) стал профессором, женился на Саше и увез в Дерпт всех Протасовых, грубо и безоговорочно взяв на себя роль главы семьи. Екатерина Афанасьевна безропотно подчинилась.

Воейков с первых дней начал настраивать ее против Жуковского, может быть, боясь упустить приданое Маши. А ещё больше испытывая смешанное чувство ревности и зависти к Жуковскому, как к литератору, одновременно считая, что он предал идеалы их молодости, идею активной борьбы за отечественную культуру, завяз в переводах, находится под влиянием иностранных писателей, что он – книжник, жизни не знает совсем и знать не хочет. И, вместе с тем, Воейков страдал от сомнений, что это не совсем так, что и сам он переменился и многое предал. Нет! Это слово он к себе не применял! Хотя в душе был весьма критично настроен даже к себе самому. Критично и желчно, как и к другим. Он сомневался и страдал, вымещая свое недоброе состояние на беззащитном благородном Жуковском и своих близких. Воейков тянулся к сильным натурам. Таким, как Андрей Тургенев. Мягкотелых, как Жуковский, он презирал. «За что только его любят все? – думал Воейков (хотя знал за что). – В такие лета – всё не мужчина! Ведет себя как дитё, там, где нужно брать быка за рога».

Василий Андреевич не догадывался об этих бьющихся в душе Александра Федоровича страстях. Он увидел только двуличность Воейкова и несправедливость по отношению к себе. А когда однажды во время обеда (у Воейковых в Дерпте) Александр Федорович незаслуженно оскорбил Жуковского и никто за него не заступился (не посмели!), впечатлительный, расстроенный и униженный Василий Андреевич вынужден был уехать в Москву, лишившись с отъездом возможности видеться с Машей, страдая от этого.

Вскоре Маша вышла замуж за Мойера, врача-хирурга, профессора, лечившего их семью.

Страдал по-своему и Воейков. Выходит, он разбил счастье Жуковского окончательно. А этого он – видит Бог! – не хотел. Пусть бы Жуковский со своими добродетелями жил где-нибудь подальше от него и был бы счастлив. Но только не подле глаз. Только не слышать бы всегда сравнения и упреки окружающих.

Через несколько лет в Дерпте умерла Маша, а ещё через шесть лет в Италии – Саша, которую страстно любил и Александр Турге-  
нев, а Жуковский, ещё раньше, посвятил ей балладу «Светлана».

Александр Федорович Воейков вновь женился. Он часто болел, осунулся, порой казался нелюдим.

После смерти Воейкова в его бумагах были найдены записи и счета, из которых явствовало, что в течение многих лет он содержал несколько бедных вдов и сирот, тратя на них около ста рублей в месяц. Все делалось методично и негласно, словно Воейков стеснялся, чтоб его не уличили в благотворительности и христианской добропорядочности. Между тем, если б при жизни окружающие знали о его добродетельных поступках, мнение о нем бы резко переменилось. Александр Федорович меньше всего думал о молве. Какие-то противоречивые силы подвигали им в его жизни.

Однако, поступок этот обрадовал незлопамятного Жуковского искренне. Он словно перечеркнул в душе все неприятное, мрачно-роковое, связанное с Воейковым. И Василий Андреевич вспомнил слова его о былой, ещё юношеской дружбе, обращенные к себе, – ты одно из действующих лиц той прекрасной комедии, которую мы играли во время но, и которая называлась «счастье».

Но всё это случилось потом. В период юношеской дружбы эти люди были несколько иными.

Вернемся к осени 1800 года, последнего года блистательного восемнадцатого века. В один из субботних вечеров друзья собрались на Девичьем поле в старом доме Воейкова, тогда хлебосольного, сердечного хозяина, кутилы и острослова.

Когда Кайсаров и Мерзляков вошли, то хозяина не было видно, Жуковский тоже не подъехал, у окна стоял стройный Андрей Тургенев со строгим лицом. Он опирался на темный старинный комод и напряженно писал на листе синеватой бумаги. Чувствовалось, что мысль его не прерывает течения от присутствия новых людей. Кайсаров в душе позавидовал такому самообладанию. Его пугливая мысль была беззащитна перед обстоятельствами, всегда мешавшими ей развиться, она благоденствовала лишь в тиши ночного одиночества.

Рядом вальяжно расселся на диване красиво завитой, холеный Александр Тургенев. Его лицо, несмотря на продолговатость, намеченную природой, напоминало полную луну. Александр с едва заметной блуждающей улыбкой перелистывал новый номер журнала «Иппокрена, или утехи любословия».

Тут же вошел Жуковский в распахнутом плаще и с веселой дорожной историей на устах. Все взоры устремились на него.

Андрей Сергеевич скромно устроился на жестком стуле с высокой спинкой, стоявшем у двери, и не без тайной зависти и восхищения наблюдал дружеские рукопожатия молодых людей, обмен любезностями, шутками и новостями. Душа Кайсарова ликовала. Он видел перед собой искреннюю любовь друг к другу, не омраченную ни завистью, ни корыстью, и тянулся к этому очагу всем сердцем.

Вечер казался теплым для этого времени года. За зелеными занавесками окна стояла, едва пронизываемая тонкими звуками далекой скрипки, величавая тишина, столь благоприятная для откровенных излияний.

Свечей ещё не зажигали. В глубине комнаты был накрыт круглый стол. Воейков готовил пунш, голубые огоньки которого бросали волшебный свет на его платье.

О чем в тот вечер шел разговор? Он не отличался ни глубиной поднятых вопросов, ни особенной новизной тем. Он то шел вокруг дорожных приключений и московских знакомых, то – светских и служебных новостей и не был сколько-нибудь занимательным, пока Жуковский не коснулся религии:

– То, что называют словом «религия», кажется мне чудеснейшим, необъяснимым феноменом. Для меня религия есть только тогда, когда божественно мыслят, творят, живут, наконец… Когда дела и помыслы полны Бога. Когда незримое дыхание молитвы, божественного вдохновения разливается над бытием нашим. Когда люди работают, встречаются, беседуют, пишут не по обязанности только… Заметьте, я это подчеркиваю! – Только из любви; только потому, что хотят. Тогда можно сказать: Бог в нас!

– Ты, Василий Андреевич, говоришь не о той религии, – всту-  
пил в разговор Андрей Тургенев. – Или, вернее, не обо всей. Есть же у нее и подавляющая рука. Тысячелетиями религия (отчасти выключая разум) питала человеческую меланхолию, – это пепелище страстей, бесплодно сгоревших в одиноком сердце. Разум парализовался… Меланхолия сама ищет заблуждения потому, что правда для нее слишком груба. Поэтому-то меланхолия опасна для души. Она от опыта чувств хочет спрятаться в анализ их и книжное толкование. Отсюда зыбкость чувствований наших. Приключениям страстей мы предпочитаем предусмотрительность. Меланхолия располагает к слабости…

– Какая слабость может дать такую силу и крепость рели-  
гии? – то ли раздумывая, то ли спрашивая сказал Мерзляков. – Ведь религии тысячи лет и зародилась она, видно, с самим человеком.

Кайсаров, переживавший спор как собственные размышления, решился вставить слово:

– Может все дело в том, что существо наше с древнейших времен склонно верить, настроено верить?.. Дай ему разум вместо Бога, и оно поверит в разум.

Андрей Тургенев насмешливо повернулся к говорившему:

– В религии разума нет. Разум не дал бы вере развиться и завладеть человеком.

– Ну, ты, брат, загибаешь палку! – горячился Кайсаров, – что же все верующие и все попы дураки и невежи?! Да и вообще мне кажется, что в основе религии некогда и лежал разум. Люди сами все замутили своими смутными мозгами.

Над попами и самому мне хочется порой смеяться, особливо как в спальной у матушки попы изо всей глотки кричат всенощную. Всякий своим образом хочет хвалить или благодарить Бога. – Иной бьется лбом об землю, другой стоит, как вкопанный, иной уже охрипшим от пьянства голосом гремит хвалу Богу, другой шепчет себе под нос и делает такие хари, от которых бы и свои чудотворные иконы рассмеялись, если б они были не иконы. Со всем тем, я всегда соглашусь лучше жить с таким человеком, который делает все эти дурачества, нежели с тем, который, называя все это суеверием, не делает однако же существенного. Признаюсь, что для меня приятно видеть в церкви, как добрые люди, стоя на коленях, со слезами молятся.

– Может кто хочет грехи искупить и отдаться на милость Бога! – сказал Александр Тургенев.

– Какие грехи у младенца и у женщины, которая любит?! – вслух размышлял Жуковский. – Мать каждого из нас рожала. Те-  
перь мы должны… И можем ли? осудить ее за грех?!

– Можно подумать, – сказал Андрей Тургенев, – что женщины лишь святые, что не существуют разгульные девки? Но никогда гнусные слова «разгульная» или ещё какие не относятся к любящей женщине. Любовь очищает все. Любовь облагораживает самые презренные существа; и уж тем более существа, виновные только в том, что они были брошены в жизнь беспомощными, нищими, одинокими. Ведь все рождаются для чистоты чувств.

– Гм… – усмехнулся Воейков. – Теоретик ты, Андрей.

Андрей Тургенев сверкнул на Воейкова веселым взглядом и прижал палец к губам:

– Тсс…

С минуту стояла тишина, которую нарушил Андрей Кайсаров:

– Меня женская чистота привлекает. Напротив, – неблагодарность, грубость мужчин отвращают. От любовных… – Андрей запнулся, ища подходящее слово, – помыслов.

– Может, промыслов?!.. – захохотал Воейков, уловивший едва заметное замешательство Андрея Кайсарова, и с рисованной удалью хлопнул Андрея Сергеевича по плечу. Кайсаров ответил таким же, с нарочито петушиным наскоком, хлопком.

Однако Андрей Тургенев, словно не замечая этой дружеской пикировки, возразил Кайсарову:

– Не все мужчины порочны и грубы.

Жуковский взглянул на Кайсарова с солидарностью:

– Мы грубее женщин.

– Но мужчине нужно познание грубой чувственности… И потом, он владеет секретом заставить женщину прощать ему недостатки и пороки, – добавил Воейков с легкой ухмылкой.

– Прощать можно лишь любя, – сказал Кайсаров. – И все равно прощение – страдание. Неужели мужчина должен доставлять женщине лишь страдания?! Это несчастье. Я бы не хотел этого делать. Хотелось бы, чтоб мне радовались всегда.

Жуковский грустно вставил:

– Поэт сказал, есть наслаждение в страданьи. «Скользим мы бездны на краю»…

– Что за живодерское наслаждение? – вскипел Кайсаров. – Что за осознанное живодерство чувств? Что ж мы так недобры? До чего договорились, а?..

– Однако ты склонен к филантропии, дружище, – охладил его спокойным голосом Андрей Иванович и улыбнулся. – Жуковский того, что ты вкладываешь в свои слова, не имел в виду. А филантропия, подобная твоей, создает сестер милосердия.

Жуковский, словно предвидя собственные сердечные страдания, в задумчивости произнес:

– Художник должен познать все, никогда не отказываясь от того, что питает его гений. Сердце мужает с познанием жизни. Несчастие – путь к чувствительности. Страдание возвышает душу, и это старая, как мир, истина.

Друзья расселись вкруг стола.

Мягкий свет луны окутывал старый дом. На темно-синем фоне неба вырисовывались черные призраки елей. Далекая музыка оборвалась, будто оборвались тайные нити, соединявшие жизнь звуков с жизнью этой компании, готовой, кажется слиться в одно существо и улететь в сферу неиссякаемой гармонии. Может, имя этой новой гармонии – дружество?!

Не прошло и часа, как все споры были забыты. Тяжелые нравственные вопросы, которые волновали и всегда волнуют душу юноши, вступающего в жизнь и выбирающего для себя способ, как жить и поступать, – отошли куда-то. Все казались веселы и беззаботны.

Слышались призывы: «За дружество!», за державинское «О, сладкий дружества союз!»

– Да будет дружество священно! – выкрикнул Мерзляков.

– Алексей Федорович, это прямо строка стихотворения!

– Будем любить друг друга, друзья мои! Будем любить друг друга вечно!

– Будем!

– Вечно! Вечно!

– Навсегда.

И они запели песню Кашина на слова Львова:

*Глагол таинственный небес!*

*Тебя лишь сердце разумеет;*

*Событию твоих чудес*

*Едва рассудок верить смеет.*

*Музыка властная! Пролей*

*Бальзам твой сладкий и священный*

*На дни мои уединенны,*

*На пламенных моих друзей!..*

*Гармония! не глас ли твой*

*К добру счастливых убеждает,*

*Несчастных душу облегчает*

*Отрадной теплою слезой…*

Через годы, вспоминая этот ли, или такие же другие вечера, Жуковский писал А. И. Тургеневу: «Наша дружба, твоя, моя, Мерзлякова, Кайсарова была основана на воображении… Будем друзьями, братцы; мы сделаем гораздо больше. До сих пор, я, кажется, томился в бездействии. И теперь не много деятельности, но по крайней мере вижу необходимость быть выше; для этого требую помощи от друзей моих. Братцы, вместе, вместе пойдем ко всему доброму! Это говорит вам не энтузиазм ребяческий и огненный, но холодное размышление… Нас должно оживлять одно, поддерживать одно! Одним словом, наша жизнь должна быть «cause commune[[7]](#footnote-7)!»

Позже, когда пора самого активного и сердечного общения миновала, Андрей Тургенев тоже вспоминал о ней, как о лучшей и записал в дневнике: «Мерзляков рассуждал бы или говорил о истории, о русских героях, я бы перебивал его иногда каким-нибудь бонмо, если не острым, то по крайней мере смешным… Воейков был бы с нами же, и брат, и Кайсаров».

Осенью 1800 года Кайсарову исполнилось восемнадцать. Пре-  
красная пора юности, обогащенная горячей дружбой со сверстниками, каждый из которых поэт! Они гуляли у Симонова монастыря (там был пруд, где утопилась карамзинская «бедная Лиза»), в Марьиной роще, на Воробьевых горах, по Ильинке, сидели в кофейне Муранова, недалеко от Моховой, где собирались актеры, художники, студенты и профессора университета. Часто в большой зале дома Тургеневых пили чай, спорили, читали вслух новые сочинения и переводы, но чаще всего их собирал в круг старый дом Воейкова.

Это была пора сентиментальной дружбы, возводимой в культ. «Дружество», «огненная дружба» – так называли современники Кайсарова свои отношения тех лет. Одно из стихотворений Батюшкова так и озаглавлено «Дружество». Другое стихотворение – Мерзлякова – называлось «Гений дружества». Там есть строка: «Да будет дружество священно!» У Жуковского можно найти: «Друзья, мы чужды низких уз… Там дружество без лести». Все эти варианты слова «дружество» как раз и означали то состояние, которое испытывали молодые Тургеневы, Кайсаровы, Жуковский, Мерзляков и сверстники их круга.



Глава пятая

Истоки Дружеского литературного общества

К

началу 1801 года дружба Тургеневых, Кайсаровых, Мерзлякова, Жуковского взаимно обогатилась и стала тесной настолько, что хотя виделись они ежедневно, обменивались несколькими записками в день, этой дружбе уже мало было походов в театр, концертов в Дворянском собрании и Московском благородном пансионе, пирушек, споров, вечеров у общих знакомых. Молодежь мужала и хотела определить свои политические ориентации, дальнейшие духовные и эстетические направления в творчестве, она хотела высказаться по важнейшим идейным вопросам времени.

Благодаря инициативе Андрея Тургенева и Алексея Мерзлякова решено было организовать Дружеское литературное общество.

«Общество» – само это слово стояло много выше дружеской   
пирушки и придавало отношениям между молодыми людьми особый вес. Не обязывавшие ни к чему полемические заявки в «домашних» спорах отнюдь не приравнивались к общественно значительным высказываниям. «Общество», хотя и дружеское, не вводящее новых лиц в круг давно знакомых, но подкрепленное «законами» (уставом), «порядком» работы, выборами председателя, секретаря побудило молодежь упорядочить свои речи и определиться серьезно, прежде всего в литературе: общество-то литературное.

От чего отталкивались организаторы кружка в выборе его течения? Конечно, перед глазами были идеалы и антиидеалы, о которых надо сказать.

Формальным образцом послужило собрание воспитанников университетского благородного пансиона, первым председателем его (1799-1800) был В. А. Жуковский.

Здесь еженедельно (по средам) ораторы произносили речи в защиту той илииной религиозно-нравственной или эстетической тенденции, официально признанной в обществе. То есть онидолжны были фактически, играя красноречием, доказывать то, что и так не вызывало сомнений. Чем красноречивее и пышнее оратор утверждал известное, тем он представлялся благонравнее (члены общества должны отличаться примерным поведением и тихостью нравов).

Собрание это считалось ученическим, но на каждом заседании неизменно присутствовали директор пансиона Прокопович-Антонский и преподаватель русской словесности Баккаревич, под-  
держивающие в зале тишину, порядок и охлаждавшие энтузиазм юности, лишь только он устремлялся, по их мнению, через край. Баккаревич же и Прокопович сочинения пансионеров, читанные здесь, – стихи, басни, драматические и прозаические опусы – напечатали в сборнике «Утренняя заря» в 1800 году. Сюда вошли литературные опыты Жуковского, Александра Тургенева, Петина, Гагарина, Костогорова, Родзянки и других «записных литераторов пансиона», что само по себе неплохо, если не знать о чрезвычайной перестраховке составителей-цензоров (Прокопович получал от университета 1000 рублей цензорских).

Нет нужды говорить о том, что к концу 1800 – началу 1801 годов, когда созрела идея Дружеского литературного общест-  
ва, Собрание воспитанников университетского благородного пансиона и особенно его навязчивые, нудноватые кураторы успели окончательно дискредитировать себя в глазах молодого поколения и изрядно ему надоесть.

Кайсаров пишет Андрею Тургеневу, обобщая всех профессо-  
ров, идущих к своей цели по головам: «О, брат! Эти моралисты, профессоры – вечные кукушки – редко оглядываются на самих себя; потому что хорошими быть труднее, нежели смотреть на других».

Андрей Тургенев, в свою очередь, сообщает Кайсарову в одном из писем о бесчеловечном поступке «просвещенного» Прокоповича-Антонского, который, как настоящий крепостник, расправился со своим слугою: «Знаешь ли что? Антонский продает Сергея… Я не ожидал етова».

Друзья подозревали Прокоповича-Антонского в корыстных видах на состояние вдовы Анны Федоровны Соковниной, имевшей семерых взрослых детей. Сыновья ее учились в пансионе и позна-  
комили весь почти круг друзей со своими сестрами – «сестрами-прелестницами», как называл их Кайсаров, которыми все были очарованы. «Благородный фарисей!.. И этот человек был моей моделью?» – писал Кайсаров. Андрей Тургенев отвечал ему: «Неужели я ещё слишком хорошо думаю о фарисее… А, горемычная чувствительность!»

С Прокоповичем-Антонским приходилось бороться за постановку современных острых пьес, которые особенно ценил Кайсаров, игравший в них.

Так было, например, когда речь шла о «Солдатской школе» Николая Сандунова. Кайсаров писал: «Вообрази, братец, что про-  
шлое воскресенье мы не играли! Опять нашлись историко-энциклопедические причины. Но зато уж я и взбесил господина профессора! Рад, сказывают, был на стенку лезть». «Историко-энциклопедические причины» – это, конечно же, ехидный намек Кайсарова на пустые должности Прокоповича-Антонского в университете – заведование мало кому понятными по назначению кафедрами энциклопедии и натуральной истории. С тех пор как Баккаревич и Прокопович были увидены друзьями в истинном свете, они, и особенно веселый Кайсаров, не упускали случая посмеяться над «наставниками».

Таким образом, антиидеал общества намечен – это официозное пансионское собрание. Однако и из него друзья взяли немало ценных организационных моментов (обязательные речи, торжественность их произнесения, нравственно-дидактическая направленность философских выступлений и т. д.), а также во многом позаимствовали устав и для пансионского собрания,писавшийся Жуковским. Дружеское ученое общество (само название его частично скопировано) Ивана Петровича Тургенева, Ивана Владимировича Лопухина и Николая Ивановича Новикова (имеется в виду лишь просветительская сторона идей и труда Дружеского ученого общества и слитной с ним Типографической компании) стало образцом для создания дружеского литературного общества.

Безусловно, Тургеневы-дети и Кайсаров о масонской стороне жизни старших знали, как знали все образованные люди России (слишком громкое было дело со ссылкой Новикова!), и даже могли из почтения, чисто механически, исполнить какие-либо поручения: передать письма, книги друзьям Ивана Петровича, но это их ни к чему не обязывало. Кайсаров, например, писал Андрею Тургеневу в Петербург, где тот находился с Петром и Михаилом Кайсаровыми: «Батюшка сегодня обедал у Хераскова, который присылал звать его. Посылаю письмо батюшки к Трощинскому[[8]](#footnote-8), которое велел он сообщить петербургским братьям…»

Молодые могли читать некоторые масонские книги. В них ни-  
чего нет, кроме пустоты. Вот велеречивый Циммерман, имя которого встречается у Кайсарова: «Циммермана я читал на французском: он пишет приятно и утешительно; но мне не нравится его новое изобретение – уединение. Он говорит, что можно быть уединенну среди самых многолюдных обществ». Как видим, Кайсаров критически относится к масонскому сочинению, егочтение ещё не говорит о принадлежности к ложе.

Совершенно неважно для Дружеского литературного общества, были ли **позже** братья Тургеневы масонами (здесь мнения исследователей расходятся, исключая масона Николая Тургенева), Андрей Тургенев, Алексей Мерзляков, организаторы общества, и Андрей Кайсаров, их единомышленник, масонами вряд ли были (хотя на этот счет тоже разные гипотезы). У Кайсарова не только не встречается намеков в письмах, даже сами сочинения его по стилю и духу совершенно далеки от масонских идей и эстетики.

Но именно потому, что Кайсаров, Тургеневы, весь круг друзей их о масонстве знали, и ещё потому, что этому течению противо-  
стояло другое течение, оказавшее огромное влияние на Младший тургеневский кружок, – **просвещение, рационализм** – надо сказать о масонстве и просвещении подробнее.

Вокруг масонства воздвигнуто много тайн, недомолвок и до-  
мыслов. Все хотят приотворить эту вечно запертую дверь и заглянуть туда. Но когда видят пустоту и темноту, – отворачиваются с горьким сознанием человека, обманутого в самых искренних чувствах. Неудовлетворение – вот основное ощущение, появляющееся у нас при знакомстве с масонством, как с формой «общественной самодеятельности». Неудовлетворение нашего стремления к познанию, нашего чувства реальности и целесообразности. Голое циничное мародерство, сатанизм, орудие разрушения в масонстве были увидены – увы! – слишком поздно. Однако, приходится говорить о масонстве, как о факте тогда ещё непознанного явления.

Популярность масонства в России была особенно велика в 1770-1780-е годы, когда в Европе многие уже разочаровались (иные поняли, что обманулись) в этом дорогом удовольствии человеческого общения. У нас же в конце XVIII и первой четверти XIX в. было около сотни масонских лож, рассеянных в то время по городам России. В годы жизни Кайсарова масонство существовало открыто (до 1822), но претерпевало большие изменения, теряло авторитет, перерождалось, хотя и тогда находилось немало желающих узнать (увидеть своими глазами, испытать), что оно такое.

Пыпин писал о масонстве: «Его нравственная задача была ма-  
ло понятна, его таинственность возбуждала подозрения… В массе общества, которая у нас в подобных случаях всегда слишком легко поддавалась диким инстинктам, масоны уже тогда приобрели репутацию еретиков иотступников и возбуждали тот нелепый страх и вместе озлобление, память о которых осталась в слове «фармазон», обогатившем тогда русский язык и долго после служившем для обозначения всякого безбожия и вольнодумства…»

Почему «вольнодумство», да ещё употребляемое с ним рядом слово «якобинство»? И при чем здесь демократические идеи, которых так боялись за рубежом и в России? И тем более «безбожники»? Ведь мы знаем, что масоны, как правило, христиане. Конечно, это не религиозные ортодоксы, а скорее болтуны-либералы, этакие замкнутые в своем кругу софисты.

Славу демократов за масонами укрепил заимствованный у народа принцип организации общества, а также и то, что оно считалось несословным, в него принимали (ив России, а в большей части за рубежом) и недворян, даже людей малосостоятельных, но энергичных и образованных. Кто же задумывался над тем, что эти люди выполняли самые черные работы, а недостаток материальных средств восполняли трудом на масонский орден?

Организация эта могла возвысить и обогатить одну группу людей своей корпорации и унизить, разорить (лишив работы, объявив бойкот и т. д.) другую группу, и показала себя мощным, всесильным кланом, на который работали тысячи незнакомых меж собой людей в разных странах. Сразу же приходит мысль: хорошо, если ее возглавляли справедливые люди, с полным сочувствием и пониманием относящиеся к рядовым членам, а если во главе становились циничные, холодные дельцы, равнодушные ко всему, кроме богатства, власти и лишь играющие в просвещение, благородство, демократию?

Так и получилось (вот почему слово «фармазон» сопровождалось словом «безбожник», т. е. чуждый христианскому милосердию человек, хотя внешняя сторона религиозности могла соблюдаться, но люди все же сами интуитивно уловили суть масона). На первых порах организации лож было много либеральных разговоров и посулов, затем доверчивые члены ордена часто оказывались беззащитными перед своими и зарубежными авантюристами.

Русские общества масонов, занимающиеся вызыванием духов, магией, алхимией, спиритизмом, магнетизмом и просто болтовней, славились особенной своей рассеянностью. «Здесь можно было убивать скучное время под заманчивым покровом тайны, насытить любовь к пышности уборами высоких и высших степеней, а неко-  
торым пополнить недочет кассы». В ложах происходили усиленные интриги. Дела масонов находились в оживлении. Но кто получал барыши? – оставалось покрытым неизвестностью.

Многие в этой рассеянности и не замечали, как зорко следят за каждым руководители, что вместе с течениями легкомысленными и пустыми есть глубокие, подземные, которыми управляют скрытые, вне России находящиеся силы. Мало кто подозревал, что этим силам не нужны были нравственно совершенные русские личности, истинное просвещение народных масс, устранение реальных социальных противоречий. Им нужны были влияние на самые верхние слои дворян, стоявших у власти и рядом с троном, у экономических рычагов государства; нужны были средства, выкачиваемые из богатых имений (ведь не распространилось же масонство среди лапотных российских крепостных крестьян».

«…Если тайна масонства принадлежала только избранным, и если вся глубина ее доставалась только немногим, то понятно, что начав с этого, можно было… эксплуатировать эту «тайну», и притом в любом желаемом смысле».

Возникшее в верхах дворянства, масонство выбрасывало много приманок на самые разнообразные вкусы: чины, награды – тщеславным; кипучую интересную деятельность – жаждущим предприимчивости и участия в общественной жизни (таким, как Новиков, Лопухин); невиданные доселе книги – искателям мудрости. Одни ехали учиться за границу, другие – путешествовать. Только вступи в братство: все блага мира – к твоим ногам! – прельщало масонство. Цель-мечта – построение всемирного братства народов, космополитической «гуманности», основанной на полной централизации власти и организации полувоенного образца (Пыпин не оговорился в той части, где сообщал, что в масонские ложи поступали «привилегированные в гражданском быту люди», здесь слово «гражданский» как бы намекает на свою противоположность в масонстве – «военный», или «полувоенный»). Но то, что эти люди подчинялись бы одному тираническому центру, центру усовершенствованной и внешне демократичной тирании, – это тщательно скрывалось.

Находились многие мыслящие русские люди, проникнутые любовью к человечеству, которые относились к масонству серьезно, действительно искали в нем возможностей какого-либо совершенствования. К таким поискам толкала их явственно ощутимаянеудовлетворенность нравственным и политическим состоянием общества.

Пыпин объясняет появление масонов на русской почве:

«Чтобы ближе видеть, каким образом такая странная, темная, фантастическая, наконец даже нелепая вещь, как масонство, могла овладеть умами с такой силой, иувлекать таких достойных людей, каковы, несомненно, были очень многие из русских масонов, – надо припомнить, что если оно открыло себе путь в европейское общество, то человек русского общества был ещё беззащитнее против мистического тумана потому, что другое, более разумное направление, было очень слабо. Наше серьезное знание было вполне чужое, и русская мысль разрабатывала и усваивала его содержание только в той ограниченной мере, какую могла допустить незначительная степень ее зрелости. При русских условиях, при крайнем недостатке правильных средств образования, эта зрелость вообще должна была приходить крайне медленно; кроме того, даже сильный ум, вооруженный всеми средствами существовавшей науки, едва ли был бы в состоянии сделать много при тогдашнем положении массы общества… число образованных людей было слишком ничтожно, чтобы они могли составить серьезное общественное мнение».

Общественное самосознание было весьма слабым от неграмотности одних и искаженного представления об учебе, образовании у других. Не только небрежение к родному языку и засилие иностранной литературной продукции было тому виной, но и, в первую очередь, незнание глубин русской и зарубежной истории». Но можно ли было упрекать в этом широкие слои населения? «Общество можно было бы винить за равнодушие разве к той только истории, какая ему обыкновенно предлагалась. А предлагались, почти всегда, вещи едва ли заслуживающие название истории… ещё очень недалеко время, когда из литературного изложения были положительно исключаемы целые исторические эпохи, и изложение исторических событий затруднялось разнообразными ограничениями, которые, в конце концов, часто делали это изложение совершенно невозможным».

Эти слова историка справедливы и для двадцатого века.

Между тем, вскоре Кайсаров и Тургеневы поняли что изучение истории своего отечества есть один из самых верных путей в достижении общественного самосознания, без которого невозможна никакая разумная общественная жизнь, никакая полезная деятельность, желающая руководствоваться истинными нравственными началами. Одновременно, может быть, или раньше это понял Н. М. Карамзин, решивший положить все силы, чтоб восполнить пробел знания отечественной истории.

В российском господствующем правящем классе были разные идейные течения. Здесь существовали идеалистические, мистические воззрения братьев-каменщиков и рационалистические (с тенденцией к критике и реализму) концепции просветителей.

Среди первых господствовало стремление к насаждению сле-  
пой веры в предустановленную справедливость; погружение в самосозерцание, недоверие к познавательным возможностям разума. Высказывались и представления об обществе, как о месте, где неизбежно царит зло, которому следует противопоставить «незаинтересованное» духовное содружество братьев-масонов.

Вторые – просветители – верили в возможность разума, здесь пробивались демократические идеи вплоть до равенства состоя-  
ний.

Идеология русского просвещения сложилась незадолго до ро-  
ждения Кайсарова; в шестидесятые – семидесятые годы восемна-  
дцатого века. Просветителями были уже названный нами Николай Иванович Новиков (1744-1818), драматург и прозаик Денис Ивано-  
вич Фонвизин (1745-1792), философы Яков Павлович Козельский (1728-1794), Иван Андреевич Третьяков (ум. 1776), Алексей Яков-  
левич Поленов (1738-1816), Пафнутий Сергеевич Батурин (1740-1803), ученые Семен Ефимович Десницкий (ум. 1789), Дмитрий Сергеевич Аничков (1733-1788), театральный критик, драматург и актер Петр Алексеевич Плавильщиков (1760-1812), пропагандист и популяризатор просветительской идеологии, педагог, издатель, составитель «Российской универсальной грамматики» (в следую-  
щих изданиях «Письмовник»), имеющей энциклопедический ха-  
рактер, Николай Гаврилович Курганов (1725-1790). В 1780 году вступил в литературу молодой прозаик, поэт, драматург Иван Андреевич Крылов (1769-1844).

При том, что русские просветители многому учились у Евро-  
пы, а иные из них ошиблись и побывали в масонских ложах, они отечески оберегали Россию от всесторонней европеизации, так как понимали, что основы российской жизни, ее структура, не имею-  
щая во многом ещё письменного «паспорта», а растворенная в народе и затемненная многими суевериями и шлаками церковного догматизма, слишком незащищена перед напором мощно воору-  
женной печатным словом, книжной философией, способностью к изощренному краснобайству Европы.

Стремясь найти творческие силы в самом народе, просветите-  
ли зачастую обнаруживали «немоту» и страх. Они сознавали необ-  
ходимость преодоления пропасти между народом и передовым дворянством, верили, что отмена крепостного права принесет го-  
сударству и всему народу (состоящему из дворян и крестьян, а не только из крестьян) общее благосостояние.

Кайсаров был знаком с просветительскими идеями с самих юных лет. Именно поэтому никакие другие течения его уже не могли притянуть к себе. Он вполне мог знать труд Батурина «Исследование книги о заблуждениях и истине» (1790), где была подвергнута острой критике мистика масонов, хотя упоминание содержится лишь в намеках. В недатированном письме (относящемся, вероятно, к московскому периоду жизни Кайсарова 1799 года) к Андрею Тургеневу Кайсаров пишет: «…Я готов был тебя съесть вчера. С чего ты выдумал на бедного Александра, что он мне выписывает из Б. тетради? Ей Богу, тебе грешно и подумать, а не только рассказывать во всенародное известие… Сделай милость, повоздерживай свой язычок».

Труд Батурина редкий, но в доме Тургеневых имелся, по-видимому, в запретной части библиотеки. Отзывчивый Александр не воспринял просьбу Кайсарова как продиктованную чем-то иным кроме любопытства. Андрей Тургенев – более серьезный и старший – тогда мог «всенародно» возмутиться на Кайсарова, так как в тот период ещё воспринимал интерес к Батурину как ересь против отца и его окружения. Кайсаров испугался. Он слишком дорожил дружбой Тургеневых и не хотел их обидеть, поэтому скрывал свой интерес к остромыслящему просветителю.

Искренне любя Россию, не творя при этом из ее недостатков кумира, просветители все же были в той или иной мере идеалиста-  
ми в объяснении общественной и социальной жизни. Они искренне верили, что существующий строй произошел от неразумности людской. Поэтому главной целью поставили просвещение нации, просвещение богатых и бедных, ибо одни по неразумению угнетали, другие – примирялись с угнетением.

Что отличало русских дворянских просветителей? – Они нико-  
гда не отрицали и не утрачивали сознания своей принадлежности к правящему классу. В этом, с одной стороны, их достоинство и честность, отсутствие установки на ложный демократизм; с другой явный отрыв от народа, на который они не опирались и для которого, отчасти, и не творили, их сочинения во многом обращены к более или менее просвещенному, грамотному читателю.

Просветительские идеи влияли на жизнь общества. Даже те крупные дворянские писатели, которые не принимали социальной программы просветителей, испытывали обаяние их философии и прежде всего идеи свободного человека.

Так было, например, с Карамзиным. Его популярность, первые литературные успехи во многом объясняются тем, что он прочно усвоил философию иэстетические концепции просветителей. И в этом смысле он просветитель, лишь идущий к читателю иным путем.

К социальной справедливости взывал и Державин:

*…Заимодавцев полк стоит,*

*К тебе пришедших за долгами.*

*Проснися, сибарит! – Ты спишь*

*Иль только в сладкой неге дремлешь,*

*Несчастных голосу не внемлешь…*

Так же было и с Дмитриевым. Заметное место в полемике конца восемнадцатого века занимает перевод Дмитриевым сатиры Ювенала «О благородстве», оказавшейся очень актуальной: «…дух, великий дух – вот наше благородство!» – эта мысль воз-  
рожденной древности сближает интересы оптимиста Дмитриева с интересами просветителей. Если помнить, что оптимизм – повышенная воля к жизни, то вполне понятно станет, почему оптимистическое мировоззрение было для просветителей само собой разумеющимся. Они (с оптимизмом же) крушили критикой все, что мешало прогрессу личности и пробуждению ее общественного самосознания.

Многочисленные обещания усовершенствовать и стремления либерализовать аппарат государственной власти порождали иллюзии и надежды многих. Питал их и Дмитриев. В своих баснях аллегорически (устами героев) он предлагал властителям (в масках зверей) пути устранения бедствий их подданных, пути облегчения страданий.

Благодаря Крылову, Новикову, другим просветителям литера-  
тура вставала на почву народности. Возник интерес к бытовому жанру. Появился новый демократический читатель, Новиков называет его мещанин, что соответствует нынешнему – горожанин.

Активное творчество русских просветителей проходило в условиях полицейского преследования и в иных случаях завершилось трагически. Но дело отчасти было сделано.

Атмосфера увлекательной умственной работы отличает литературно-философские течения конца восемнадцатого века. Кайсаров, братья Тургеневы, Мерзляков, Воейков испытывали огромное влияние просветительских идей. Просветителей формировал энтузиазм, присущий практической ориентации их мышления, направлению на действие, глагол, справедливость. Никогда этические идеи не обладали такой властью над мировоззрением образованной публики, отдельной личности, как в эпоху Просвещения.

Впротивоборстве масонов и просветителей друзья разобра-  
лись с большим чувством реальности и практической рассудительности, выделив, как принципиально важное и единственно верное, может быть даже идеальное, из течений – просветительство.

Главная задача, поставленная в связи с этим при создании Дружеского литературного общества, – поиск новых, соответст-  
вующих времени и состоянию общества форм и путей для своей гражданской деятельности. Но были и субъективные причины, предшествовавшие идее объединения в литературный кружок.

За время знакомства 1798-1800 годов каждый из круга друзей братьев Тургеневых заметно окреп в литературных своих опытах и выходил в свет печатно. Друзья переводили, писали стихи (в карамзинском, в основном, духе), такие, как стихотворения Петра Кайсарова «Две розы» или «Приношение природе».

|  |  |
| --- | --- |
| *…Всех смертных утешенье,*  *С веселием в устах –*  *Природа! Ты сказала:*  *«Будь жив и будь здоров!»*  *Болезнь мою прервала,* | *Одушевила кровь. –*  *Как Орион я новый,*  *Во крепость ополчась,*  *Вошел и сверг оковы, –*  *Твой всецелебный глас…* |

Надуманность и вычурное кокетство этого стихотворения и есть характерный образчик потока сентименталистских сочи-  
нений конца XVIII века.

Александр Тургенев, Жуковский, Мерзляков, Кайсаров, даже Воейков будут всю жизнь помогать тем, кто нуждается в их помощи. Тургенев привезет в Лицей Пушкина. Жуковский будет выкупать из крепостной неволи Шевченко (и не его одного). Кайсаров поможет окончить медико-хирургическую академию и стать врачом провинциалу из Рязанской губернии Иустину Евдокимовичу Дядьковскому, поддержав в нем и литературно-лингвистические способности: Дядьковский знал латынь, греческий, английский, французский, итальянский, переводил и сочинял; но больше был известен как смелый теоретик медицины, неутомимый исследователь.

О Дядьковском (1784-1841) следует добавить, что он во время Отечественной войны 1812 года добровольно вступил в ополчение, работал в военных госпиталях.

Дядьковский был коротко знаком и пользовал как доктор многих известных людей XIХ века. Дружил с саратовским поэтом и актером, автором песни «Вниз но матушке по Волге» Н. Г. Цыгановым, которого лечил от пьянства; с А. С. Грибоедовым, В. Ф. Одоевским, Денисом Давыдовым, В. К. Кюхельбекером; композиторами А. Н. Верстовским, А. А. Алябьевым; актерами М. С. Щепкиным, П. С. Мочаловым.

Высоко ценил его как врача Н В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, когда они познакомились, заинтересовался им. В последние два года Дядьковский лечился на кавказских минеральных водах, где жил в то время Лермонтов. По неумолимой иронии судьбы, Дядьковский похоронен на южном склоне Машука за несколько дней до гибели Лермонтова. Архив Дядьковского, где должны быть и письма Кайсарова, ещё долго хранился в Пятигорске и был утерян уже в двадцатом веке во время Великой Отечественной войны.

Все сочинения друзей публиковались в журнале «Иппокрена, или утехи любословия», издаваемом профессором Московского университета Павлом Афанасьевичем Сохацким (Кайсаров был с ним коротко знаком) в 1799-1801 годах. Первыми из этого круга опубликовали свои сочинения Андрей Тургенев (стихи «Надгробие», «Песня», «К спокойствию», «К N. N.», «Сон», «Письмо в огне»), Василий Жуковский (повесть «Леонарда», стихи «Песня», «Молитва», эпиграммы), Петр Кайсаров («Две розы» и др.), Александр Тургенев (философский трактат «О возрастах человеческих»), – это было в № (части) 4 за 1799 год (видимо, их выходило в год части по четыре). В следующих номерах мы видим стихи, довольно неплохие, и вольные переводы с итальянского, немецкого, английского Михаила Кайсарова. Журнал наполнен сентиментальностью ничуть не меньше, чемсам альманах «Аглая» Карамзина, признанный позже воплощением сентиментализма в России, – таковы были тогда общелитературные симпатии.

В журнале «Иппокрена…»[[9]](#footnote-9) печатались пьесы, повести, стихи в духе Руссо, о чем читатель сразу догадается по названиям сочинений Петра Кайсарова, Андрея Тургенева, Жуковского. Названия в этом журнале вообще могли полностью дать представление о содержании помещаемых назидательно-сентименталистских или назидательно-философских, с отзвуками в них велеречивого масонства, сочинений. Сравните: «Блаженство доброго», «Великодушная дочь», «Нина, или сумасшедшая от любви», «Мелида и Дафнис», «Меланхолия», «Мечтания чувствительного», «К пеночке», «К ручейку», «Великодушная девица», «Ревнивая Хлоя»; или такие – «Гордость», «Нечто о браке», «Памятники разума», «Самолюбие и доброжелательство», «Чувство скорби» – это сочинения с философическим, как тогда говорили, уклоном, обязательно затрагивали вопросы этики. Уже заголовки переносят нас в атмосферу тех идей и той эстетики, которые господствовали над умами и сердцами молодежи тургеневского круга.

Молодые литераторы тогда ещё не выбрались из общего литера-  
турного потока, не протестовали (а первый протест и движение в сторону нового литературного течения романтизма – выйдет именно из этого круга!) против очаровавшего всех и утопившего общество в слезах сентиментализма; меж ними было полное согласие и единодушие.

Здесь надо сказать о найденной мною первой подписанной публикации Андрея Кайсарова, которая, хотя и относится ко времени Дружеского литературного общества – 1801 году (журнал «Иппокрена, или утехи любословия», № II, стр. 353-354), но подготовлена к печати явно раньше, скорее всего в конце 1798 – начале 1799 годов.

Сочинение совершенно для нас неожиданное, мало имеет общего с дальнейшим творчеством Кайсарова, и тем не менее, абсолютно его: это узнается по только кайсаровской лексике, поэтическому напору, нетерпению почти разговорной речи, по взволнованным провалам логики юного горячего ума, по смутному чувству, усугублявшему свою затемненность совершенно неосмысленной и неосмыслимой в его возрасте темой – «*О религии*». Именно так назывался первый опубликованный опыт Кайсарова – философское размышление на двух журнальных страничках. И как бы мы ни удивлялись, зная Андрея Сергеевича в позднейшей жизни человеком, чуждым мистических настроений, большим реалистом и насмешником, тружеником науки, – первое сочинение было именно таково.

1799-1800 годы характеризуются особенным согласием в дружбе. Все будущие участники Дружеского литературного общества ещё как бы ощущали тепло материнского чувства альма-матер Московского университета. Все они испытали близкое притяжение общих литературных тенденций, царивших тогда, все они были молоды и талантливы.

Благодаря тому, что Тургеневы в начале 1800 года познакоми-  
лись с Воейковым, тогда человеком компанейским, славным хозяином и добрым другом, в их распоряжении оказалось помещение, свободное от докучливой родни и довольно просторное – дом Александра Федоровича около Новодевичьего монастыря, тогда окраины Москвы, где они часто встречались (а душным летом 1800 года Кайсаров для удобства поставил в саду Воейкова, просторном за счет прилегавшего к нему пустыря, солдатскую палатку; в ней было таинственно и уютно, а, главное, не жарко), засиживались до двенадцати ночи, читали друзьям свои сочинения, советовались, спорили, но споры, в основном литературные, не носили характера, угрожающего личной дружбе. Это были диалоги друзей, помогавшие им прояснить свои собственные пристрастия и выработать отношение к тем или иным явлениям.

Кульминацией согласия в дружбе братьев Тургеневых, Кайсаровых, Жуковского, Мерзлякова, Воейкова была осень 1800 года, может именно это необычайное согласие и дало толчок к документальному оформлению их отношений в Дружеское литературное общество.

Беспечно проходили товарищеские ужины в «поддевическом» доме. Много откровенничали, шутили и смеялись, соперничая в остроумии и острословии. Артистически-небрежно играл своим богатым умом Андрей Тургенев, скрывая под снобистской порой улыбкой и холодным выражением лица юношески горячее сердце, способное увлекаться. С внутренним надрывом и злым сарказмом Воейков высмеивал бездарных графоманов и громил «тиранов». Кайсаров «горел» и резвился в кругу друзей, наслаждаясь их счастливым присутствием у очага дружбы. Он грел пунш, раздавая, в очередь с хозяином дома, полные бокалы, шутя, что он на лекарствах учился точности разлива.

Безудержности смеха, бодрой радости вечера не придет, казалось, конца.

Мерзляков, большой любитель вина, выпив, говорил много, поражая своей эрудицией и точными оценками, знаниями не только отечественной, но и зарубежной литературы.

Потом Алексей Федорович, вначале в четверть голоса, но с мастерскою экспрессией, запевал словно для себя только, для своего нутра, для жажды это нутро вынуть и разлить в песне. Друзья незаметно вступали, подпевали, песня набирала мощь стихии, рвущей, но обновляющей душу. Слезы нередко смахивались тайком самими раззадоренными певцами.

Засиживались до поздней ночи, и все не хотелось расставаться, жаль было выходить из того полного жизни и нежных чувств настроения, которым посетители дома Воейкова обогащали друг друга. Наконец, Мерзляков вставал и, выглянув наружу, шумно вдыхал в себя свежий воздух полночи.

– Пора бы и на покой! А?!

Закуривали по последней. Затем на прощанье запевали что-нибудь. Особенно любили они петь песню на слова Михаила Кайсарова, удачный вольный перевод малоизвестного немецкого поэта Рамлера, сочиненную их другом пансионским музыкантом и композитором Кашиным. В переводе, конечно, было больше духа вольности, чем немецкого и вообще индивидуального, авторского духа. Песня называлась «Честь».

*Чести блеск, что всех прельщает,*

*Не прельщает лишь меня.*

*Пусть меня цари не знают,*

*Знайте вы меня, друзья!*

*С вами все мое блаженство,*

*Счастие у нас одно;*

*Хоть и нет у нас богатства.*

*Но – есть доброе вино…*

*Удовольствие быть с вами*

*Не отдам за славу, честь:*

*Будут пусть цари царями,*

*А я буду – тем, что есть.*

Пели друзья сонеты Петрарки, переведенные Михаилом Кай-  
саровым, подражания старым английским поэтам в том же исполнении (опубликованы в журнале «Иппокрена…», 1800, № 8 и др.). За песни все друзья, даже сам Мерзляков, без песен которого не выходил в начале XIX века ни один песенник, особенно тогда любили Михаила Кайсарова, удивляясь легкости и веселому свету его слова. Его «Честь» – прообраз будущих студенческих песен последующих времен, хотя этот текст глубоко забыт, затерян на страницах пожелтевшего и ставшего библиографической редкостью журнала; так бывает иногда с пращурами.

Друзья хотели официально утвердить новоявленную оригинальность своей дружбы; создать что-то свое, перейти на новый уровень общений и литературных трудов, более общественно-значительный; и заодно вырваться из породившего их круга идей и эстетических пристрастий.

Таковы были обстоятельства, предшествовавшие созданию Дружеского литературного общества.



Глава шестая

«О, сладкий дружества союз!»

В

тургеневских бумагах, хранящихся в архиве Пушкинского дома, есть странный документ, написанный на измятом и разорванном полулисте голубой бумаги. Вверху – рукой Родзянко – характеристика: «Мерзляков – философ умом и сердцем. Александр Тургенев имеет в себе нечто говардовское[[10]](#footnote-10). Жуковский гораздо добрее, нежели сколько выражает слово добрый. Андрей Тургенев почти то же, что Жуковский. Петр Кайсаров отменно чувствителен. Михаил Кайсаров имеет холодно-доброе сердце. Андрей Кайсаров добр, но в некоторых обстоятельствах характер его si dement[[11]](#footnote-11). Воейков добр... дух его много к этому способствует».

Внизу – рукою Андрея Тургенева: «Выше все мнения Родзян-  
кины. Я в них не участвую и с ними не согласен. Я бы не оскорбился стоять и пониже. Да и он говорит, что писал не по порядку, а то бы поставил Жуковского ещё выше. Но я бы никому не дал стоять выше Александра. Об Андрее Кайсарове несправедливо. Лаконизм не позволяет много говорить. А о Воейкове так мало! Я его обожаю! Славный характер».

На обороте второго полулиста рукой Родзянки: «Хотя это изорвано, но важности и действительности не теряет. Вы все можете бродить по белому свету без паспортов, с этой бумажкой в руках, и показывать ее на всех заставах… Посылаю к вам этот памятник нашей откровенности. Сделай милость, брат, не показывай его Андрею Кайсарову: он может рассердиться».

«Паспорты» любопытные. Не станем, поддерживая справедливого Андрея Тургенева, говорить о том, сколь точны характеристики друзей. Главное в этих «паспортах», что все упомянутые добры, только одни – более, другие – менее. Восемнадцатый век недалеко ещё ушел от той поры, когда в слово «добрый» вкладывалось больше оттенков положительного смысла (ср. «добрый молодец»). Имелась прежде всего в виду добротность нравственного начала, как ее тогда понимали, добропорядочность.

Добрые молодые люди собрались для самостоятельности, которую они надеялись выработать и отстоять вместе; они хотели показать всем свою взрослость, не только личную, но и идейную взрослость своего поколения; хотели доказать себе и другим, что понимают общественно-политическую обстановку времени и идут в передовых рядах русской образованности, – все это, конечно, находилось в подсознании молодежи и ещё не получило тогда четкого словесного оформления – формулировки обобщенного высказывания.

12 января 1801 года возникло Дружеское литературное общество (просуществовавшее до 1 июня 1801 года). В него вошли десять молодых литераторов: Алексей Мерзляков; Александр и Андрей Тургеневы; Василий Жуковский; Александр Воейков, тогда офицер, вышедший в отставку; братья Кайсаровы: Петр (он речей не произносил, участвовал лишь в первых собраниях, затем уехал в Петербург), Андрей и Михаил; Семен Родзянко, один из талантливейших тогда литераторов из молодых, окончивший Московский благородный пансион вместе с Жуковским и Александром Тургеневым; Александр Офросимов, товарищ Александра Тургенева по пансиону (присутствовал на одном-двух заседаниях в конце, не выступая с речами, имя его редко упоминается).

Общество собиралось еженедельно по субботам в шесть часов пополудни в гостеприимном доме Воейкова на Девичьем поле, «в ветхом поддевическом доме».

Малочисленность кружка и кратковременность существования не умаляют его значения в формировании литературных направлений раннепушкинской эпохи и вполне компенсируются большой интенсивностью работы, энергией, вдохновением, серьезностью и основательностью подготовки речей для каждого выступления. И главное – предшествовавшей кружку разработкой всех положений, программы, устава («законов»), составленных А. Ф. Мерзляковым, а также – личной дружбой его участников. Большинство из них были членами Дружеского литературного общества ещё до его создания, общество послужило только оболочкой для их нравственного братства. Дружеское литературное общество лишь назвало это братство своим именем. И теперь это название указывает на определенный круг идей и эстетических пристрастий.

Семидесятый параграф «Законов» взывал к взаимной доверенности: «Будем иметь доверенность к друг другу. Большая часть из нас воспитывалась в одном месте; с самого малолетства знаем мы друг друга; сладостные узы связали нас почти всех издавна. В самых летах мы немного превышаем друг друга: где может утвердиться лучше взаимная доверенность? Если не всякий из нас одарен тонким вкусом к изящному, если не всякий может судить совершенно правильно о переводе или сочинении; то по крайней мере мы не будем сомневаться в добром сердце сказывающего наши погрешности; его любовь… добра. Такой дух должен оживлять каждого из членов. В противном случае общество наше подобно будет мертвому растерзанному телу».

По «законам» собрания в Дружеском литературном обществе не ограничивались чтением речей. Предлагались обсуждение литературных вопросов, сочинений и переводов, дискуссии. Пункт 19 намечал порядок: «Чередной оратор прочтет… «Философские и политические сочинения. Философские и политические переводы. Беллетристические сочинения и переводы, критику и опровержение философских или беллетристических пиес. Лучших национальных и иностранных авторов». Нет оснований сомневаться в том, что в целом этот порядок соблюдался. Мы не знаем, кто был президентом общества, возможно друзья отказались от правителя и соблюдали отношения равных, но права «первого члена» были за Мерзляковым, его также называли корифеем общества.

Первое заседание открылось взволнованной речью Мерзлякова. Он нарисовал картину дружества: «Друзья мои! Наше общество есть прекрасное предуготовление к будущей нашей жизни. Оно должно быть зеркалом того великого общества, в котором некогда должны мы служить… Драгоценно для нас время, эти золотые лета… Сими словами я хотел призвать вас к алтарю дружества». Вторая речь 19 января начиналась и оканчивалась одой «К радости» Шиллера и перекликалась с первой речью в своих оптимистических призывах: «Друзья мои!.. Мы точно в храме радости!..» Как «питомец муз», каждый должен радоваться встрече в Дружеском литературном обществе.

Однако, будничная работа кружка, как и бывает в жизни, не всегда была отмечена только радостью и приносила самые разнообразные чувства.

15 марта Михаил Кайсаров произнес речь «О том, что если бы человек с самого рождения оставлен был на необитаемом острове, то мог ли бы он отличить впоследствии времени порок от добродетели?» В речи, написанной под влиянием Руссо, Михаил Кайсаров утверждал, что человек нравствен по природе и развращается, «рассеивается», как тогда говорили, лишь под влиянием других людей. Человеку самому нужно, по возможности, изолироваться от пороков. Это сентиментальное сочинение как бы продолжило речь Александра Тургенева «Об образовании нравственного характера», которую он построил на примере нравственного характера Ивана Владимировича Лопухина, «умеющего делать добро с весёлым лицом».

В ключе этих двух речей оказалось и выступление Жуковского «О страстях». Основная мысль: «злоупотребление их» вредно. Все, что вышло «из рук» природы, приходит в упадок в руках человека, цивилизация и прогресс здесь представляются чем-то зловещим.

Мерзляков полемизировал со своими друзьями, считая, что причины несчастий человека, прежде всего творческой натуры, художника, надо искать в «образе правления». В республиканской древней Греции личность и культура достигли небывалых успехов. Алексей Федорович с горечью восклицал: «… Мы живем в такое время, что плод, сорванный с дерева просвещения, слишком стал невкусен. Что ныне героизм? Что добродетель?..»

Но выступавший следом Александр Тургенев, словно не замечая острых проблем, намеченных Мерзляковым в речи «О трудностях учения», где проводилась серьезная и смелая мысль: не в уходе в себя или уединении надо искать счастье, а в осмысливании социальных путей для него, – солидаризируется с Жуковским в речи «О том, что люди по большей части сами виновники своих несчастий и неудовольствий, случающихся в жизни». «Человек, ежели несчастлив, обвиняй самого себя, – говорит Жуковский. – Кто источник зла, разлитого во вселенной? Ты сам…»

И опять происходит легкая перебранка меж Воейковым и Михаилом Кайсаровым.

Воейков произносит речь «О предприимчивости». В предприимчивости мера всех наук, художеств. Открытий Колумба и деяний Александра Македонского, Петра Великого, Ломоносова, Суворова не было бы без предприимчивости этих людей (Воейков же сделал немало для того, чтобы слово «предприимчивость», в которое ранее вкладывался смысл «править смело», делать по-новому, ответственно, с учетом новых общественных достижений, – стало именно таким, каким мы теперь его понимаем. Эта речь как бы определяет и направление эволюции самого Воейкова).

Михаил Кайсаров считал: самолюбие – причина всех страстей, ве-  
ликих дел и злодеяний, всех действий. Самолюбие руководило Петром Великим и Екатериной в их трудах, возвеличивавших государство.

Вот парадокс человеческой логики: одна крайность вызывает другую! Один оратор убежден, что великими двигала сила предприимчивости, другой считал этим двигателем самолюбие. По-своему оба правы. Однако, их анализ оказался бы наиболее верным, если бы члены кружка, дополняя один другого, соединили свои усилия в оценке истории.

Главная задача – объединиться для дальнейшего со-  
вместного труда на пользу отечества – с организацией Дружеского литературного общества считалась как бы выполненной автоматически. Однако, это только на первый взгляд. В письмах Андрея Тургенева этого периода постоянно бьется тревога и сквозят неясные предчувствия. Эта тревога и эти предчувствия касаются многочисленных, по разным направлениям, расхождений меж членами создавшегося «общества». Андрей Тургенев всячески упорствует в идее объединения друзей. Ему кажется, что раскол может пройти через его сердце, так органично соединившее в одно дружество разные характеры, темпераменты и эстетические пристрастия молодых людей.

«…С сердечным сожалением вижу я, – отмечал Андрей Тургенев на собрании 16 февраля, – что мы разделены, так сказать, на две части; и та и другая порознь – в короткой связи между собою, между тем, как некоторые из нас недовольно ещё между собою сближены».

Даже не на две части, а может быть на три или более едва за-  
метно раскалывалось общество. Кроме того, что здесь была старшая, лидерствующая группа, к коей можно отнести, в первую очередь, Андрея Тургенева и Мерзлякова, а затем Андрея Кайсарова и Воейкова; и младшая, хотя и не подавляемая специально никем, но пока менее активная в освоении перспектив общественной жизни (Жуковский и Александр Тургенев, Родзянко; к группе меньших авторитетов той поры, как это ни странно, принадлежали и старшие братья Кайсаровы – Петр и Михаил).

Но и это не было главным.

Внутри общества, по сути, зарождались принципиальные раз-  
ногласия тех литературных тенденций раннепушкинской эпохи, которые потом разовьются в известные классические литературные течения. Одно уже было сложившееся и отживавшее – сентиментализм. В нем бесповоротно увязли старшие братья Кайсаровы, Семен Родзянко; в то же время всячески уйти от его притяжения пытались Андрей Тургенев и Андрей Кайсаров, Мерзляков и даже Жуковский. Надо отдать должное Дружескому литературному обществу: из его недр вышел русский романтизм Жуковского.

Патриотизм с просветительскими демократическими (и критическими в то же время) тенденциями нельзя назвать литературным течением, никто о нем и не говорит как о таковом. Были лишь идеи этические, эстетические и политические, ставшие предтечей другой литературной эпохи тогда ещё неясного направления, к которому тяготели Андрей Тургенев, Андрей Кайсаров, Алексей Мерзляков, Александр Воейков, вероятно, именно оно развилось позже в русский критический реализм. Но пока, во всяком случае в указанном кругу, до этого было очень и очень далеко.

Тургеневская группа была патриотическая, просветительская, настроенная критически и в то же время не радикально по отношению к русской монархии и конкретно к Александру I.

Казалось бы, молодость и неопытность членов кружка должны были сделать их взгляды недостаточно устойчивыми и подверженными влиянию централизованной идеи – стремления рассматривать литературу как средство воспитания нации и просвещения, в том числе и в области патриотизма – идея благородная и высокая. Однако, Жуковский, старшие Кайсаровы, Родзянко и стоявший на их стороне Александр Тургенев испытывали колебания. Им оказалась более близка интимно-лирическая тема в литературе, а в философии интерес явно тяготел к субъективному идеализму.

Однако, организаторы кружка надеялись на переплав (или сплав) группы, иначе бы и не затевались. Андрей Тургенев горел желанием сплотить друзей. Алексей Мерзляков – «воз-  
жечь» идеей гражданского служения отечеству. И они с энтузиазмом высказывались, желая превозмочь мягкую твердость предубеждений своих пока ещё менее общественно активных друзей.

Андрей Тургенев призывал к дружбе, доверенности, искренности: «Цель наша образование себя в литературе, особливо в русской, образование нравственного нашего характера… Мы взаимно подкрепляем друг друга».

Тургенев говорил о необходимости искренности, не отягощенной грубостью, не омраченной колкостью, доказывал, что никто не может оскорбиться доброжелательной критикой. «Отчего говорим мы так часто о вольности, о рабстве, как будто бы собрались здесь для того, чтобы разбирать права человека? Какую пользу можем получить мы, касаясь иногда в спорах до самой религии… Все сие, как мы видели уже из опытов, бывает только источником неудовольствий, которые,.. по крайней мере, на несколько минут без всякой нужды нарушают согласие нашего собрания…» Говоря о религии, Тургенев имеет в виду две речи Родзянко «О бессмертии» и «О Боге», направленные против атеистов (которых здесь и не было, поэтому и воспринялись недоуменно). Говоря о необязательности острых политических вопросов в литературном кружке, он имел в виду выступление Воейкова (накануне убийства Павла I), в котором литературы вообще не оказалось, но необычайно заострялись политические проблемы.

Вопрос об отмене крепостного права дискутировался в обществе. Но Воейков говорил лишь об освобождении крестьян от гнета монастырей. О дворянстве же, паразитировавшем на крестьянском труде, речи не было. Тогда это казалось ещё слишком чудовищным: обвинить самих себя – таких образованных, свободомыслящих, передовых, полных желания послужить отечеству верой и правдой, – в воровстве чужого труда, достатка, чужой свободы и счастья; по сути признать свое недобро. Этот вопрос увязал в трясине, прежде всего, неясной экономики дворян, которая бы неизвестно на чем базировалась, отпусти они крестьян.

Однако, выступления в Дружеском литературном обществе, подобные этому, казались ведущими далеко за слова, сказанные во всеуслышанье, даже свободолюбиво настроенный Андрей Тургенев вынужден был напомнить об осторожности и меньшей объятности политического воображения.

Когда от высказанных горячих слов, их мятежных страстей, в старой зале казалось душно, друзья выходили в сад, и там продолжали спор пока не замерзали.

И опять споры заходили на новый виток.

Воейков субъекту идеалистической философии – мирному че-  
ловеку – противопоставлял борца-героя: «Чем заслужили бессмертную славу Тюрени, Евгении, Суворовы? Пренебрежением смерти. Чем увенчали добродетельные дела и бессмертные имена свои Сократы, Деции, Регулы? Пренебрежением смерти. Здесь, может быть, возразят мне, что Сократы, Леониды и Регулы не смертию, а примерною добродетельною жизнию заслужили благословение потомства. На сие я отвечаю, что честность не есть главное отличительное свойство великих, знаменитых людей, что они, будучи только честными, были бы забыты так, как миллионы честных философов, честных ремесленников… Золото дорого потому, что оно редко. Пренебрегающие смерть герои знамениты потому, что они редки».

Речь Воейкова, казалось, нагнетала какую-то озлобленность к жизни, которою друзья, очарованные этой страстной речью, не ощущали как злобу, а скорее как стремление подготовить нежные души к суровому, даже крайнему испытанию – испытанию смертью. Выражение Воейкова «Победим или умрем!» Андрей Кайсаров и позже цитировал в письме; видно, оно очень запало в душу.

Александр Воейков, хозяин «поддевических» собраний, в ту пору не был тем, чем стал впоследствии, как-то позже его деятельность ушла из русла юношеских мечтаний. Устремления, обеты молодости, если и не попрались, то заметно стерлись. Но в Дружеском литературном обществе он был именно таким зажигательным красноречивым оратором, горячим и по-детски злым, с речами, полными младых восторгов и ядовитых шипов. Друзья в 1800-1802 годы очень любили его. Если же судить о нем лишь по последним годам его жизни, как это делают иные исследователи, мы не избегнем несправедливой оценки.

В недатированном письме к Андрею Кайсарову Андрей Тур-  
генев пишет: «Обрадуй, брат, будет ли Воейков с вами. Это – неоцененный человек… Хотя мы и зовем друг друга ослами, однако ж я немногих людей люблю так, как его…» Андрей Кайсаров писал: «Мне жаль очень Воейкова. Он получил такие дарования, которые не всякий получает, – и теряет это по-пустому; какой-то ветер, какая-то самая непростительная суета и уверенность большая в себе мешали ему до сих пор заняться чем-нибудь».

Во всех этих юных, в общем-то веселых, жизнерадостных людях поражает чувство зрелой ответственности. Разговоры о патриотизме были совершенно искренни и обильны. И Андрей Кайсаров участвовал в них.

9 февраля он произнес речь «О кротости», 29 марта – «О том, что мнение о славе зависит от образа воспитания». Последняя речь, несмотря на несколько тяжеловатую формулировку заглавия, во многом определяет мировоззрение Кайсарова и объясняет его дальнейшую судьбу. Кайсаров защищает военную храбрость, считая, что не жалостью должно руководствоваться на поле брани: «Пусть сердце воина ожесточится на минуту, если враги грозят его отечеству…» Речь Кайсарова перекликалась с выступлениями Мерзлякова и особенно Воейкова, который, словно хотел перекричать Кайсарова, выдвинув дерзкий тезис: «Сам эшафот есть престол славы, когда должно умереть на нем за Отечество!»

Идея поиска идеала истинного сына отечества запала в души юных членов Дружеского литературного общества. Свои суждения друзья по очереди высказывали в специально написанных речах, каждая из которых высвечивала один из аспектов темы о нравственном совершенствовании человека и гражданина.

Хотя речам Кайсарова свойственна некоторая театральная торжественность, размышления его интересны. Например, в речи «О том, что мнение о славе зависит от образа воспитания» он говорит о подлинных и мнимых героях в истории. Ибо, по словам Кайсарова, героями порой провозглашались не защитники Отечества, а завоеватели народов. «Как часто даже самый свет, который должен быть судьею беспристрастным, как часто предает он славе имена, заслуживающие проклятие или по крайней мере вечное забвение?.. Бичи рода человеческого похищают место в истории о добрых гражданах… – говорит Кайсаров. – Если бы поэты не употребляли во зло дара своего, если бы они не прославляли плачевного разорения целых империй, не прославляли бы того пламени, которым пожжены несчастные жители мирных деревень, если б они обнаружили пустой блеск той самой славы, за которою гонялся сей безумец, то при одном имени Александра (*Македонского* – А. Б.) добродетельный юноша содрогнулся бы и страшился быть ему подобным. Если б историк выводил на сцену одну только истинную добродетель и лестную ее награду, невольным бы образом юноша затверживал имена истинно великих, невольным бы образом возрождался в нем огнь пожертвования, который вместе с летами более и более согревал кровь его». Так думал восемнадцатилетний Кайсаров.

Мрачная концовка речи Мерзлякова «О трудностях учения», а также желание поддержать правого Мерзлякова, тайную и сильную печаль его о всех жаждущих просвещения, понимания, применения, навела Андрея Кайсарова на мысль о «мизантропии» и «мизантропах», которых человеконенавистниками не считал, а лишь очень мрачными, угрюмыми людьми (иногда философами), чему были причины.

1 июня произнесена его речь «О том, что мизантропов несправедливо почитают бесчеловечными». Кайсаров не считал несправедливость плодом субъективного представления, рождающегося в мрачном сердце желчного человека. Следовательно, осуждение действительности есть признак любви и ненависти к людям. Мизантроп «… родился с нежным сердцем, был готов любить ближних, как братий своих; но видя угнетенную невинность, как достоинство ненагражденное, видя добродетель, стенавшую под тяжелыми цепями тиранства, гения от нищеты умирающего; одним словом, видя все ужасы, какие только может производить злоба людей, – он начинает опасаться их». Мизантропы и меланхолики у Кайсарова люди думающие (и даже задумывающиеся очень глубоко), страдающие, постигающие нравственные и социальные основы жизни, размышляющие о том, как облегчить страдания других. Практически Кайсаров говорил о зарождающейся в недрах нации русской интел-  
лигенции, условия возникновения которой далеко не легки.

Что заставляет тонкую душу мизантропа, меланхолика (то есть истинно интеллигентную натуру) страдать – угнетенная не-  
винность, ненагражденное достоинство, добродетель под цепями тиранства? Он хочет употребить свою жизнь на служение отечеству, но не с бездумным рвением, а со смыслом, в который вкладывается желание прогрессивного движения. При это необходимо и важно, чтоб отечество с благодарностью принимало его труды.

Андрей Сергеевич горячо и пылко призывает гуманно относиться к мизантропам и меланхоликам.

Что касается формы речей и их особенностей, то они зачастую (у Кайсарова, во всяком случае) были пространны, ассоциативны, отягощены многими цитатами из античных и других авторов. Друзья ещё не знали истины: не делай выступлений, пока техническое совершенство речи не обеспечит полноты воплощения созревших замыслов. Они просто жили, и жизнь текла по жилам. Они сжигали нервную силу юности на собственном огне. Позже, в одном из стихотворений Кайсарова промелькнет строка: «мой страстный дух во мне сгорал». Это случайное-неслучайное выражение во многом объясняет стиль жизни Кайсарова (а значит и его речей). Кайсарова поддержал Андрей Тургенев. Возможно он выступил со стихотворением. До нас дошли черновые отрывки.

В этой компании образованных юношей к недворянам относился лишь Мерзляков. И хотя он любил подчеркивать влияние Дружеского литературного общества на формирование своих взглядов и писал, что общество, «…где мы, поистине управляемые благороднейшею целию, все в цвете юности, в жару пылких лет, одушевленные единым благодетельным чувством дружбы, не отравляемые частными выгодами самолюбия, учили и судили друг друга в первых наших занятиях…», он оказывал на всех друзей, особенно на Андрея Кайсарова и Андрея Тургенева огромное влияние; являлся для них авторитетом потому, что был старше, и потому что его интересы выходили дальше интересов дворянского круга.

В Дружеском литературном обществе Мерзлякову была доверена ответственная роль составителя законов, о чем он говорил в своей речи на учредительном собрании 12 января 1801 года. Затем Мерзляков выступал с программными речами об отечестве и долге гражданина (19 января), «О деятельности» (1 марта) и «О трудностях учения» (в начале мая), со стихотворной одой (7 апреля).

В речи о гражданском служении отечеству главная мысль бы-  
ла «возжечь» великий «энтузиазм патриотизма». Алексей Федорович призывал своих друзей-единомышленников не ограничиваться рамками только литературного поприща, придать общественный характер и собранию, и будущей своей деятельности. Ведь по его словам, в Дружеском литературном обществе молодые «…приго-  
товляли себя на будущее наше служение». Поэтому он ратовал за воспитание в «…беседах, которых предметом было познание человека и его нравственности». Нравственность в устах Мерзлякова не отвлеченная морализация в масонском духе, а проповедь гражданских добродетелей. За образец брался тогда античный уровень поклонения долгу перед родиной. Мерзляков, пользуясь словечком Андрея Кайсарова, основным способом гражданского воспитания считал «поревнование», а важными гражданскими качествами – твердость, смелость, благоразумную гордость.

Мерзляков был одним из самых решительных и горячих про-  
тивников французского воспитания. Он выступал за всестороннее изучение родного языка, дающего самобытную литературу. В речи «О трудностях учения» он говорил: «Мы не имеем ещё собственных образцов во всех родах сочинений; все наши писатели рождаются, так сказать, во французской библиотеке; тогда, когда ещё не в силах судить ни о своих, ни о чужих сочинениях, тогда дают нам в руки иностранные книги, воспитывают нас иностранцы.

Скажите, что останется в них русского? Сверх того, длжно заметить, что наш язык сам по себе столь обилен, что требует человеческой жизни, для того чтобы совершенно знать его. Когда же начинается это познание? Тогда, когда русский дворянин научится уже писать французские стихи».

Эстетическая позиция Мерзлякова значительно отличалась от дворянской, господствовавшей тогда. Он (хотя это было чревато упреками в безнадежной архаичности) скорее предпочитал скупой рационализм классицистов XVIII века и исследовательский пафос М. В. Ломоносова, ещё больше опираясь на просветителей, чем хоть сколько-нибудь серьезно относиться к сентиментальным переводным утопиям.

Теоретическую базу классицистов Алексей Мерзляков переосмысливал и наполнял новым содержанием. Например, классицисты совершенно не замечали чувств человека, их открыли для литературы ХVIII века – сентименталисты. Мерзляков учитывает этот опыт, хотя полностью на сторону сентименталистов не становится. Последние определили для своих героев слишком низкий потолок человеческих дерзаний и совершенно исключили гражданское поприще, чего Мерзляков никогда понять не мог. Он стоял на позициях рационалистов-просветителей.

Речи Мерзлякова во многом определили ход споров и разговоров на заседаниях Дружеского литературного общества. Всем было ясно, что литературные вопросы – лишь часть вопросов воспитания в духе патриотизма.

Один из пунктов «Законов» Дружеского литературного обще-  
ства предусматривал: «Всякие три месяца должны быть экстраординарные собрания или торжества, каждый из сих праздников может носить на себе особенное имя – иной посвящается отечеству, другой – которой-нибудь из добродетелей, третий, например, поэзии…» То есть, говоря современным языком, в плане предусматривались тематические вечера. Речей Дружеского литературного общества сохранилось 23, но они далеко не все, и далеко не все выступления оказывались в форме речей. Следовательно, установить, были ли такие вечера и сколько их прошло, можно по письмам.

Андрей Тургенев писал: «Вспомните этот холодный еще, сумрачный апрельский день и нас в развалившемся доме, окруженном садом и прудами. Вспомните гимн Кайсарова (*произведение до нас не дошло* – А. Б.) стихи Мерзлякова, вспомните себя, и если хотите, и речь мою… Тот радостный день, в который детскими руками сыпали на алтарь отечества нежные цветы усердия, любви и преданности».

Отсюда вытекает: собрание, о котором идет речь, было полностью посвящено отечеству, исключительно патриотической теме.

Андрей Иванович хотел, чтобы и друзья его не забыли яркой страницы работы их Дружеского общества, чтоб воспоминание об этом собрании особым теплом согревало бы их всегда. Он писал Жуковскому: «Я бы желал, чтобы в дни двух торжеств наших 1-ое или 7-ое апреля… каждый из нас их праздновал, где бы он ни был. Это многим из нас очень будет приятно…». Находясь в разных городах Европы каждый бы знал, что в эти дни «душевные друзья его о нем думают».

Торжество, посвященное отечеству, было 7 апреля. Инициаторами его были Алексей Мерзляков и Андрей Тургенев, принял активное участие и Андрей Кайсаров. Об инициативе Мерзлякова можно судить совершенно отчетливо. Московский университет готовился к такому же торжеству, посвященному отечеству, которое прошло 14 апреля. Мерзляков, тогда уже бакалавр университета, должен был выступать со стихами на день восшествия на престол Александра I. Все писалось раньше и первое пробное чтение состоялось как раз в Дружеском литературном обществе 7 апреля. Стихотворение называлось «Слава» и позже опубликовано.

Андрей Тургенев не посвящал своей речи специально Алек-  
сандру I, он выступал на тему об Отечестве. На эту тему он думал давно. Например, 29 января он сделал запись в дневнике: «Если гражданин есть член целого политического тела, то от сохранения частных прав каждого должно зависеть главное право всего общества. Сделав добро одному ближнему – ты сделаешь добро всем ближним; будь честен, ты будешь лучший гражданин в гражданстве: таким образом, прежде воспитывались сыны отечества… Общество наше есть скромная жертва отечеству. Всякий миг, всякое дело наше посвящено ему. Скоро, может быть, возгремит оно к нам и назовет нас своими защитниками. Умейте сделаться того достойными».

Он не знал, еще, где и когда ему понадобятся записи, но сама идея любви к родине весьма занимала его. Речь Андрея Тургенева была без названия, но ее вполне можно бы назвать так же, как он озаглавил и стихотворение, первый, «детский» вариант которого опубликован им в сборнике учащихся Московского благородного пансиона «Разговор о физических и нравственных предметах» (М., 1800), – «К Отечеству» или речью о любви к родине.

«Любовь к отечеству есть то сердечное чувство, которое с самых нежнейших лет наших привязывает нас к нашей родине, укрепляется, развивается в нас с летами и, наконец, обращается для нас в природу и сливается, так сказать, с душою нашею. Сперва оно есть только чувство; не зная еще, что такое отечество, мы уже любим его; но мало-помалу, когда разум начинает в нас действовать, мы видим, что должны следовать сердечному нашему движению, что мы должны любить его, потому что оно приняло нас прежде всего в свои недра, потому что в нем научались мы любить людей, потому что в нем живут, к нему принадлежат те, которым обязаны мы сохранением, украшением бытия нашего… Не им ли одушевляемы были величайшие герои древности, которых память, и поныне для нас священная, подобно чистому пламени, воспаляет нас к великим делам, заставляет презирать смерть, дабы или содержать отечество свое благополучным, или в небесах найти другое отечество».

Здесь утверждается идея самоотречения во имя славы и благополучия отечества. Автор речи призывает погибнуть, презрев смерть, если потребуется, но не предать родины, не унизить ее подлостью. Мы видим, что в своей речи Андрей Тургенев идет вслед за мыслями Андрея Кайсарова и Воейкова, ещё ранее высказанными Плавильщиковым и другими просветителями. Идеал Андрея Тургенева – античные герои с их безоговорочным самопожертвованием во имя славы отчизны. И далее мы встречаем мысли уже знакомые, но выраженные Андреем Тургеневым сжато, динамично и с большим чувством:

«Есть люди, которые, любя всем сердцем страну своего рождения, обманывают самих себя и, следуя софизмам острого разума, утверждают, что для истинно просвещенного человека нет отечества, что он не есть патриот, а гражданин вселенной… О вы, которые, вопреки своему мнению, любите, может быть, свое отечество и всею душою ему преданы, уверьтесь, что нельзя быть гражданином Ввселенной, не будучи патриотом, что одно только наше отечество может привязать нас ко всей вселенной так, как маленький уголок земли, в котором родились мы, связывает нас с нашим отечеством… Какую священную, неизъяснимую силу имеет над нами место нашего рождения!..»

Окончание речи полно признаний в любви к отечеству, клятв и призывов юных горячих сердец к самопожертвованиям: «…Ты, может быть забудешь, оставишь детей, но дети твои никогда, нигде тебя не забудут… В согласии наших душ поклянемся перед ним быть его сынами… Может быть, некогда сей священный энтузиазм погаснет в бурях мира, сердца наши охладеют, но горе нам, если мы когда-нибудь забудем этот день, в который мы свободно произнесли обеты наши перед алтарем отечества».

По словам Андрея Тургенева, патриотизм – чувство свободное и личное. Он не связывает свое отечество с конкретным царем, ведь их ещё не оперившееся поколение успело пережить двух царей (причем одно убийство), перепохороны и реабилитацию Петра III и встретить новое светило. Поколение Андрея Тургенева уже успело понять всю бренность земного существования владык. Родина же пребывает вечно.

Время, на которое пришлась молодость Тургеневых, Кайсаро-  
вых и их друзей, – время увлечения поэзией поступков античных героев, поэзией самопожертвования. Все они хотели бы перенести античность на русскую почву, хотели быть «русскими римлянами».

Основная идея – о самопожертвовании во имя родины – полностью сконцентрирована Андреем Тургеневым в прекрасном стихотворном шедевре (над ним работал около трех лет) «К Отечеству».

*Сыны отечества клянутся,*

*И небо слышит клятву их!*

*О, как сердца в них сильно бьются!*

*Не кровь течет, но пламя в них.*

*Тебя, отечество святое,*

*Тебя любить, тебе служить:*

*Вот наше звание прямое!*

*Мы жизнию своей купить*

*Твое готовы благоденство.*

*Погибель за тебя – блаженство,*

*И смерть – бессмертие для нас!*

*Не содрогнемся в страшный час*

*Среди мечей на ратном поле,*

*Тебя, как бога, призовем,*

*И враг не узрит солнца боле,*

*Иль мы, сраженные, падем –*

*И наша смерть благословится!*

*Сон вечности покроет нас;*

*Когда вздохнем в последний раз, –*

*Сей вздох тебе же посвятится.*

Это не пустое красноречие. Это были вещие слова. В них начертан идеал жизненного стремления всех членов Дружеского литературного общества, но одному лишь Андрею Кайсарову суждено было подтвердить пророческие слова друга своей жизнью и смертью.

Патриотическое выступление Андрея Тургенева в Собрании имело полный успех.

У тургеневского круга не существовало никакого старшего руководителя. Они сами собирали по крупицам передовую мысль эпохи просвещения, выделяя ее в основном из литературных источников или переводных сочинений.

Материалистическую этику они отождествляли с эгоистической, прославляя бескорыстие, добровольные жертвы во имя других (общества), героизм, гражданскую активность.

В этом смысле характерны уже известная речь Мерзлякова «О деятельности» и речь Жуковского «О дружбе».

Жуковский считал основой дружбы жертву во имя друга, бес-  
корыстие; в дружбе не должно быть интереса материального; она базируется на взаимном почтении; откровенность неразлучна с дружбой, но не следует ее смешивать с грубостью. Тонкость и осторожное обхождение доставят друзьям настоящее наслаждение. Кульминация дружбы – кончина друга. Долг оставшегося состоит в том, чтоб положить цветок на гроб своего «Агатона» и затем вечно о нем скорбеть.

Через три дня после этой речи, 1 марта, Мерзляков вступает в дискуссию, и «ополчается» на Жуковского в речи «О деятельности». Он считает: когда человек деятелен, мечтать ему некогда. Общество Мерзляков сравнивает с машиной, которая стоит: что пользы, если все пружины в ней сильны и чисты!.. «Союз дружбы, который, по словам Мерзлякова, «ораторы каждую неделю переплетают поочередно новыми гирляндами», – есть нечто застывшее, не ведущее к общечеловеческому прогрессу. «Мы учимся быть панигиристами, обожателями и больше ничего». Мерзляков, полемизируя с Жуковским, обрушился на появившийся обычай «мечтать о будущем». Конечно же не против мечтаний вообще выступил Мерзляков, а против только мечтаний, не подкрепленных запасом энергии общественно-полезной деятельности. Он призывал перейти от мечтаний к деятельности: «Труды, и несчастья, и венец победы соединят нас теснее, нежели все наши речи». И продолжал, смыкаясь с мыслями Андрея Тургенева, Андрея Кайсарова, Александра Воейкова: «Каждый из нас – человек, гражданин, каждый из нас – сын отечества… Мал тот, кто хочет быть только оратором, стихотворцем, сочинения его холодны, если не воспламенит их любовь сердечная, советы его не отрут слез угнетенной невинности, прекрасные мысли его не утолят голода нищему».

Здесь в спорах выработался свой (утопический) идеал челове-  
ка – героическая личность, стоически-сильная, жаждущая деятельности во имя социальной справедливости, облеченная жертвенной моралью.

Даже при иных своих заблуждениях и большой доле прекрас-  
нодушия друзья проделали за короткий срок бурную, стремительную эволюцию. Они преодолели масонские влияния, познакомились с идеями просветителей, для их времени неплохо уже знали зарубежную и античную литературу, вырабатывали свое отношение к сентиментализму, романтизму и лишь брезжившему реалистическому направлению.

Алексей Федорович Мерзляков был «корифеем» Дружеского литературного общества. Его влияние бесспорно даже на Андрея Тургенева, и, казалось, очень непохожего на всех, Жуковского. Алексей Федорович считал, что глубокое изучение народной поэзии, сказки, песни, должно стать родником, обогащающим душевный опыт человека, источником, откуда черпаются чистота, простота, искренность, мудрость, целомудрие, юмор, что обогащает и язык. Народное искусство, по словам Мерзлякова, может стать орудием борьбы с «изящными безделками».

Слово «безделки», пришедшее тогда в русскую литературу вместе с увлечением античностью, впервые употребленное в I веке Катуллом для сборника небольших лирических (неполитизирован-  
ных) стихотворений, в устах Мерзлякова – собирательный образ всех холостых подделок, написанных тогда на сентиментальный лад. Подделки эти насквозь фальшивы, претенциозны, пусты. А поддельщики совершенно разминулись с русским духом и забыли, что литератор в России пророк и народная совесть. Имитаторы, эпигоны раздражали русскую душу неискренностью и стереотипом мышления.

Эта пена, которой позже дали несправедливое название «карамзинизм» и которая едва соприкасалась с талантливым, многообразным, более широким, чем только сентиментализм, явлением Карамзина, во многом его порочила, так как смещала шкалу справедливой оценки его творчества. Карамзин на энергии своего таланта, словно метеор, проскочил сентиментализм, став тем, чем он теперь есть – учителем истории российской дня многих поколений людей. Однако, именно за ним, как шлейф, долго тянулся «грех» его открытия для России сентиментализма, в какой-то момент бывшего даже прогрессивным, так как сентиментализм показал россиянам нежную сердечную жизнь, о которой до той поры не писали.

Слово «безделки» в русской литературе произнесено Карам-  
зиным. После того, как Николай Михайлович в 1794 году выпустил сборник своих произведений «Мои безделки», его друг – Иван Иванович Дмитриев, весело соревнуясь в художествах фантазии, выпустил в 1795 году «И мои безделки», – слово стало притчей во языцех. Во всяком случае, в мозгу поколения Кайсарова оно застряло, как гвоздь. Сам Андрей Кайсаров не раз употреблял его и даже единственный, дошедший до нас, цикл своих стихотворений, связал с этим словом.

Не потому же он взял это название, что действительно считал «безделки» Карамзина, Дмитриева и свои собственные – безделками и никому не нужными упражнениями?! В цикл включались произведения разнообразные и во многом личные (теперь мы это называем «лирика»), хотя общественная жизнь из произведений Кайсарова (о них скажем позже) не исчезала, она всегда бурлила рядом и влияла на личные чувства и пристрастия, выбор тем и их трактовку. Сборник Кайсарова содержал и произведения критические, которые он сам словно обезоруживал, как бы смягчал, называя «безделками», пустяками.

Этого Мерзляков не мог не понимать, не мог не чувствовать. Он и не выступал против искренности, против личного, против самоиронии и юмора, всегда свойственных и народной поэзии. Этот прием лукавства русской поэзии и песни, где «как бы» безделица, а на самом деле все более чем серьезно, очень свойствен фольклору. Говоря о «безделках» и подхватив словечко Карамзина, Алексей Федорович имел в виду не это, а именно карамзинизм, сентиментализм, как литературное явление с малым общественно-полезным коэффициентом.

Отношение к сентиментализму и романтизму у Мерзлякова тоже претерпевало эволюцию. Если до Дружеского литературного общества (и отчасти даже в период его) он и сам переводил сентиментальные «Страдания молодого Вертера» Гете, то позже – резко критиковал Карамзина за незначительность и мелкость содержания его произведений, хотя по сути, больше это относилось к «карамзинизму», а сам Карамзин уже писал историю российского государства.

Андрей Тургенев разделял взгляды Мерзлякова на карамзинизм. Сохранилась на этот счет очень живая, словно передающая диалог друзей, запись в дневнике накануне нового года и первого года нового века. Запись сделана 20 декабря 1800 года: «Сегодня ввечеру имели мы трое: Мерзляков, Жуковский и я, преинтересный разговор: началось тем, что Мерзляков или Жуковский спросил, будет ли следующий век так же обилен, или обильнее писателями. Мы сказали свое мнение: я думал, что число их будет больше, но заметил, что, может быть, более будет превосходных писателей в мелочах и что сему виноват Карамзин. Мерзляков и я: ему бы надобно было явиться веком или двумя позже, тогда, когда бы имели уже более сочинений в важном роде; тогда пусть бы он в лавры и дубы вплетал свои цветы. Он сделал эпоху в русской литературе… Скажем откровенно – он более вреден, нежели полезен литературе нашей, и вреден потому более, что так хорошо пишет. Пусть бы русские продолжали писать хоть хуже, хоть не так интересно; но только в важнейшем роде; пусть бы они с великим мешали и уродливое, гигантское, чрезвычайное, это бы очистилось. И смотря на общий ход просвещения и литературы, в целом, надобно признаться, что даже Херасков больше для нее сделал, нежели Карамзин».

Ни Мерзляков, ни Андрей Тургенев не оценили тогда правильно Карамзина, не зная о том, что он уже шел дальше, выше, а видя перед собой лишь эпигонов, утопивших русскую литературу в море слез и насадивших вокруг массу искусственных деревень и бутафорских «поселян». Большинство этих авторов – подражатели, сбегавшиеся на чужой успех и вытаптывающие затем все живое на освоенной площадке.

Сентиментализм зародился и приживался в России в муках борьбы и острых споров. В 1790 году, когда Кайсаров и все его ровесники только начинали знакомиться с современной им литературой, сентиментализм утвердился как передовое, вдохновленное просветительской идеологией искусство. Сторонники этого направления должны были бороться с классицизмом в одном лагере с просветителями. В постоянной полемике рождалась эстетическая теория, отбрасывающая нормативную поэтику. Создавались произведения, по-новому изображавшие человека и окружающую его действительность. Просветители взяли за основу всесословную ценность личности. Сентименталисты впервые наиболее пристально исследовали человеческие чувства. Вводя в свои произведения, хотя и приукрашенных, бутафорских крестьян, мещан и проч., сентименталисты способствовали быстрейшей демократизации литературы.

Но сентиментализм, в отличие, скажем, от реализма, позже всесторонне анализировавшего жизнь, пристально всматривался в чувственный мир человека, изолировав героя от многих обстоятельств быта. Здесь имущественному положению и благородству происхождения противопоставлялись богатство и благородство чувств. Как правило, герой сентиментальной повести или романа не борец за свои чувства и свое бытие, он беглец от реального мира и жертва обстоятельств. Этот честный герой – духовно богатая личность, чье нравственное достоинство не зависит от устоявшихся представлений общества. Он велик, гигантски благороден лишь в тиши сельского уединения или в стенах собственного дома, где он на глазах читателя всеми богатствами души стремится завоевать себе счастье любви, семейные радости, даже в самом страдании и самопожертвовании обрести радость, наслаждение своим личностным богатством.

Подобные настроения находили отклик. Сентиментализм был уже состоянием общества. Карамзин только выразил его и выразил наиболее талантливо, заметно. Николай Михайлович ещё неизвестен как создатель «Истории государства Российского». Все его знали тогда по эстетическим концепциям сборника «Аглая», где явный отказ от изображения реальной действительности сочетается с подчеркнутым субъективизмом. Отсюда во многом однозначное отношение к нему и нападки. Поскольку в данном направлении дарованию Карамзина почти нечего было противопоставить – он принимал на себя все удары. Тем яростнее оказывалось сопротивление сентиментальным поэзии и прозе, что они необыкновенно свежи и обаятельны для того времени, раскованы, безыскусны, понятны и доступны всякому. Тем яростнее оказывалось сопротивление, что ещё недавно увлечение Карамзиным пережили все. ещё в 1799 году Андрей Тургенев защищал Карамзина, которого он тогда любил до самозабвения, от нападок морализатора, стоявшего на страже суровых архаических законов классицистов ХVIII века и установлений православной церкви, П. И. Голенищева-Кутузова, который в журнале «Иппокрена, или утехи любословия» (т. IV, стр. 17-31) опубликовал стихи, содержавшие намеки на неблагонадежность и вольномыслие Карамзина. Андрей Тургенев отпарировал это выступление эпиграммой:

*О сколь священная религия страдает,*

*Вольтер ее бранит – Кутузов защищает.*

Андрей Кайсаров принял участие в «боевых действиях» на стороне друга. Его очевидно очень острая эпиграмма до нас не дошла, о ней можно судить лишь по тому впечатлению, которое она произвела на Андрея Тургенева: «Ну уж стихи – славные!.. Ай же Андрей Сергеевич; он и нас с заслуженного места собьет…»

А в декабре 1799 года Андрей Тургенев писал: «Выходит 5-й том «Писем…» Карамзина. Не сочинить ли чего-нибудь? Сказавши, что выходит Карамзина книга, заключу:

*Кутузов! Вот ещё работа для тебя:*

*Пиши, бесись, ругай и осрами – себя».*

Заслуги Карамзина для друзей ясны: они любили ещё в отрочестве его «Детское чтение», увидели и оценили в нем преобразователя русского языка (вводившего новую лексику) в художественно-эмоциональную его сторону, создателя нового литературного направления на русской ниве; отдали должное, наконец, его дарованию.

Однако, они же начали подвергать сомнению его авторитет. У Андрея Кайсарова, например, встречаются противоречивые высказывания о Карамзине. Если построить их последовательно, то получится примерно такая картина: «…Знаешь, почему мне хочется прочитать «Дон Карлоса»? Вчера в карауле я читал Карамзина «Письма…», в которых он расхвален. – А Карамзин пустова не похвалит». В другом письме: «…Карамзин по-старому любит соловьев и малиновок, что ты «можешь видеть в его Пантеоне, в статье о Никоне, кажется, уж тут-то бы всего меньше шло приклеить его птичныя сантименты…». «Пустой карамзинизм» в устах Кайсарова – искусственность и больше нечего. Однако позже он опять признается: «…Я с некоторого времени гораздо больше полюбил Карамзина нежели прежде». А через пять месяцев после такого высказывания другое: «Вот и записочка Максима Ивановича Невзорова, который немилосердно бранит Карамзина. Правду сказать, он и стоит этого».

Нельзя утверждать, что Кайсаров не мог разобраться в Карамзине без оценок его другими. Дело в том именно, что Карамзин был и хорошим и плохим, и талантливым и однообразным, вызывал противоречивые чувства: он и нравился и не нравился.

Андрей Тургенев и Андрей Кайсаров (как и сам Карамзин) не стояли на месте. Собственный сентиментализм их начинал раздражать. Они в душе (хотя ещё мало осознанно) опасались возможности для себя умножить число подражателей Карамзина. И чем привлекательней была его эстетика, тем яростнее друзья стали ей сопротивляться. Они без труда нашли в сентиментализме много отрицательных черт. В этом им активно помог Мерзляков с его аналитическим, критическим умом. Друзья обнаружили в сентиментализме отсутствие общественной мысли, важных педагогических, просветительских задач, национальной самобытности, мелочность тематики.

Сентиментализм царил тогда в обществе не только как литера-  
турное течение, но и как стиль взаимоотношений. Письма, дневники той поры, в том числе и письма окружения Кайсарова, полны «слез», их покрывает дымка сентиментальности. Избыточная чувствительность начинала надоедать, особенно в мужчинах. Кайсаров уже делал различие между действительным настроением и пустою сентиментальностью».

С такой уверенностью, как защищали Карамзина, друзья взялись его высмеивать. Высмеивать, прежде всего в собственных глазах, как бы воспаляя, взвинчивая себя на неприязнь, накапливая инерцию движения к легкой расправе с собственными иллюзиями на почве сентиментализма. Дидактический их глас часто раздавался в спорах, в это время ими как бы набирался педагогический вес, достаточный категории Карамзина. Причем запальчивая самоуверенность в собственных нигилистических возможностях в этом плане чередовалась с глубокими сомнениями.

Андрей Тургенев с тревогой за свое детище – Дружеское ли-  
тературное общество – говорил друзьям, что горячие споры порой нарушают согласие Собрания. Но как всегда бывает в собраниях, «колокольчик», возвещающий просьбу о тишине, заставлял спорить ещё упорнее.

Михаил Кайсаров во всеоружии красноречия встал на сторону защиты карамзинизма, он ввязался в спор о служении общественному благу, о личности, призванной разобраться в себе. Михаил Сергеевич утверждал субъективность человеческих представлений о счастье. Он даже не заметил, может быть, что вывод его был несколько абсурдным: ведь он говорил о бесцельности всякого рода общественной деятельности. Михаил Сергеевич считал, что всякая общестественная деятельность ничто в сравнении с удовольствием воображения.

В споре на стороне карамзинистов выступил и Жуковский. Он обильно пересыпал свою речь цитатами из Карамзина, особенно программного его стихотворения «К Дмитриеву». Однако, сильных аргументов в арсенале Жуковского не было.

Кульминацией в споре сторон стала пародия Андрея Кайсаро-  
ва «Свадьба К…», которая не риторически, а художественно-веско показала эстетику и круг идей сентиментализма. Кайсаров, вдохновленный Андреем Тургеневым, а возможно, Мерзляковым и Воейковым, решил, наконец, вылить все свои знания Карамзина, всю свою начитанность в пародию, искусно составленную из строчек различных сочинений писателя: «Исправление», «Странность любви», «Выбор жениха», «Послание к Дмитриеву», «Молитва о дожде», «Илья Муромец», «Остров Борнгольм», «Какой закон святее», «Африканская жизнь» и проч.

Собранные вместе на небольшой площади пародии, отрывки, фразы, слова из сочинений Карамзина дали выразительный эффект бесконечно однообразных унылых повторений приемов сентименталистов, бедности, ограниченности набора атрибутов, обеспечивающих «блаженство», обязательную счастливость, а затем несчастность героев.

Кайсаров, обладая природным остроумием, подогретым моло-  
достью и дерзостью, высмеял литературное течение, бывшее, как мы уже говорили, вначале прогрессивным; потом, размноженное эпигонами, вытоптавшими на этой стезе вое живое и ценное, оно превратилось в течение «слез».

«Свадьба К…» – лишь одно из названий пародии Кайсарова (так называл ее в письмах сам автор). У разных исследователей, в разных источниках встречаются «Свадьба Карамзина», «Описание свадьбы Карамзина», «Женитьба К…», «Николай Михайлович Карамзин. Описание его бракосочетания». Различия эти не считаются принци-  
пиальными, и лишь говорят о множестве вариантов рукописных списков пародии, которые существовали в девятнадцатом веке.

Описание бракосочетания относится к первой женитьбе Карамзина в апреле 1801 года на Елизавете Ивановне Протасовой, родной сестре Настасьи Ивановны Плещеевой, которой посвящался карамзинский сборник «Аглая». Следовательно, «Свадьба К…» написана по свежим впечатлениям от самой свадьбы и в период активной работы в Дружеском литературном обществе.

Приведем здесь наиболее интересные моменты этого талантливого, полного полемического задора сочинения Кайсарова, тем более, что пародия проливает свет на те грани литературной борьбы, которые существовали в начале девятнадцатого века:

«Кажется, что вся природа брала особенное участие в свадьбе Карамзина; церемониал ее заслуживает внимания.

Заря утренняя начала уже красить восточное небо, и розовый свет ее сыпался на белые граниты; но солнце не выказывало ещё лица своего, когда начался благовест вздохами чувствительных сердец. Он продолжался до тех пор, пока

*Солнце красное явилося*

*На лазури неба чистого*

*И лучами злата яркого*

*Осветило рощу тихую…*

В эту минуту стенания перестали, потому что она была назначена для бракосочетания. Здесь опишу я место, на котором должно было ему совершиться.

В тени липовой рощи возвышается небольшой холмик, розма-  
ринами увенчанный. Внизу расстилаются тучные густо-зеленые, белыми, синими и красными цветочками распещренные луга, за которыми по желтым пескам журчит кристальный ручеек; далее пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые песни, сокращают тем летние дни. На верху холмика стоит миртовая беседка с надписью: «Храм любви». В ней все просто, но все дышит любовью. Простой дерновый жертвенник, украшенный ландшафтами и васильками, сооружен посреди ее. На жертвеннике статуя божества, которому посвящен храм сей. По стенам видны изображения Геркулеса, сгорающего от любви к Омфалии; Венеры, млеющей в объятиях Марса; Пенелопы с ее бесконечною тканью и проч. Вход стерегут два купидона с язвительными своими стрелами. Здесь-то должен был Карамзин получить руку своей любезной. Минута соединен ия их наступила,

*Улыбнулось всё творение,*

*Воды с блеском заструилися,*

*Травки, ночью освежённые,*

*И цветочки благовонные*

*Растворили воздух утренний*

*Сладким духом, ароматами.*

*Все кусточки оживилися,*

*И пернатые малюточки,*

*Конопляночка с малиновкой,*

*В нежных песнях славить начали*

*День, беспечность и спокойствие».*

Так Кайсаров словами Карамзина описывает идиллию, предшествовавшую соединению сердец. В этом же духе изображается процессия, шествующая к храму, где должно совершиться бракосочетание. Псалмопевцы приветствовали жениха и невесту веселым гимном:

*Лишась способности грешить,*

*Прямым раскаяньем докажем,*

*Что можем праведными быть,*

*Лишась способности грешить…*

*Мужей оставим мы в покое,*

*А жен начнем добру учить,*

*Лишась способности грешить.*

На вопрос священника, хочет ли жених соединять свою судьбу с судьбой этой прекрасной девицы, жених отвечал:

*Чином я не генерал*

*И богатства не имею,*

*Но любить ее умею!..*

Далее подробно описывается в сентиментальном духе вся процессия в храме: хоры, чтение акафиста природе-матери, «по окончаниикоторогожрец, благословивих*,*учинил обычный отпуск. Страстные любовники повторили клятвы свои уже в шалашах своих и, запечатлев их пламенными поцелуями, наконец

*Небо на земле вкусили!!!»*

Обращение Кайсарова в начале литературной деятельности к сатирическому жанру характеризует и его общественно-литературную позицию: приверженцы сентиментализма не жаловали сатиру, они не писали комедий, уклонялись от участия в журнальных выпадах эпиграммического и прочего характера; басню они незаметно приспособили к своему стилю, превратив в абстрактно-назидательное стихотворение. Сатира предстает перед нами в XVIII – начале XIX века как свойство сознания просветителей-классицистов от Кантемира и Сумарокова до Новикова и Крылова. Кайсаров душой принадлежал к ним, как и Мерзляков, и Воейков, и Андрей Тургенев, хотя очарование сентименталистов в самой ранней юности всем им было трудно преодолеть.

Комический эффект сочинения Кайсарова достигается при помощи конкретизации переадресовки оборотов из произведений Карамзина: они переводятся из условного плана художественного произведения, как бы имитирующего жизнь, в план конкретно-бытовой, в реальную ситуацию. Замещение образа влюбленного самим автором сентиментальных произведений придает этой ситуации комический смысл, происходит пародийное снижение принципов сентиментализма.

Кайсаров не изобрел новый прием и не первый выступил с критикой, пародированием сентиментализма.

Еще раньше И. А. Крылов это сделал в «Каибе». Крыловский герой, полностью дезориентированный сентименталистами, увлекся поисками обещанной ими сельской идиллии, но перенесенные в жизнь штампы сентименталистов не выдержали никакого сравнения с реальностью, потеряли всякую достоверность. Крыловская критика, безусловно, социально более заостренная.

Было и ещё произведение, которое дало Кайсарову художест-  
венный толчок. Это сочинение, тоже состоящее из лексических и фразеологических штампов сентименталистов, опубликованное в журнале «Иппокрена, или утехи любословия» № 7 за 1800 год, на-  
зывалось «Аглая, или благодеяние». Само обращение к «Аглае» – альманаху карамзинистов – указывало на объект пародии. Произведение публиковалось без имени автора (по вполне понятным причинам) и задело очень многих из среды певцов слезных историй. Запало оно в душу и Кайсарову, может быть и знавшему имя автора.

«Аглая, или благодеяние» написано зрелым человеком, мышление которого преобладало над эмоциями и игрой воображения, а веселости характера, по всей вероятности, в авторе псевдоаглаи и вовсе не бывало. Кайсаров прочел сочинение внимательно, сам прием вырывания из контекста штампов и сгущения их на малой площади, когда эффект дает именно размножение вариаций стереотипа, запал ему на ум.

В 1801 году Кайсаров, видимо, присутствовал на свадьбе Ка-  
рамзина (или ему в больших подробностях рассказал о ней кто-либо другой, скорее всего Андрей Тургенев), здесь он нашел главный образ пародии, ситуацию, которая сфокусировала и увеличила все, что он хотел сказать о сентиментализме. Произведение Андрея Кайсарова, безусловно, оригинально.

Вопрос о точной датировке этого произведения не ставился. Письменные упоминания о пародии относятся к лету и осени 1801 года. Следовательно, она могла быть написана меж апрелем (время самой свадьбы) и июнем 1801 года (время прекращения существования Дружеского литературного общества; и также время, когда о «Свадьбе К…» говорили как о произведении уже популярном). Таким образом, для датировки написания этого произведения остается один месяц – май 1801 года (а возможно и часть апреля).

«Свадьба К…» тогда ходила в списках и была весьма популярна. Андрей Тургенев сообщал Кайсарову: «Забыл было написать тебе, в какой здесь vogue[[12]](#footnote-12) «Свадьба К…». В коллегии при мне два человека о ней поссорились, за то, что один обещал им дать ее списать и всякий хотел иметь прежде. Ей, ей так».

Даже сам автор не мог быстро получить рукопись обратно, она всё время была в движении, «в обороте». Кайсаров взывал к Анд-  
рею Тургеневу: «Попроси у Александра «Свадьбу К…» и пришли пожалуйста. Она мне очень нужна, просит Магницкий». В другой записке напоминал: «О «Свадьбе К…» третий раз прошу».

По прошествии лет, когда жена Карамзина умерла, и он женил ся на сестре П. А. Вяземского, Андрей Кайсаров уже понимал, что в веселой, насмешливой пародии, даже при ее незлобивости, появился элемент бестактности, которого раньше не ощущалось. Андрей Сер-  
геевич был остроумный человек, но остроумие никогда не увлекало его за пределы реальности. И может, позже он осуждал в душе свое ребячество. Пародия перестала доставлять ему радость. Этим объясняется, в частности, тот факт, что Кайсаров публиковать пародию не стал, хотя запретить этого никто не мог; напротив, существовали тогда журналы – противники карамзинистов, которые с большим удовольствием ухватились бы за талантливый остроумный материал. Существовали и анонимные публикации для тех, кто не желал обнародовать свое имя. Однако, педагогический азарт Кайсарова ушел. Пришло спокойное размышление. Андрей Сергеевич все чаще с уважением отзывался о Карамзине, и единственную свою книгу – среди первых – пошлет друзьям по литературному обществу, Карамзину.

Пародия Кайсарова появилась в печати лишь через 75 лет после ее написания и через 63 года после смерти Кайсарова. В 1875 году (август) М. Ф. Де Пуле опубликовал ее без имени автора в «Русском вестнике». А. Д. Галахов (который пользовался тем же текстом) перепечатал в сентябрьской книжке «Русской старины» за 1876 год. Этот вариант назывался «Николай Михайлович Карамзин. Описание его бракосочетания. 1801 г.». Наконец, пародия Кайсарова вошла в сокровищницу русской литературы и напечатана в Большой серии «Библиотеки поэта» – «Русская стихотворная пародия». (XVIII – начало XIX века). Л., 1960 – под названием «Описание бракосочетания г-на К (арамзина)» (данный текст мы и цитируем).

«Свадьба К…» не саркастическая сатира врага, а дружеская веселая пародия, которая в то жевремя являлась и самопародией.

Ведь и после написания «Свадьбы К…», объявленного таким образом желания порвать с сентиментализмом, Кайсаров, Тургеневы, их окружение – особенно, были сентиментальны в своих сочинениях, а больше – в письмах.

Пример можно найти тотчас. После «Свадьбы К…» Андрей Сергеевич произносил уже упомянутую речь о мизантропах. В ней есть немало моментов, по которым его можно изобличить как самого заправского сентименталиста. Он пишет: «Чувствительное сердце есть лучший дар, каким награждает смертного премудрый творец его. Что может быть приятнее, как находить красоту там, где она не существует для грубого и порочного человека? С чем сравнится та чистая радость, которую чувствует это неиспорченное сердце при обновлении природы?»

Если бы мы не знали, кто это написал, то автора установить было бы трудно. Слишком похожи выражения и сами мысли на все остальные подобного рода сочинения. Не так-то просто избавиться от сентиментализма! Сентиментализм – это целая эпоха, которая отошла вместе с жизнями, или, во всяком случае, с молодостью, неогрубевшими сердцами и иллюзиями наших героев, хотя уже тогда они всё понимали и не мирились с легким соблазном: идти по проторенному пути.



Глава седьмая

«Любви младая повесть»

Т

рехлетие 1799 – 1801 годов было отмечено для Кайсарова бурным дружеством. Молодые люди философствовали, рассуждали, анализировали, строили прогнозы развития отечественной литературы, боролись с жеманною «чувствительностью» сентиментальных сочинений. Много было здесь ума, дерзости, много пламенных призывов, сверкания очми, нещадных эпиграмм, брошенных в поджатый хвост противника – чаще воображаемого и условного, но иногда и конкретного. Произносилось горячащее кровь слово «отечество»; произносились «долг» и мерзляковское «польза», слова, охлаждавшие ум и наполнявшие помыслы гражданским смирением и, одновременно, хорошо осознанным рвением. Собственные призывы уже попахивали свинцом журнальных строчек. В эти годы все сверстники увидели первые свои литературные публикации.

Бурную общественную и литературно-творческую жизнь друзей уравновешивали сердечные отношения.

Однажды, ещё осенью 1800 года, Андрей Тургенев и Андрей Кайсаров ехали верхами с загородной прогулки, где они наслаждались последним теплым осенним днем, золотом облетавшей рощи, прозрачной свежей тишиной лугов, и нешумно беседовали, а иногда и спорили.

Спор казался ленивым, словно уносился куда-то легким ветерком или разметывающимися лошадиными гривами; звуки голосов, смешиваясь с конским топом, как бы улетучивались, подобно зефиру. Может быть это происходило потому, что такому здоровому, ядреному осеннему дню не совсем соответствовал унылый разговор о бедности (бедность вообще неприятная тема), которая поощряется благотворительностью; о самой барской благотворительности.

Проезжая мимо храма, при виде толпы у его крыльца, друзья вяло обсуждали тот факт, что нищие, может быть, нужны самим людям, чтоб те могли на них проэкзаменовать свою доброту, благотворительность и показать себя добрыми христианами… Но это ведь эгоистично. Как же бедные-то? У них что же, нет достоинства? Кому хочется быть нищим?..

Они замолчали, прислушиваясь некоторое время к колокольному звону.

– Как музыка все-таки зовет! – сказал Андрей Тургенев.

– Да, и мне порой кажется, что у чувства призыв какой-то музыкальный, – поддержал тему Андрей Кайсаров.

– Ты что большой знаток в этом? – скучным тоном пытался насмешничать Тургенев.

– Надеюсь, любовь к тебе не осудишь за сентименты… Веришь ли? Я иногда предчувствую тебя, как старик предчувствует погоду. Какие-то музыкальные волны вплетаются в нервы и гудят, трубят…

– Скрежещут, как несмазанные… Ха, ха! – веселясь подсказал Андрей Тургенев.

– Пока не свижусь с тобой, а там – опять… – продолжал Андрей Сергеевич, не обращая внимания на подначку друга.

– Мы, как каторжники, связаны трудом и мукой дружеской любви, – усмехнулся Тургенев.

– Какой ты умница, Андрей, все понимаешь, все чувствуешь во мне, как я в тебе.

– Ха! Слушай, у тебя не бывает, что ты ужасаешься собственной мудрости?!

– Не передергивай с своей невинной миной! Что ты сказал, мне знакомо даже очень…

– Знаешь, я думаю… В дружбе мужчин, мне кажется, никогда не найти того забвения, отдохновения, которое дает дружба женщин.

– Дай угадаю почему? Дай подумаю сам… Она слишком головная, так? Подожди, подожди… Не отдыхаешь. Ум работает, мысль развивается. Головные мышцы устают, натягиваются как струна.

– Ты верно выразил, что я подразумевал. И главное, знаешь когда я вспоминаю об этой мысли?

– Когда всё надоест?

– Когда устану. Когда устану, закрываю глаза – и передо мной возникает ангельское видение девушки… Не такой, каких мы ви-  
дим у тетушек. В ней есть что-то аглицкое: вытянутое слегка личико, белизна кожи и естественный слабый румянец. Хотя нет, румянца нет совсем; очень живые глаза, умные, знаешь, такие… понимающие.

– Как у Пролетки, – подсказал лукавый Андрей Иванович имя любимой друзьями серой в яблоках кобылы, принадлежавшей брату Кайсарова Паисию.

– Твоя насмешность несносна, наконец!.. Жеребячество не всегда уместно. Мы же не в полку моем. Слава Богу, там наслушался. О тебе понимал всегда по-другому.

– Прости, брат Андрей. Прости меня бесчувственного.

– Верно, что борясь с проблесками чувств, становишься сам чурбаном.

– Ну, не дуйся, право… О девицах, так о девицах поговорим. Я не прочь.

– В деревне в меня одна так влюбилась! Я ей рассказывал пьесы Шиллера и Коцебу, отдельные сцены показывал в лицах. Она все молчала и молчала, пожирала меня очами. Знаешь, до чего ж приятно! Мне же немогота пришла в ум: поцеловать ее…

Друзья улыбнулись и переглянулись.

– Ты не писал мне! И что же? Ты так с ней и не объяснился?

– Слава Богу, что нет, – сказал Кайсаров. – Ведь она мне и не нравилась.

– Скажи-ка, чудная оказия: умом все понимаешь, что девица нехороша или так себе, а целовал бы и обнимал все равно с жаром?!

– Блажен, кто ведал волнение страсти! Природа! Говорят, брат, она слепа. Так самому надо иметь глаза.

– Постой, ты писал мне про ту, что глазами отыскал. – Андрей Тургенев вспомнил это письмо Кайсарова из Саратовской губернии. Он, конечно, вспомнил его в общих чертах, но мы здесь приведем его в точности.

«Ты желал знать, мой милый друг Андрей Иванович, ту, которую я так люблю; изволь, брат, изволь! Для тебя у меня нет ничего скрытного. Один только ты имеешь право на мою доверенность… ты только один умел вкрасться в мое сердце и заполнить его, во сто раз более, нежели та, о которой у нас ниже сего будет речь… Сладко иметь такого друга, каков ты!

Это да будет вступлением. Теперь приступим к той материи, о которой трактовать я намерен. Представь себе ангела красотою и душою; доброе, милое творение, это Арсенева (не та, которую ты у нас иногда видал; она им почти не родня). Девушка в 16 лет, толь-  
ко этот ангел немного ветрен, по примеру всех благовоспитанных нынешнего света девушек. Не буду более тебе ее описывать. Я могу ошибаться, то есть хвалить то, что тебе бы показалось дурно… Зимою она будет в Москву; я найду случай тебе ее показать и если ты скажешь, что она дурна, то и я с тобою соглашусь в этом. Вот как я на тебя полагаюсь! – Ее зовут Софиею. Не правда ли, что самое прекрасное имя?..

Печать молчания должна сохранять это письмо и никто, кроме тебя, никогда не должен его видеть.

Прости.

Весь твой А. К.»

– Да не глазами, а сердцем, – продолжал Андрей Сергеевич, не подозревая о подробных воспоминаниях друга.

– Целовал? – допытывался до дела Андрей Тургенев.

– Осмелился. Горел весь. Знаешь как: ручки, пальчики, а потом и щечку, а там и губки. Вырвалась только… Чуть не исцарапала.

– Ну и хват!

– Да уж, испытать природу не упущу… А ты, брат, как же? Сандунова – пустое! Одна видимость. Да и те деревенские куклы резвые… Разве тебе это надобно? Андрей Иванович, дорогой мой, как я хочу счастья тебе. Все б кажется отдал, чтобы ты был весел и счастлив. Неужто сердце молчит?

– Боюсь своей природной бесчувственности, о которой все наши говорят. Мы дети не только отца, но и матери.

– Не верь, не проверив!

– Ты прав. Честно признаться, в душе это держал. Откровенно скажу, конкретности никакой нет, а вот явление какой-то музыки неясной было. Я сейчас как раз эту музыку вспомнил.

– Ну, брат, расскажи, расскажи.

– Однажды на концерте в Благородном пансионе увидел, как Александр танцует с какими-то девушками. Причем, различие смутное: их было три, как одна. Он – то одну подхватит из этого воздушного бело-розового букета, то другую, а может и с одной все танцевал, а мне казалось, что со всеми. Я позавидовал брату. Никогда не видал его лица столь счастливым! В нашей семье вообще ничего подобного не видал. Я был поражен и необычно милыми, воздушными созданьями, чьи лица так и не запомнились, и особенно счастьем, излучавшимся от них и Александра. Счастье, счастье! – как мне его захотелось!

Музыка, ты правильно сказал, призывает чувства, или мо-  
жет наоборот, – чувства музыку притягивают… Вдруг я затосковал. Вместо того, чтоб пойти в веселый круг, стушевался, вспомнил о хромоте. Впрочем, я проверял раньше: на танце она незаметна вовсе. Но показалось, что я в чём-то не готов. Одет не так… Хотя лучшее, что есть, было на мне… Не знаю. Смутился и затосковал. И не ушел, и не подошел к компании. Стою, и музыка пронзительная вьется змеей, под самое сердце забирается. И больше ничего.

– Да не сон ли ты мне рассказываешь?! Ты словно спишь.

– Нет, не сон.

– И как же имя этих особ?

– Соковнины-сестры.

– Так в которую ты влюблен? Ведь их, я слышал, три.

– Ни в какую я не влюблен. Сам не знаю.

– Задача! О, слышишь, даже мой вороной вздохнул глубоко. Как-то надо прояснить все. А девиц я сам видел издали на пансионских спектаклях. Прелестны! Прелестны! Но я им не представлен. Добивайся Александровой милости, чтоб познакомил. Куда ему три?! Пусть уступит одну…

– Уж не смеешься ты над моей откровенностью?

– Боже упаси! Несчастная твоя подозрительность! Полон рвения помочь…

Подъезжали к дому. Разговор затих ввиду близкого жилья, убыстряющейся трусцы лошадей, чуявших конюшню, и часто попадавшихся прохожих.

Ни в ближайшие дни, ни этой осенью, ни вообще в этом 1800 году Андрей Тургенев не познакомился с Соковниными; подавлял смутный, смущавший его непонятный интерес к ним, держал подспудные предчувствия на запоре.

Соковниных было много. Их шумная, веселая семья состояла из восьми человек и жила на углу Пречистенки и Девичьего поля. Мать, вдова Анна Федоровна, ещё не старуха, бойко выезжала в свет, вывозя напоказ свое многочисленное семейство из четырех сыновей; Михаила, Николая, Павла, Сергея Михайловичей (о последнем известно, что он был поэтом; и что публично изъяснился в любви жене Вяземского) и трех взрослых дочерей Варвары, Екатерины, Анны Михайловны.

Иные из ребят учились в Благородном пансионе, и знакомство Тургеневых с Соковниными началось как-то с мдадшинства. Те-  
перь уж трудно припомнить, кто из братьев 3 февраля 1799 года пригласил Александра Тургенева и Воина Губарева к себе на домашнее торжество. Торжество было двойное: мать и младшая дочь – обе Анны – праздновали свои именины. Народ собрался разных возрастов, соответственно именинницам. Между прочим, Александр увидел там на почетном месте и Прокоповича-Антонского.

Одна из именинниц – естественно, это была юная непосредст-  
венная Анна Михайловна (Анна вторая!) – произвела неизгладимое впечатление на миловидного лицом и видного ростом тогда пятнадцатилетнего Александра Ивановича Тургенева. Этот день запомнился ему на всю жизнь, безо всякого преувеличения в этой фразе. С братом Александр не делился своим очаровательным открытием. И бывал ли? И сколько раз бывал у Соковниных? – покрыто тайной.

Андрей Иванович увидел сестер в конце января 1800 года, ко-  
гда в его душе ещё теплилось увлечение актрисой Сандуновой, и он не готов был к столь ошеломляющей встрече (именно такой она оказалась с Соковниными у Александра). Видно, что первое наблюдение за ними со стороны в пансионском концерте, о котором он рассказывал Кайсарову, произвело сильное впечатление на Андрея Тургенева. Он записал в дневнике 30 января 1800 года: «Вчера (воскресенье) был я в пансионском концерте, где очень завидовал, так сказать, Александру, который танцевал с прекрасными девушками».

Но и тогда, как мы знаем, он с ними не познакомился.

Осенью этого же года Паисий Сергеевич Кайсаров, разговорившийся с Андреем Тургеневым о разных столичных новостях, спросил между прочим, не слышал ли он истории с Соковниной?

– Как же? Нет! – сказал, в душе очень заинтересованный, Андрей Иванович.

Паисий Сергеевич с малейшими известными ему подробно-  
стями, которые недавно узнал от своего одногодки, дотошного к вестям юнкера архива иностранных дел Александра Булгакова, рассказал, как из дома Соковниных, считавшегося в меру состоятельным, довольно благополучным и даже просвещенным, исчезла старшая дочь – Варвара Михайловна.

– Вообрази! – сверкнул очами, совсем как брат его Андрей, Паисий Сергеевич. – Она ушла из дому своей матери и, наконец, мать получила письмо из деревни за двадцать верст от Москвы, что она навсегда останется крестьянкою и никогда не хочет в Москву возвращаться.

Событие это взволновало Андрея Ивановича так, что он захотел с нею (вернее, с ними, Соковниными) познакомиться.

Сам по себе уход молодой девушки из дому – с чем бы он ни связывался – в глазах юношей тех лет выглядел как Поступок. Обращало на себя внимание необычное поведение девушки, показывающее: каков характер!

Тут же Андрей Тургенев набросал для Варвары Михайловны посвящение к немецкому изданию «Вертера» (которого переводил, но окончание работы ещё не брезжилось) и написал стихи. Все переслал Жуковскому вместе с пересказом разговора с Паисием Кайсаровым.

Мы не знаем, стала ли счастливее от своего смелого поступка Варвара Михайловна. Но точно известно, что Андрей Иванович Тургенев был представлен Соковниным 9 января 1801 года (за не-  
сколько дней до открытия Дружеского литературного общества) на концерте в Благородном пансионе. В этот раз он пытался смотреть на сестер внимательнее, различить их и обдумать, в чем это различие. Сестры, однако, были на первый раз мало проницаемы, лишь одна Анна Михайловна, как самая юная и непосредственная, оживлялась и веселилась подле Александра Ивановича Тургенева, как только он появлялся рядом.

Странно, что всякое чувство в этот вечер было словно заморожено; одна общая тревога легким сквознячком проносилась в душе Андрея Тургенева и не давала развиться веселой беспечности. Он чувствовал себя стариком рядом с резвыми молодыми. В этот вечер он ещё не сделал никакого вывода о сестрах. В дневнике, однако, записал: «Как мила была Анна Михайловна! В ней много сходства с Сандуновой, особливо в голосе. Тут-то, видя, что я должен уступить брату и другим в наружности, я чувствовал в груди своей пламенное желание сделаться почему-нибудь примечательным: переведу «Вертера», буду как-то марать стихи; может быть удастся что-нибудь и изрядное. Послезавтра у них обедаю».

А тут уж наступило и 3 февраля – день двойных именин, – там ещё и еще…

Анна Михайловна писала стихи, была очаровательна, шумно весела и кокетлива, она желала нравиться всем.

Физический недостаток Андрея Ивановича давал себя забывать. И недостаток тот, право, был невелик. Андрей Кайсаров писал о нем так: «Я знал много русских пословиц; но, к несчастью, они не все справедливы: например, этой пословицы к вам применить нельзя: в семье не без урода. Правда, вы с Николаем прихрамываете, но ведь, брат, немножко. Я бы желал хромать на обе ноги, лишь бы на тебя быть похожу». По тем наступавшим романтическим байроновским временам легкий недостаток братьев Тургеневых делал женское сердце ещё чувствительнее, к чувствительности примешивалось немного материнской или, может, сестринской жалости.

Анна Михайловна кокетничала с Александром и Андреем, а Катерина Михайловна повсюду искала Андрея Ивановича своими пронзительными, умными, глазами, глядящими прямо в душу, и молча внимала шуму праздничного веселья. Этот неотступный, женский именно, в котором не было совсем детского, незрелого ума, этот нешуточный взгляд тревожил Андрея и льстил его самолюбию. Начались нежные разговоры вполголоса.

Первые дни они вглядывались друг в друга.

Была какая-то во всем сплетении сестер и братьев, переплетении любовных взглядов и в смешанных неясных чувствах очаровательная игра на грани меж детским и взрослым ощущением, игра эта затягивала, входила в некий мягкий бархатный азарт, ласкавший лучшие, глубочайшие, затаеннейшие чувства.

В дневнике, после вечера 3 февраля 1801 года, Андрей Ивано-  
вич записал: «… Дочери отменно любезны. И видно, Анна Михайловна со всею резвостью и наивностью имеет какую-нибудь твердость. «Я не могу иметь с вами секретов», – сказала она мне довольно важно. Ах, если б когда-нибудь мог я сжать ее в своих объятьях! Характер у ней, если не ошибаюсь, редкой. Право, думаю, несколько лет прожить бы с ней одной в деревне. Катерина Михайловна очень любезна. Она просила у брата стихов моих на Варвару Михайловну. Бог знает почему о них она узнала. Но я с Анной Михайловной в странном положении. Надобно прохладить, успокоить, отделить себя от нее, совершенно перестал думать и ничего из этого не составлять. И теперь, право, не понимаю что: любви нет; может быть, – одно самолюбие. Теперь не знаю красавицы, на которую бы променял ее. Как она мила!»

На первый взгляд, как много эмоций, чувств в этих записях в дневнике! Однако, вспомним предыдущий разговор Кайсарова и Тургенева. Чем отличается мужская дружба от дружбы с женщи-  
ной? – Тем, что рассудок в одном случае как бы отдыхает, а в другом случае работает. Здесь все наполовину. Эмоции как будто взыграли, и чувства бродили, словно молодое вино, однако рассудок не отдыхал. Как думает выделиться среди других Андрей Иванович (в первой записи)? Чувствами? Службой обожания и преклонения перед девушкой? Или, может быть, безрассудным поступком? – Нет. Он собирается трудиться в тиши кабинета, перевести «Вертера», писать стихи, прославиться на поприще литературы в надежде, что девушка оценит и поймет его именно как труженика и талант. Но ведь на это уйдут годы. То ли нужно молодой девушке от ее обожателя?! В рассуждениях Андрея Тургенева любви мало места.

Во второй записи видим: он ещё больше понимает, что рассудок работает и анализирует, препарирует чувства с холодностью хирургического скальпеля. Сам себя спрашивает, сам себе дает врачебные (для лечения души) советы. Сам определяет диагноз, прозревает догадкой: «любви нет; может быть, – одно самолюбие». Слово серьезное. Его ставил в вину всему человечеству чтимый Андреем Тургеневым И. В. Лопухин. «Самолюбие» в восемнадцатом веке по сути заменяло новое, но уже известное Тургеневым слово – «эгоизм». Самообвинение, даже в секрете дневниковой страницы, звучит как громкий приговор, как признание тургеневской «бесчувственности», о которой время от времени семье напоминали… Тут же Андрей Тургенев пугается и снова восклицает, как бы искусственно подогревая былой восторг: «Как она мила!»

Но кто?

10 апреля Андрей Иванович пишет Анне Михайловне «Стихи на неверность друга». И тут же записывает в дневнике: «В пятницу св. нед. Александр показывал им неоконченную элегию. Несколько времени спустя, я встретился с ними у мебельных лавок, и что гово-  
рил там, для того сюда не вписываю, что никогда этого не забуду. О рассудок! о сердце! о – человек! о философия! о хладнокровие! о я!!»

Сомнения стали все более путанные, знаки все более неясные, все ближе и ближе подходил Андрей Иванович к тому, чтоб отдаваться хоть иногда воле чувства.

Он, Жуковский, Костогоров, Александр любили ездить к Соковниным (Кайсаров туда зван не был и познакомился с ними позднее). Если один из Тургеневых не мог ехать в какой-либо день, считалось, что он нынче приносит жертву брату. Александр Иванович питал чувства цельные. Андрей Иванович был все ещё раздвоен, рассудочен и раздосадован на себя самого.

6 июня он делает запись: «Я люблю сердечно Екатерину Михайловну! Можно ли смотреть на них без некоторой сердечной горести? За пять лет Катерина Михайловна тоже была весела, резва и беспечна, как Анна Михайловна. Теперь она задумчивее, важнее; через несколько лет все, все увянет, померкнет в удалении от мира. Анна Михайловна теперь как милый, добрый младенец, но в нежности сердца ее таится семя будущих ее горестей. Я предчувствую, что она не вечно сохранит эту веселость, эту беспечность и резвость. Теперь роза ее эмблема; скоро, может быть, будет унылый кипарис. Как больно смотреть на них с сим воображением!»

Люди, которым суждено рано умереть, рано становятся мудрецами и как бы стариками в душе. Старость они переживают незаметно для глаза. И только наедине с собой позволяют такие, ничего не имеющие с юностью и любовью, во многом рассудочные размышления о предмете своего интереса. Но впрочем, может быть, мы ошибаемся, Андрей Тургенев ничего такого не предчувствовал, а мрачные размышления навеяны чтением западно-европейских романтиков – немецких, ведь немецкий язык Тургеневы знали в особенном совершенстве; и английских, потому что Андрей Иванович, готовившийся, по настоянию родителей, к дипломатическому поприщу, тогда усиленно изучал английский. Виноваты, скорее всего, мрачные романтики.

Потому что второго октября в дневнике появляется запись, достойная юноши, полного живых чувств: «До какой фамильярности я дошел с ними! Как я люблю Анну Михайловну самой братской любовью! Как она мила, какой ум, какое сердце!»

Конечно, мы не до конца верим запечатленным умным пером восторгам, ибо и в них встречается одно охлаждающее душу выражение: «самой братской любовью!» Но может быть, это и верно? Истина и благородство для Андрея Ивановича всегда гораздо дороже.

Товарищи Андрея Тургенева не остаются в стороне от такого важного дела в судьбе друга и вожака – выбора любимой девушки. Событие делается предметом дружеских тайных совещаний, разго-  
воров, споров, участия, завидования. Все невольно становятся вовлечены в любовную атмосферу под знаком «сестер-прелестниц», как называет быстрый на слово Кайсаров сестер Соковниных. К тому же и Жуковский тогда же был влюблен в подругу Соковниных.

1801 год – год наиболее интенсивной жизни тургеневского круга (хотя в дружбе, дружеской любви, согласии кульминацион-  
ной была осень 1800 года). И не только потому, что в этот год действовало Дружеское литературное общество, но и потому, что любовь стимулировала молодую энергию сердец к бурному общению. Они не уставали днем переводить и читать, писать по несколько писем и записок друзьям с подробными мыслями и событиями дня, устраивать шумные «поддевические» Собрания со спорами и вином, с песнями и стихами. Они успевали до изнеможения танцевать на балах, любезничать с молодыми девушками, выполнять поручения родителей и обязанности относительно родственников, почти всегда для них тягостные. Андрей Кайсаров успевал ещё служить, а также готовить роли, играть в спектаклях. Это был год самых хмельных чувств для всех друзей.

Как же братья Тургеневы «размежевались», ведь им обоим нравилась Анна Михайловна? Они колебались, были склонны к тому, чтоб победителем в поединке сделалось благородство и братские чувства. Пыл Андрея Ивановича охлаждало то, что Анна Михайловна ещё раньше познакомилась с братом, и тот любил ее уже два года. Чувства Александра Ивановича тоже затормажива-  
лись при мысли, что соковнинские отношения могут его навеки рассорить с братом, и каким братом, – которым все гордились, а он сам любил, кажется, больше самого себя.

Позже Александр Иванович напишет: «… Соковнины связали нас с братом ещё больше, мы ещё более узнали любовь нашу, цену нашего братства; узнали, что мы можем и умеем сделать друг для друга величайшее пожертвование. Что других могло разлучить, расторгнуть навеки друг от друга, то самое нас теснее связало, приближило».

Причем ещё весной 1801 года Александр был влюблен страстно. Они встречались с Анной Михайловной часто. Бывали в маскарадах и концертах, на именинах у друзей, в театрах. Второго марта, например, вся молодая компания назвала гостей, «стали играть русские песни», и все «пошли вприсядку и дурачиться». Александр Тургенев, вытанцовывая с Анной Михайловной по самым дальним и слабоосвещенным уголкам залы, упал на руку и вывихнул ее в кисти. Однако, вернувшись домой в десять вечера, не удержался и написал Жуковскому: «Боль у меня теперь страшная; однако же я не перестаю дурачиться, утешаясь тем, что и Анна Михайловна при таком же случае вывихнула руку; я рад и страдать тем же…» Поистине, только влюбленный может радоваться несчастью удвоенному (а может быть, разделенному на двоих)!

Катерина Михайловна тем временем страстно влюбилась в Андрея Тургенева. При выходе из темной театральной ложи, она незаметно брала его за руку и в тесноте прижимала эту руку к груди. При встречах ее сердце трепетало. В разговоры она старалась вставить намеки на свое к нему отношение. А что давали разгоряченные взгляды!

На другой день сомневающийся Андрей Тургенев шел к Со-  
ковниным с мыслью, как получится? Кто больше ему понравится сегодня? Словно сторожа его, ясноглазая, свежая и счастливая Анна Михайловна первой выпрыгивала навстречу. Опять сомнения! Танцы, полумрак, струящийся шелк платьев то одной, то другой обволакивали, как туман. Свечи догорали и чадили. Шелк девичьей кожи, горячие губы – все опьяняло.

А днем – словно ничего не было серьезного, и опять все становилось неясным. Мистика какая-то!

Трудно рассказать в подробностях, как развивались тягостные сомнения в своих чувствах к Соковниным у Андрея Тургенева. Но случилось неожиданное для всех. В середине ноября 1801 года Андрей Иванович уехал а Петербург, увезя с собой, вкупе с хором дружеских сожалений, и сердце Катерины Михайловны.

Любовная история перешла в письма. Что-то от нее перепадало и в письма друзей. Прежде всего Жуковского и Кайсарова.

Андрей Тургенев писал Катерине Михайловне о своей любви и о готовности всем пожертвовать. Мы не вправе сомневаться в его благородстве, хотя сила самого благородства, его глубина оставалась никем не измеренной.

Катерина Михайловна отвечала, что недостойна того, чтоб он пожертвовал своим счастьем, карьерой, уговаривала его не отказываться от предстоящей поездки за границу, так как не хотела идти против воли его близких. Вместе с тем, она просила отбросить сомнения, которые его тяготят, ибо никакая сила не принудит её изменить Андрею Ивановичу: «Я тобой любима, мысль эта служит мне большим подкреплением. Но, друг мой, воображение мне так приятным представляет видеть тебя, слышать, ласкать, а я ему предаваться не смею, не имея на то полного позволения, т. е. закона…»

Девушка, как видим, ведет себя более раскованно по отношению к любимому. Она приняла для себя решение раз и навсегда. Разве можно остановить девушку, бегущую за любовью?! Ничто в её ощущениях не может сравниться с призывом опьяняющего и упоительного хаоса чувств! У Катерины Михайловны нет никаких сомнений: «Знай, друг мой, что твои права надо мной уже для меня священны… Приезжай, друг мой, соединиться, соединиться навеки… Я пишу к тебе, вижу твой образ… Ах, возвратись меня целовать!»

Казалось бы все ясно. Но ведь дальше личных встреч нет. Роман развивается только в письмах.

Опять наплывают разъедающие душу сомнения. Хорошо ли поступил, дав Катерине Михайловне четкую надежду на словах и на деле? Андрей Тургенев теперь с ужасом находит свои отношения к ней слишком холодными. Об этом пишет Жуковскому (который сам тогда был влюблен первой любовью в Марию Николаевну Вельяминову из компании Соковниных, в 1801 году выданную замуж против ее воли за нелюбимого, но «хорошего» человека Свечина); и поверяет своему дневнику. Кайсарову этого не пишет. Хотя другие свои похождения, часто очень живые, друзья доверяли друг другу, взаимно подтрунивая, и радуясь в то же время своим успехам «в девицах».

Андрей Сергеевич был насмешлив и нетерпелив. Узнав о его любви к Соковниной, все подгонял Тургенева «честным пирком, за свадебку». Соединив влюбленных в своем летучем воображении, писал: «Как вдали вижу тебя и Катерину Михайловну – уж связанных навек, живущих счастливо». Кайсаров страшно любил счастливых людей, любил смотреть на них. Он писал Андрею Тургеневу: «Я так был восхищен похвалами Катерины Михайловны… Что за превозлюбленная дева! Как досадовал я: для чего в прошлый раз не ты, а Жуковский сидел подле нее. То-то бы полюбовался, на вас глядя! Посмотрел бы, как вы изъясняетесь! Досадно!»

Да, он был нетерпелив, торопил друга, понукал, помогал советами, кидался организовывать что-нибудь. В разговорах делал акцент, намекал. Не бестактно, невинно, от всего сердца. Однако, это надоедало, тяготило. Сам Тургенев ещё не прояснил, каково его чувство. А Андрей Кайсаров торопил, торопил. От этого чувство становилось ненавистным. Нет, Жуковский куда как тише! Он молча смотрел на друга расширенными понимающими глазами, безгрешными до самого дна, и всегда выражал готовность все сделать, но только если нужно, сам не навязывался.

Жуковский же не смог понять смысл сомнений Андрея Ивано-  
вича и поддерживал в Соковниной, очень ему нравившейся, иллюзию надежды. Может по-своему он желал счастья друга, и, как Кайсаров, в душе мечтал соединить столь подходящие сердца. Да, подходящие! В этом никто из современников не усомнился. Серьезная, работящая, начитанная, умная Катерина Михайловна как нельзя больше подходила Андрею Ивановичу. Друзья мысленно их уж соединили.

Василий Андреевич показал письма друга с сомнениями Катерине Михайловне. Это ее огорчило, она писала Андрею: «Ах, друг мой! Твоя связь со мною тебя гораздо более смущает и беспокоит, нежели услаждает».

Кайсаров не упускал случая написать другу о «сестрах-прелестницах», которые и самому ему нравились. Он и теперь не оставил привычки любить то, что любит его друг. С ревнивыми подробностями он описывал Андрею Тургеневу все встречи с Соковниными.

Но Андрей Сергеевич посылал другу и другие вести: «Вообрази, что со мною случилось в деревне. Одна девушка, Булгакова, влюбилась в меня. Ну мог ли я этого надеяться! Мог ли думать, чтоб кто-нибудь мог полюбить такую харю; но со всем тем влюбился, и если б я пробыл ещё дни три, то мне было бы объяснение по форме… Я полюбил очень другую девушку предобрую, премилую, преумную, в лице которой очень много похожих мин на Анну Михайловну. Она меня очень полюбила – и ежели ещё несколько часов: то я не знаю, чего бы я наделал!

Так-то делается все на свете! Я ехал в деревню лечиться от телесных болезней; но вместо того, чуть, чуть не занемог сердечною, Соковнины уехали в деревню вчера. Я, приехав из деревни, успел увидеть их третьего дни. Я ехал на Воробьевы горы, они сидели под окном и ели стручья, увидели, что я еду, засмеялись и стали скорее прибирать свои закуски, я и сам застеснялся, и мы, видно, поняли друг друга. Часа через два они жаловались Александру, что я смеялся над их закусками. Знаешь, как рад я был, что увидел Катерину Михайловну!..»

Всяческая «помощь» любви Андрея Ивановича Тургенева со стороны друзей не увенчалась успехом. Сомнения его самого в ис-  
тинной влюбленности, постоянные раздумья о природной тургеневской холодности, угнетающая душу мысль о том, что он совершил непоправимую ошибку, обнадежив Катерину Михайловну, тем как бы обрекая ее на будущий брак с нелюбящим ее человеком, а также не менее тягостная мысль, что и себя он рано лишает свободы, столь им любимой, – не давала ему покоя. Весь узел страстей находился в руках Андрея Ивановича и не был подвластен друзьям. Только дневниковые записи обнажают душевные раны Тургенева.

Откровение в дневнике 29 января 1802 года И. М. Истрин назвал «полной картиной своего мучения»: «Это величайшее пятно в моей жизни. Я не любил ее, не был влюблен, а говорил ей о нежности и с таким притворством. Она предавалась мне, забывая себя, со всем жаром святой, невинной, пламенной страсти. Как я отвечал ей на то письмо, где она пишет о своих мечтах и надеждах? Я писал, что наверху блаженства… Наверху блаженства! Чувствовал ли я это, когда все сомнения от меня и во мне больше гораздо, нежели от посторонних причин? Что она ко мне почувствует, когда страсть уступит место холодному рассудку, когда она спокойно будет переживать мои письма? Как смыть это пятно?»

А иногда он думал: «Может быть, я, сам не зная, люблю ее?»

Полную картину своего мучения он передал преданным друзь-  
ям и сердечным поверенным в Москве – Жуковскому, Кайсарову, и брату – в «коллективном» к ним письме ещё раньше 5 января: «… Лихорадка проходит, но душа моя не выздоравливает. Не перестаю думать о Катерине Михайловне. Что с нею будет? Когда воображу, что другой владеет ею, то это меня волнует. Когда воображу, что она так пламенно меня любит… и вздумаю, как мало судьба клонит к нашему соединению, и что, может быть, я сделаю ее навек несчастливой, когда все это воображу, то вообразите, каково мне бывает в такие минуты, а других минут, кроме этих, мало. Не поверите, как душа моя мертва и уныла и как я при всем том страдаю. Вы должны, друзья мои, прохлаждать ее сердце; старайтесь удалить ее от мыслей… Послушай, Александр, не заводи ради Бога, ничего серьезного с Анной Михайловной, не учреждай переписки; это говорит тебе горестная опытность брата и друга; ты видишь, во что я увлечен».

Почему у Тургеневых был такой страх перед женитьбой? Из че-  
тырех братьев только один – Николай – был женат в довольно зрелом возрасте, чуть ли не в конце своей жизни, на иностранке, живя всё время на чужбине, так что одиночество и болезни были не последними факторами в желании обзавестись супругой. Надо думать, что страх этот подспудно создала сама их семья. Ведь первые идеалы будущих супругов вырабатываются из наблюдения над жизнью своих родителей. Если мать кажется сыну самой прекрасной женщиной, то и невесту он выбирает, держа в уме уже знакомый эталон. Если мать обладает недостатками, то сын ищет жену непременно лишенную этих недостатков, хотя б у нее были ещё горшие другие. И так же дочери смотрят на отца, видя в нем первого мужчину на их пути, и всех измеряя потом известной им мерой.

Катерина Семеновна, мать Тургеневых, была женщиной малообразованной, грубой, своевольной, лишенной гуманности по отношению к крепостным и дворовым, она алчно любила деньги, играла в карты, проигрывая огромные суммы, с сыновьями говорила в основном о карьере и делах. Духовной близости не было, как и любви к матери, она заменялась обязанностью сыновней любви, умением исполнять всё, что требовал семейным этикет того времени. Катерина Семеновна держала в руках дом, «доставляла» средства из имений, попрекая домашних и понукая к труду, и труду денежному. Постоянная бранчливость матери застыла в крови сыновей, как броня. Эта броня никогда бы не допустила в их семью женщину, подобную Екатерине Семеновне.

Весь этот семейный ужас не мог вдохновлять сыновей на ско-  
рую, по крайней мере, женитьбу. В каждой цветущей жизнерадостной невинной девушке они боялись однажды увидеть разнузданную фурию, какою иногда выступала Катерина Семеновна. В самостоятельности сестер Соковниных – Варвары, ушедшей из дома, и Катерины, полюбившей Андрея первой и признавшейся смело мнительному Андрею Тургеневу виделась угроза его будущему счастью и свободе.

Катерина Семеновна и сама внушала сыну (в грубоватых порой выражениях), что успеется: незачем спешить с браком. Человек свободный, холостой и к тому же неглупый может занять более высокое положение, чем даже предназначено ему от рождения; в какой-то мере, если не обмануть, то цепко схватить фортуну за руку. Он может в светском обществе стать на равную ногу с самыми именитыми людьми. Куда труднее это женатому. Брак словно вводит всех людей в назначенные рамки, и зачастую их же замыкает крепким замком.

Кайсаров же, наоборот, боялся, чтоб Андрей Тургенев не пропустил своего сердечного счастья и насладился им вполне. Чтоб он, наконец, перестал себя мучить и был счастлив: любил и был любим. О мнительности Андрея Тургенева справедливый и остроумный Андрей Кайсаров писал: «… Ты с твоею мнительностью можешь и в почерке найти следы эпидемической болезни».

Андрей Тургенев старался выбрать менее угрожающие его свободе развлечения. Например, за время отъезда из Москвы у него был продолжительный роман с одной бароншей, за что он получил выговор от Кайсарова. Андрей Иванович очень ценил мнение друга, зная, как тот его любит, как ему предан. По возвращении он записал в дневнике о Катерине Михайловне: «Теперь перечитывал ее письма, и каким сильным утешением было мне то, что у меня есть Андрей Сергеевич: в нем больше всех найду я подпору бодрости себе. И в брате».

Молодой человек любит страстно, испепеляющей душу страстью, но проходит она быстро, как дым, возносясь к небу и растворяясь бесследно в его высях. Разве кто-нибудь вокруг в это время был бесстрастен? Считалось нормой быть красивым, привлекательным, умным, веселым. Такой очаровательный человек не мог вести только тихую жизнь. И жизнь была бурной, полной встреч, умных писем, бесед, споров, любовных изъяснений, многозначительных взглядов. Всякий молодой человек стремится быть неиссякаемым источником ума, знаний, талантов, заниматься чем-нибудь интересным для других и для себя самого. Так жил Андрей Тургенев, был замечен и любим друзьями.

К середине 1802 года имя Катерины Михайловны почти не встречается в дневниках Тургенева. Видно этот сентиментальный, совершавшийся в воображении и письмах, роман подходил к концу.

А через несколько лет Катерина Михайловна умерла, так и не выйдя замуж, оставшись верной своей первой любви и своим юношеским обетам.

Анна Михайловна позже вышла замуж не за Тургенева, а за Павлова, писала стихи, и, возможно, была счастлива. Бывшие ее друзья из Тургеневского круга тоже вспоминали о ней хорошо. Встреча с «сестрами-прелестницами» не прошла для них даром.

Соковнины стали для Тургеневых и Кайсарова эталоном женственности, грации, прелести, красоты и гармонии. Встречая в обществе новых и новых женщин (не обязательно им принадлежащих), которые были хороши, друзья говорили: «В ней есть что-то соковнинское». С Соковниными было связано представление о высоком, чистом юношеском чувстве, настраивающем на все благородное, связаны романтические слезы и священные обеты, навсегда остающиеся в рамках молодости и не переходящие в другие возрасты.

Александр Тургенев навеки хранил в душе дорогой образ своей первой любви. Через много лет после описываемых событий, в 1818 году, он писал Жуковскому: «Я выставил (портрет) 3 февраля на память об Анне Михайловне, которой образ оживотворился в душе моей при чтении записок Андрея Сергеевича, на сих днях мною найденных в чужих руках. Минувшее для меня воскресло… Там вся наша молодость! Молодость!»



Глава восьмая

«Простите, игры золотые!»

Н

а престол вступил Александр I.

Лето 1801 – лето 1802 годов – печальный год первых утрат и многих расставаний, которые никак не укладывались в голове Андрея Сергеевича Кайсарова, и целый год он не мог с ними сжиться. Это расставание с лучшим, любимым другом; утрата дружества – такого дорогого круга несхожих умов и неравнодушных сердец; разрушение прекрасного круга общения ровесников, родившихся как личности из единомыслия и одинаковых условий – словно вышедших из одного материнского чрева.

В июне 1801 года все разъехались из Москвы как бы на каникулы. Но на самом деле навсегда. ещё никто не знал, что друзьям всем вместе, всей десяткой членов Дружеского литературного общества хоть однажды не суждено будет собраться.

Жуковский тогда уехал в Белёв. «Воейкова поминай как звали! Он в Рязани», – писал Андрей Кайсаров. Тургеневы семьей укатили в свое симбирское имение. Петр Кайсаров находился в Петербурге ещё с весны. Вслед за ним отправились туда Семен Родзянко и Михаил Кайсаров. Андрей Кайсаров тоже ненадолго ездил в свои саратовские и рязанские деревни, но вынужден был быстро возвратиться к службе.

Осенью Андрей Иванович Тургенев получил назначение в Петербург, откуда он должен был с дипломатической миссией в качестве курьера отправиться в Вену (где в конце мая 1802 года начал служить уже в должности императорского секретаря).

Последнюю ночь перед отъездом друга Андрей Кайсаров провел в доме Тургеневых, в одной комнате с Андреем. Бльшую часть ночи проговорили. Проводы прошли как в тумане. В расставание слишком не верилось.

Проводив дорожную кибитку и вернувшись в опустевший для него дом Тургеневых, Андрей Сергеевич плакал горькими безутешными слезами. Этими слезами управляли тяжелые предчувствия и тоска по утраченной счастливой и беззаботной жизни. Он понимал: больше им не жить вместе, такого дружества не будет никогда.

Вся сила обрушившейся на него печали выражена Андреем Сергеевичем в первом письме в Петербург, можно сказать, написанном горючими слезами через несколько часов после отъезда друга; в нем отражено разрушение в душе, которое произвел отъезд: «Я расстался с тобой, мой любезный брат и друг, для того, чтоб научиться плакать; для того, чтоб чувствовать всю истину того, что я теперь. Ах! Я ее очень чувствую! Никогда не будет для меня никого милее тебя, ни к кому я так сильно привязан не буду, как к тебе, моему любезнейшему, бесценнейшему другу. – Как дорого заплатил бы я за то, чтоб разорвать все цепи, меня связывающие, и лететь к моему милому Андрею!..»

Грусть Андрея Кайсарова, тоска и предчувствия, что они с Андреем Тургеневым и всеми друзьями не будут вместе, казались совершенно неизбывными. Он часто бывал у Тургеневых, где они вместе писали письма и отправляли с одной оказией. Секретов у этих двух семей не было, особенно после того, как Андрей Тургенев переехал в Петербурге на квартиру к братьям Кайсаровым – Петру и Михаилу.

Вначале Андрей Иванович жил с Семеном Родзянко, странные выходки которого делали жизнь с ним совсем неспокойной. Позже выяснилось, что Родзянко тяжело болен душевной болезнью. Вскоре он окончательно сошел с ума и умер, перед этим успев со всеми перессориться. А поскольку друзья тогда ещё не знали, что он болен, то сочли себя оскорбленными. Смерть его вызвала недоумение и жалость, но жалость эта была уже другого сорта, чисто христианская.

Живя в Москве, Андрей Кайсаров часто добровольно брал на себя все заботы по отправке почты в Петербург, Екатерина Семеновна Тургенева, писавшая с невозможной грамматикой, диктовала ему свои письма. В архиве Пушкинского дома есть одно такое, написанное рукой Андрея Сергеевича Кайсарова именно в то время: «Я долго, Андрюша, к тебе не писала, ожидая, что ты мне что-нибудь о себе напишешь; но ты меня не уведомил, был ли ты после меня у Апраксиной и у Голицыной. Меня очень беспокоит то, что ты живешь в Петербурге, и что тебя никуда не посылают. Я и надежду потеряла, чтоб тебя куда-нибудь послали, по той причине, что слышно, будто Государь изволит ехать из Петербурга; без него, верно, никаких отправлений не будет. Мне бы гораздо утешнее было, если бы ты жил вместо Широнского в Вене, а не в Петербурге. Постарайся наведаться о себе… Очень бы желала чем-нибудь быть от тебя обрадованной, а ты ко мне во всё время ничего не напишешь».

Екатерина Семеновна вела разговор о загранице, о том, какие на тамошних ярмарках можно купить шали и набивные шелка, какие фарфоровые посудины, и как, наконец, служба там выгодна.

Андрей Кайсаров мечтал пойти в отставку и вслед за Андреем Ивановичем поехать в Европу, но не из-за того, конечно, о чем го-  
ворила Екатерина Семеновна, а чтоб мир повидать. В одном из писем Кайсаров не без тайной зависти сообщает Андрею: «… Новость та, что Императорский Московский университет собирается отправить Двигубского и ещё троих в Париж учиться. Александр сходит на этом пункте с ума, и хочет просить батюшку. Пустая надежда!» А в другом письме: «Александра батюшка отпускает в Париж с Двигубским. Это меня взманило, я просил матушки позволения итти в отставку… Матушка колеблется. Я говорил ей и о Париже. На это какой ответ? Как бы ты думал? «Я бы очень рада была если б Миша нашел себе товарища ехать в Париж. А Андрюша, думаю я, не стоит этого! Он блудной сын!» Признаюсь, что эта пилюля с трудом прошла к моему сердцу… Как бы то ни было! Я надеюсь уломать ее. Стоит прибегнуть к твоему батюшке через Александра – и дело сделано».

Так оно и вышло. Наталья Васильевна долго не сопротивля-  
лась, потому что чувствовала: и здоровье, и интересы сына далеко расходятся с условиями армейской службы. Надежды не было без какого ни было рвения выслужить чины. Как женщина трезвой практики, она разрешила сыну выйти в отставку и искать других достойных занятий. Он оставил службу в чине штабс-капитана (или штаб-ротмистра) в декабре 1801 года, имея за плечами около шести лет действительной строевой службы.

Первое желание с обретением свободы – скорее, скорее вырваться в Петербург, навестить друга и братьев. В письмах он предавался воспоминаниям о счастливой осени 1800 года и мечтам. 21 декабря он пишет Тургеневу в Петербург: «Хоть с полгода пожил бы с тобою вместе! Как бы помнил я это время! Ах! Я очень, очень помню ту счастливую осень, которую провел с тобой. Мне кажется, что где бы я ни был, но я везде буду счастлив, если останется у меня это воспоминание. Ты шутил иногда под Девичьим и говорил: «Эти желтые листья, это мрачное время»… Я никогда не забуду этого «мрачного» времени, которое умел ты делать для меня светлым. Оно невозвратимо…»

У Ивана Петровича Тургенева к той поре возникли сложности на служебном поприще. Он собирался ехать в Петербург по делам университета. После нового года Тургеневы – Иван Петрович и Александр; и Кайсаровы – Наталья Васильевна и Андрей – направились двумя санными кибитками в Петербург.

Дорогой вспомнилась такая же езда по снежной замети шесть лет назад в полк. С тех пор Андрей Сергеевич в Петербург не ездил. Да и по правде сказать, его больше всегда тянуло в деревню или на Воробьевы горы, чем в столицу. С нею связывались первые тяжелые приступы лихорадки, постоянная боязнь холода и сырости, одиночество, муштра, страхи быть униженным и наказанным несправедливо. Но сейчас в холодной пучине столицы для него было теплое местечко в сердцах его любимого друга и старших братьев, живших к тому же одним очагом, на одной квартире.

Встреча была горячей, родственной. Приехавшие, в необъят-  
ных овечьих тулупах и лисьих шапках, а Наталья Васильевна в двух толстых шерстяных покрывальных шалях – каждая величиной с шатер порядочной палатки – как лесные снежные богатыри ввалились в теплую, но тесную прихожую столичной квартиры и долго расцеловывались, переменяясь, по очереди все со всеми. Отогревались горячими щами, как водится на Руси, пили чай и долго-долго разговаривали обо всем мирной дружной семьей при немногих свечах и музыкальном сопровождении беспрепятственного ночного ветра и вьюги за окном.

Андрей Тургенев рассказывал Кайсарову, с кем познакомился за последнее время, о программах театров, о Свечиных, у которых бывал по поручению Жуковского (за Свечина вышла замуж первая любовь Жуковского Мария Вельяминова). Обещал Кайсарова сводить туда и в театры, и в концерты, и в здешние собрания. Поговорили и о Соковниных, не преминув размолвиться на некоторое время.

Кайсаров заметил, что Андрей Иванович изменился, как-то ещё больше посерьезнел, реже шутил, довольно был озабочен. Андрей Сергеевич всматривался в лицо друга, пытаясь проникнуть в него. Ему казалось, что сокровенное куда-то упряталось в недосягаемую глубину, и лицо друга стало не менее петербургским, чем у всех столичных молодых людей.

Андрей Иванович тоже тосковал о былом дружестве. Он жалел, что Дружеское литературное общество – такой прекрасный замысел! –распалось так быстро. Он думал, что это, может быть, на время, не навсегда…

– Нет, брат Андрей, не обольщай себя мыслью утопической, – говорил Кайсаров. – Неужели ты думаешь, что Собрание распалось потому, что многим не хватало времени ездить в дом Воейкова, засиживаться до двенадцати, а потом тащиться по грязи без экипа-  
жа в пол-Москвы? Или что день субботний кого не устраивал?.. Нет, брат! Начали мы все в разные стороны тянуть: Родзянко к Богу, благородный Жуковский в себя ушел; Воейков призывает к французскому якобинству на русской ниве; Мерзляков вообще к дворянам относится критически и избирательно, но я его люблю… Знаешь, он с Сергеем Глинкою сблизился и хочет новое, свое Собрание создать. Остальные, кажется, и рады, что все закончилось.

– Да, жаль, жаль всего сделанного… Я хочу очень здесь возобновить наш кружок и речи того, «покойного» Собрания уже попросил Жуковского и Мерзлякова переписать и прислать, думаю договориться здесь об издании их и наших лучших сочинений. Помнишь, как Баккаревич издавал пансионские?! Какова задумка?

– Издать – очень хорошо! А насчет Дружеского литературного общества, не знаю, выйдет ли? Это правда, что нас уже здесь шестеро с Родзянкою, но и новые будут. Я, признаться, в другом составе нашего Собрания не представляю. Без Жуковского, Мерзлякова, Воейкова? – что это за споры?..

Кайсаровы пробыли в Петербурге три месяца, которые пролетели как один день. Наталья Васильевна водила двух Андреев показывать родне – своей и Тургеневых (по просьбе Екатерины Семеновны); на обедни в Казанский, Исакиевский соборы и в Александро-Невскую лавру; Иван Петрович привозил каких-то дряхлых стариков, благоухавших на лаврах масонских благодеяний. Петр Сергеевич с Магницким показывали Сперанского – новое политическое «светило» (оказавшееся впоследствии не таким уж светлым). Андрей Иванович свел друга в литературные круги, в театры. Посетили они и будуары актрис, и балы, и маскарады, и дома премиленьких невест. Видели императора и императорскую семью, ходили в кунст-камеру, в гостиный двор, в кофейню на Невском. А больше говорили дома, спорили, предавались воспоминаниям, пели. Андрей Тургенев жаловался на рассеянную жизнь в столице, не позволявшую собраться для сколько-нибудь серьезных занятий литературой. Не то что в Москве.

– Готовясь выступать в нашем дорогом Дружеском обществе, – говорил Андрей Иванович Кайсарову, – я собирался весь с полной серьезностью. За каждое свое слово, сказанное там, умереть готов. Это меня укрепляло и подвигало к трудам. И деятельный пример Мерзлякова всегда находился перед глазами. А посмотрел бы ты, дорогой Андрей Сергеевич, во что слова превращены в придворных кругах, – в искусственные букеты для украшения фасадов некоторых пустых персон! Эх, да что там говорить!..

– А ты меньше выезжай и больше работай дома.

– Нельзя, служба, этикет!

– То-то, что служить нам надо для своего обеспечения, а не хочется гноить себя в конторах. Вон, Жуковский не вынес! Ушел из соляной конторы. А чего натерпелся! Разве заслужил он этого!

Разлуку наметили на 22 апреля.

Дальше оставаться не было возможности. У каждого находились неотложные дела в Москве. Наталья Васильевна определила обратный путь через Новгород (ехали уже без Тургеневых), так как давно мечтала помолиться в тамошних древних соборах и другого случая ждать не намеревалась.

Выезжали рано, чуть ли не ополночь, потому что Наталья Васильевна хотела успеть к вечерней службе. Спросонья не получилось никакого разговора. Всюду, во всех комнатах царила Наталья Васильевна со своими последними распоряжениями. Люди таскали приготовленные с вечера сундучки, узлы и завязки, подтыкали выбившиеся материи. У самой двери развязалась стопка книг, которые Андрей Иванович подарил другу. Оба Андрея бросились помогать Никите собирать свои драгоценности, забыв попутно слегка отчитать его за небрежность.

Чувства были точно сонные, слов не находилось. Друзья наскоро обнялись и расцеловались у самых лошадей, тут подошли братья, все смешалось. Кайсаров сел. Андрей Иванович поправил и без того уютно укутавший ноги отъезжающих меховой плед, на минутку наклонившись к самому лицу друга и взглянув своими бархатными влажными глазами прямо в глаза, шепнул как нечто сокровенное: «Прости! Не забывай!»

Кибитка тронулась по черным, ещё ночным улицам Петербурга. Андрей Сергеевич оглядывался назад, но тьма поглотила последний, проникавший в душу взгляд друга, которого – он этого ещё не знал! – уже никогда не суждено будет увидеть.

Через несколько часов из Новгорода Андрей Сергеевич писал: «День только прошел, как я расстался с тобою; но этот день тяже-  
лее для меня многих месяцев. Дорогой вспоминал я обо всем прошедшем и беспрестанно думал о тебе, моем неоцененном, милом друге. И я смел иногда, бывши вместе с тобой, видя тебя всякую минуту, роптать на судьбу!.. Матушка не велит много писать и дивится, как можно найти материю для письма после однодневной разлуки, – Видно она не знает, что значит расстаться с тем, кого любишь всем сердцем».

Приехав в Москву, Андрей Кайсаров, который простудился в дороге, сильно заболел. Тургеневы оставили его у себя, никуда не отпустив, чему он был очень рад. Он жил в комнате Андрея Тургенева, а это было самое лучшее жилище для него в Москве. Иван Петрович, а иногда Александр сами делали ему сугрев, компресс, массаж спины и поясницы, которые сильно онемели от простуды, натирания и проч. Андрей Кайсаров писал 5 мая: «… Ни разу ещё не одевался и сижу все в тулупе дома. Право, я не знаю, за что меня так любят батюшка твой и матушка? Они так обо мне стараются, что мне уж и совестно становится. Я не привык получать одолжений от посторонних, и признаюсь тебе, всякое из них мне как нож в сердце».

За последнюю фразу он получил от Андрея Тургенева строгий выговор: их семья ему не «посторонние», он заменил родителям на время сына, и нельзя их лишать заботы, и если батюшка узнает про его слова, – это его сильно обидит.

Надо сказать, что Андрей Кайсаров часто болел. Лечил его, как правило, Николай Лукьянович Яковлев, штаб-лекарь в Мос-  
ковском воспитательном доме, который в то же время был домашним врачом Тургеневых и близким другом Ивана Петровича, а затем и самого Кайсарова. При том, что Андрей Сергеевич редко жаловался и не надоедал никому разговорами о своей болезни, которую он повсюду называл лихорадкой, во многих письмах можно найти фразы: «Ночью случилась со мною лихорадка»; «Я был не слишком весел, притом же и болен»; «Сегодня нет у меня лихорадки, а завтра я должен ее непременно ожидать»; «Я болен лихорадкою, читаю Боннета»; «Я думаю недели на две отрапортоваться больным, а то грудь болит не на шутку»; «Теперь Николай Лукьянович дает мне железные опилки, настоенные в вине». Иногда записи были более пространные: «Предписание твое строго исполняю, – писал он Андрею. – Пилюль принял уж 5 коробочек, а питий доканчиваю уж 15 склянку и признаться ли тебе, все ещё пользы не вижу. Чай пью только один раз в неделю, кофе – никогда. Как ни трудно от чаю воздерживаться, – но креплюсь. Со всем тем грудь всякий день без выключений болит. Например, когда я посижу больше получаса нагнувшись, когда лежу беспокойно, когда скоро верхом еду (хотя это только раз было) и вообще в дурную погоду. Сверх того, бывает иногда боль в левом боку и со всем тем чрезвычайная слабость».

Короче говоря, болезнь Андрея Кайсарова была для него не новость. Он с нею смирился. Иногда даже посещали его мрачные мысли о смерти. Однажды он написал Тургеневу: «После самой беспощадной ночи пишу к тебе, любезный Андрей Иванович…

О здоровье моем что тебе сказать? Оно не совсем хорошо; но и не совсем худо, как ты себе представляешь. Покуда я ещё слишком далеко не чувствую. Но уверен и твердо уверен, что это есть преддверие к чему-нибудь слишком невеселому. С некоторого времени стал я знакомее с мыслию о смерти. Часто, когда чувствую себя немного хуже, рассуждаю сам в себе: умирать теперь ещё не хотелось бы; но я и уверен, что госпожа смерть отсрочит свой визит ко мне; но когда-нибудь надобно же умереть!.. Я не прочь, но почему не умереть так вдруг, так, чтоб визит этот был самый скорый! Я боюсь того, что надобно будет тлеть как свече. – Но, брат, ты по этим рассуждениям пожалуй не почитай, чтоб уж я был в отчаянном состоянии… Ты всегда звал меня худым вещуном и моралистом строгим…» ещё раньше, в 1799 году, в период увлечения сентиментальными повестями, Андрей Сергеевич писал другу о смерти (тогда ещё мало веря в ее реальность): «Я бы никогда не желал быть розно с тобою; всегда желал бы быть подле тебя, подле твоего сердца; вместе с тобою грустить и вместе радоваться, желал бы в одну минуту с тобою умереть. Если же я умру прежде, то завещание мое состоит в том, чтоб ты положил меня в каком-нибудь глухом месте, засеял бы мою могилу незабудочками и как можно чаще бы навещал ее».

Но вернемся к маю 1802 года.

Друзья навещали его. Жуковский («Жуковский уж уехал в де-  
ревню в понедельник на этой неделе»), Воейков («Воейкова ещё больше расстроило мое сердце, которое ослабело от лихорадки»), каждый почти день бывал Мерзляков до или после уроков с Сережей и Николаем. Больше всего ухаживали за ним любившие его Александр Тургенев и Никита. Веселый Кайсаров в момент полегчаний писал другу в Петербург: «После обеда пришел по обыкновению соблазнитель безденежного, враг воздержания… Никита с мороженым!.. Но только лишь переступил я на… четвертый стакан, как добрый гений, защищавший меня от нападков лихорадки – Александр – является ко мне… Хина с мороженым не могут жить ладно на одной квартире…»

И в другом письме: «Написав это, принял я порошков и дол-  
жен был с четверть часа отдыхать. Николай Лукьянович дает мне Salzarturi[[13]](#footnote-13), которая в желудке истинно по-тартарски действует. Вот уже другая неделя, как всякий день принимаю я порошков по 7 и более; в то время как Александр Иванович ест верхом стаканы мороженого у Никиты».

Дни стояли солнечные и теплые. Друзья собирались на Воробьевы горы, Андрею Кайсарову было лучше, и он отправился с ними. Поехали всемером: Паисий Кайсаров, Александр Тургенев, книгопродавец Зеленников, Василий Степанович Поляков, Мерзляков и Срезневский. «Все тут, – писал после Кайсаров Андрею, – но тебя нет!..»

В конце мая Андрей Сергеевич собирался в деревню, в Саратовские края, там сухой воздух должен был излечить его окончательно перед уже решенной поездкой за границу.

Но до этого они с младшими братьями Тургеневыми посетили забытый всеми, запустевший дом Воейкова на Девичьем поле, рядом с Новодевичьим монастырем. Голоса друзей не нарушали патриархальной тишины дома, он представлял тоскливое зрелище.

«Пустился в путь под Девичье… – писал Кайсаров с грустью Андрею Тургеневу. – Дом Воейкова ещё больше расстроил мое сердце, которое и без того ослабело от лихорадки. Я вспомнил наши собрания, свою палатку, тебя, сперва торжественно гуляющего, а потом отяжелевшего и чуть-чуть таскающего ноги на поле брани, на грядах клубничных; вспомнил все удовольствия, которые имел там, и немного разнежился. Благодарю судьбу, что она оставила мне много, очень много приятных воспоминаний… Я очень чувствую, как богат тот, кто их имеет».

Собрание прекратило свое существование. Но Дружеское литературное общество сделало свое дело. Оно сформировало цельные характеры, выковав их в литературных опытах, неудачах, спорах, и стремлении понять тех, кто не похож на тебя; оно выкристализовало личности крупного масштаба.

Птенцы дома Воейкова, дружеского литературного общества оперились и вылетели в свет. Но память согревала их в разные годы огнем этого очага, и они вспоминали все одно и то же:

Андрей Тургенев в стихотворении «К дому Воейкова» (ок.1800 г.):

*Сей ветхий дом, сей дикий сад,*

*Убежище друзей, соединенных Фебом.*

*Где в радости сердец клялися перед небом,*

*Клялись своей душой,*

*Запечатлев обет слезами,*

*Любить Отечество и вечно быть друзьями.*

Счастливой осенью 1800 года Мерзляков писал:

*В сентябрьски вечера ненастны*

*С любезной трубкой и вином,*

*Родные песенки певали*

*И с бурей голос соглашали.*

Александр Федорович Воейков, уже после 1812 года, посетив Москву, вспоминал:

*Рассеяны друзья лет юных: здесь для нас*

*Златые сны опять летают;*

*Зерцало наших клятв сей древний монастырь.*

*Где в ветхом доме мы столь сладко пировали,*

*Который мы мечтами населяли;*

*Где цел тот сад, который мы*

*В поверенные тайн сердечных выбирали,*

*Где, распалив вином и спорами умы*

*И к человечеству любовью,*

*Хотели выкупить блаженство ближних кровью.*

*При звуке радостном покалов, хоров, лир,*

*Преобразить спешили мир.*

Жуковский в 1813 году в послании к Александру Ивановичу Тургеневу дополнял воспоминания друзей своими:

*О! не бывать минувшему назад!*

*Сколь весело промчалися те годы,*

*Когда мы все, товарищи-друзья,*

*Делили жизнь на лоне у свободы!*

*Беспечные, мы в чувстве бытия,*

*Что было, есть и будет, заключали,*

*Грядущее надеждой украшали –*

*И радостным оно являлось нам.*

*Где время то, когда по вечерам*

*В веселый круг нас музы собирали?*

*Нет и следов. Исчезло все – и сад,*

*И ветхий дом, где мы в осенний хлад*

*Святой союз любви торжествовали.*

Это послание к Александру Ивановичу Тургеневу Жуковский написал в 1813 году в момент нахлынувшей тоски о былом союзе друзей. А через два года, если мы заглянем немного вперед, образуется новое дружество «Арзамас» (1815–1818), где уже «корифеями» станут бывшие младшие члены Дружеского литературного общества – Жуковский, Александр Тургенев, а также Воейков; Пушкину будет столько же лет, сколько было в 1799 – 1801 годах участникам «поддевических» Собраний. Жуковский напишет устав «Арзамаса». Его «Устав», по словам В. М. Истрина, «будет сколком с устава Дружеского литературного общества». «Арзамас» вышел из Дружеского литературного общества, хотя некоторые его участники могли даже этого не подозревать.

В бумагах Александра Тургенева (№ 1102) исследователи нашли, между прочим, и такой указующий заголовок документов: «Речи и правила, или Уставы Поддевического «Арзамаса». «Поддевический «Арзамас» – это Дружеское литературное общество 1801 года. Александр Иванович не оговорился, написав так; позднее оценивая эти два кружка, в душе он давно уже их соединил, для него это были два звена одной цепи.

П. А. Вяземский писал об «Арзамасе»: «мы любили и уважали друг друга, но мы ж судили друг друга беспристрастно и строго, но не по одной литературной деятельности, но и вообще. В этой нелицеприятной, независимой дружбе и была сила и прелесть нашей связи. Мы уже были арзамасцами между собою, когда «Арзамаса» ещё и не было. Арзамасское общество служило только оболочкою нашего нравственного братства».

Не так ли и Дружеское литературное общество как «нравственное братство» началось ещё раньше? Не так ли беспристрастно и строго судили друг друга и здесь? Не так ли независима была дружба и тургеневского кружка?

Общего очень много. В частности, оба кружка принадлежали к одному литературному лагерю – карамзинскому (хотя и понятие карамзинизма, и сам Карамзин изменились за пятнадцать лет; в начале карамзинизм символизировал серость сентименталистского потока, поэтому здесь уместна была критика карамзинизма изнут-  
ри; через пятнадцать лет карамзинизм символизировал прогрессивное движение), ратовали за слияние литературного языка с разговорным и большую свободу выражения, за адекватность русской литературы европейской по своей художественности и остроте современных проблем.

Оба кружка были небольшие. В них насчитывалось в разное время по десяти примерно активных членов, хотя бывали и посетители. «Арзамас» одним из условий своего существования считал распространение познаний изящной словесности и вообще понятий ясных и правильных. Дружеское литературное общество тоже ставило себе задачи просвещения. Оба кружка мечтали издать сочинения (не личные, как раз часто появлявшиеся в печати, но именно кружка), обоим этого так и не удалось сделать. Оба они распались, с одной стороны, вследствие выполненной ближайшей задачи, с другой – вследствие разногласий.

Но были и различия.

Дружеское литературное общество, по словам В. М. Истрина, обладало «остатком стремления к нравственному совершенствованию», чего не было в «Арзамасе» (то есть это оставалось в разной мере проблемой каждого, но общей цели не ставилось), который, напротив, возник и существовал не как общество, устремленное к гармонии и согласию, а как общество полемическое и созданное для веселого препровождения времени.

Если в Дружеском литературном обществе все были юные (вышедшие из одной альма-матер), готовые к служению царю и отечеству, вырабатывающие идеал общества и человека (сына отечества), то арзамасские члены были разного возраста, опыта и воспитания, авторитеты (каждый в своем роде), которым многое было слишком ясно, и вырабатывали они яд (это, конечно, метафора), посредством которого боролись с ложными, в их представлении, а ещё больше – отсталыми идеалами.

Разнообразным был «Арзамас» в жанровом плане. Здесь разыгрывались целые спектакли, комедии, чего не было в Дружеском литературном обществе, где основными жанрами были философские трактаты-речи, переводы сочинений «в важном роде», стихи державного характера; лирику, эпиграммы, пародии, которые, хотя и писались изредка, считали сочинениями второстепенными, как бы «безделками». Дружеское литературное общество почти не занималось внешними связями с другими литературными течениями (в том числе связями полемическими. Даже сентиментализм, против которого они выступали, присущ им самим).

«Арзамас» же возник из идеи литературной борьбы с другим течением. В то же время младший тургеневский кружок обсуждал политические вопросы, которые были в определенной их части остры, а в другой – ещё достаточно наивны. «Арзамас» касался их, но не пытаясь теоретизировать, касался в общих разговорах при обсуждении современных политических событий. С тех пор, как вошедшие в него Н. И. Тургенев, М. Ф. Орлов, Н. М. Муравьев – будущие декабристы, – предложили обсуждать актуальные политические проблемы, касавшиеся социальных отношений, «Арзамас» распался вследствие неразрешимых разногласий (в это же время перестала существовать «Беседа любителей русского слова», и полемика, лежавшая в основе «Арзамаса», утратила свой смысл).

Вот основные различия очень похожих меж собой Дружеского литературного общества, собиравшегося в Москве, и «Арзамаса», известного в Москве и Петербурге.

Так, неожиданным образом откликнувшись в литературе девятнадцатого века, ушло в прошлое Дружеское литературное общество 1801 года.

Для Кайсарова же с Дружеским литературным обществом ушел тот юный возраст, перед которым сугубо житейские проблемы – проблемы стариков; ушла особая атмосфера юности, где были преувеличения чувств и идеалов, а порой и недостатков своих и чужих, постоянные (до самоедства и болезненно обостренного чувства справедливости) самохарактеристики; где были резвость, мальчишеские дурачества, озорство, страсти, взаимные упреки, похвальба, гордость, первая любовь, философствования ради процесса, обостренное внимание к чужой мудрости: цитаты из книг, пьес; ушли страстные заклинания: «люби меня!», «не забывай!», «помни!», «пиши!»; ушла священная значительность неистовой юношеской дружбы – та пора, когда любящие и понимающие друг друга люди излучают столь неуловимое глазом счастье.



Глава девятая

Дорога в Германию. Гёттинген

С

вежим летним утром 21 июля 1802 года Андрей Сергеевич Кайсаров и Александр Иванович Тургенев выехали из Москвы, чтоб проделать самый длинный тогда в их жизни путь из России в Германию. «Тургенев и К°» (выражение В. Истрина) в первой десятке русских студентов ехали учиться в Гёттингенский университет – самое передовое тогда учебное заведение Германии. Андрей Кайсаров намеревался изучать юриспруденцию, Александр Тургенев – дипломатию.

До западной московской заставы в Кунцево друзей проводил Паисий Кайсаров, своей добросердечностью словно призванный смягчить тяжесть расставания с Москвой и близкими. С Андреем Сергеевичем ехал его любимый Никита; на том, чтоб его взять, настояла Наталья Васильевна, как и на своем не совсем подходя-  
щем для Европы подарке – новеньком белом овечьем тулупе, который, по соображениям Натальи Васильевны, единственный призван согревать душу и тело сына и спасать, насколько можно, от лихорадки в сырые дни.

Иные из десяти студентов – Яншин, Фрейган, Гусятников, Кал-кау, Пилецкий – выезжали кто из Петербурга, кто из своих деревень в разные дни, все почти позже московских. С «Тургене-  
вым и К°» ехали из Москвы Двигубский, Войнов, Успенский.

Недалеко отъехали юноши, а уже очень чувствовали, что не дома. Неудобства дороги то там, то здесь отрезвляли восторги путешествовавших. «На зарях» было холодновато, вначале шел дождь, потом установилась пасмурная погода, днем парило, а утром застывала на листьях и кустах прохладная роса.

Дорога на запад откатана по тогдашним российским меркам довольно неплохая. Книг все равно читать в кибитке никак не удавалось: от тряски рябило в глазах. Но скуки не было. Дорога не мешала думать, вспоминать прошлое, воображать будущее.

Накануне отъезда, на прощальном вечере в их честь, где Кайсаров подарил Мерзлякову свою трубку и всем что-нибудь на память, центральной фигурой был Максим Иванович Невзоров потому, что он один из немногих русских к тому времени окончил Гёттингенский университет.

Максим Иванович охотно рассказывал отъезжавшим о своем учении, отвечал на все их вопросы. Здесь же возник спор. Невзоров считал, что самые лучшие люди для него, где бы ни бывал, оставались русские, особенно в нравственном плане. Андрей Кайсаров и Александр Тургенев, как люди передовых взглядов, и знавшие о неотъемлемости галломании от теперешней, по крайней мере, России, с ним соглашались в той части, где речь шла о самобытности русских, но тут посыпались с их стороны перечисления недостатков русских, а также перечисления, чего у нас нет (в культуре и быту). Но Максим Иванович был упрям и угрюмо однообразен. Он все повторял:

– Поживете – увидите!

Во время путешествия Андрей Сергеевич, глядя на скудные ветхие строения проезжаемых русских селений, на бедных мужиков, стаскивавших проворно засаленные шапки с кудлатых голов и кланявшихся почтительно проезжавшим господам, вспоминал Максима Ивановича Невзорова. И о многом размышлял, глядя за окно кибитки на бескрайние русские просторы. По сути, Тургенев и Кайсаров впервые в жизни путешествовали по-взрослому, одни по западной части российских земель. Россия для них казалась не менее загадочной и интересной, чем далекая Германия.

Путешествующие наши не походили на разочарованных во всем и равнодушных европейских денди, они пристально всматривались в неведомую Россию, простиравшуюся вокруг: хотели раз-  
глядеть каждый пригорок, запомнить каждое село, а уж города – всенепременно как можно подробнее. То и дело в их письмах встречаются фразы: «остановились осмотреть город»; «оставили целые сутки, чтобы осмотреть порядочно город»; «мы осматривали город»; «осматривали город, были во дворце…»

Они проехали через прекрасное село князя Голицына Вяземы. Здесь все крестьяне жили в красивых каменных домах, все дворы казались зажиточны, и деревня некоторым образом походила на иностранное селение. Однако же, у самой дороги видели они свалку мужиков, дравшихся из-за того, что одна телега зацепила другую, и каждая сторона хотела доказать свою правоту.

– Эт-то по-нашенски! – орал во все горло один из мужиков. – Клим, дай ему в рыло, чтоб глядел, куды прет, косая кобыла!

– Сам с подвохом подкатил! – возмущался поджарый рослый мужик с другой телеги. – Лисья твоя морда! Шею сверну – будешь знать, когда сворачивать!

– Не на таковского напал, чтоб я сворачивал!

– Ишш, какой здоровенный, а дурной, – подуськивал один из тележных пассажиров. – Взагорбок его! Вози, вози его!

– Дай срок, окаянный, почешу свою оглоблю о твою хребтину!..

Ругань эта ещё долго слышалась позади кибитки.

Вот она, стихия мужицкой жизни, скрытая под удобрениями искусственной цивилизации! Кайсаров невесело улыбнулся, вспомнив Невзорова. Ему видно не полюбилось бы, что князь хочет русских мужиков переделать на немецкий манер; но к утешению его можно сказать, что это не так скоро и легко может исполниться. Оказывается, в острый момент и немецкую деревню может окрестить русская чистосердечная брань, которую искоренить труднее, чем выстроить домики.

Друзья остановились на ночевку в Можайске, посетив тамошний собор и заметив, что мужики здесь добрее, не так жадны к деньгам, но и не так богаты.

Гжатская пристань – селение торговое, выстроенное ещё Петром I, тоже выглядело своеобразно.

В Смоленске пробыли два дня, которые показались слишком короткими. Архитектура города, «величественная и простая», напоминала Александру Ивановичу его родной Симбирск.

У Успенского здесь нашлось немало родни и друзей, так что путешественники были тщательным образом введены во все достопримечательности города. Посетили семинарию, народное училище, древние соборы, дома священников. Кайсарова поразили местные интеллектуальные силы, которые сосредоточились в основном среди священников. Ему показалось, что смоленское духовенство ближе, чем столичное подходит к своим целям, воистину духовным. В здешних священниках не находилось ничего похожего на московских.

Здесь каждый свободно рассуждал о науках и прочем, в то время как от иных московских священников можно было слышать лишь набор прописных истин.

«Откуда берутся на Руси, в глуши, в нищете такие люди?! – думал Кайсаров. – Что за свет им светит?» Захотелось им помочь. Он написал Ивану Петровичу, зная о его безбрежной благотворительности, чтоб он прислал книг в Смоленск.

В Минске пробыли с 1 по 6 августа. Здесь их, как и уславливались, встретил друг семьи Тургеневых Захар Яковлевич Мудров, который показал им город и представил здешнему губернатору. Европейский порядок в Минске очень понравился друзьям.

На другой день путешествовавшие уже осматривали Гродно. Им долго не удавалось получить аудиенцию у губернатора и сделать отметки в своих паспортах, разрешающие следовать за границу, ибо это был последний отечественный город. Вынужденная остановка заставила друзей внимательно осмотреть Гродно, который был выстроен «лучше Минска». Здесь находились монастыри различных орденов, особенно преобладали иезуиты. Ходили к бернардинцам, смотрели униатские церкви, католические соборы, видели дворец польского короля, стоявший на круче над Неманом. Послали отсюда Ивану Петровичу сочинения Григория Сковороды. Поскольку Гродно был последний российский город на их пути, решили 15 августа отстоять обедню (в последний раз на русской земле!) в православной церкви.

Чем больше удалялись Тургенев и Кайсаров от Москвы, тем больше чувствовали разлуку и чувство это было очень единодушно. ещё не выехав из России, они уже ощущали себя в чужих краях, потому что давно расстались с близкими. Александр Иванович писал в Москву: «…Теперь оставляю и отечество – и удивительно, что мне почти так же грустно выезжать из Гродны, как из Москвы; одно даже имя отечества имеет на нас сильное действие – и с тех пор, как я знаю, что я должен оставить его, оно стало для меня дороже и я чувствую к нему больше привязанности».

Вскоре друзья уже катили по дорогам Европы, часто на остановках собирались вместе, вспоминая дом; пели русские песни, грустили или, наоборот, веселили себя шутками и смешными рассказами.

В веселом духе Кайсаров сообщал в Москву: «…Весь конвент странствующих рыцарей до Варшавы доехал, слава богу, цел и невредим. Варшава так пространна…» Этот город поразил путешественников необычной свободой нравов, богатыми рынками (как раз собрали урожай). Александр писал отцу: «Я не знаю города, в котором бы было больше разврата и праздности… Позволяет даже правительство воровать, стоит только вору записаться в воровском своем цеху… Жители совершенно предались праздности; торговля вся больше перешла к жидам; зато бедные мужики, особливо панские, крайне разорены…»

Нимало дивясь таким нравам, друзья всю дорогу до Лейпцига спорили об относительности вкусов и ценностей, законов и нравов у разных народов.

Дорога до Лейпцига лесистая. Второй этаж ординарной почты (экстраординарная почти вчетверо дороже) опасен тем, что надо остерегаться веток деревьев. Дороги Саксонии дурны, и к постоянному напряжению находящихся на втором этаже добавлялась тряска. Здесь трудно было следить за разнообразными пейзажами Германии. Иногда лишь друзья замечали скалы, поросшие кустарником, сквозь которые кое-где просвечивали седые мшистые камни. Сколько ландшафтов достойно кисти художника!

Вскоре всем пришлось спускаться внутрь кареты и устраиваться потеснее. Косой дождь уныло полосовал окна. Не такой погоды ожидали друзья, едучи с холодного Севера в хваленую, целительную, как утверждали многие, Европу. Радовались, что оставили дома сердитые морозы, сырость, грязь, погодную угрюмость, думали, что в Германии небо ясно, дни красны, среди ветров царствует незримый Погода, цветущая природа радуется солнцу и теплу. Но проезжая город за городом, селение за селением, находили пасмурную осень посреди ещё не кончившегося лета. Что за дела делаются на небе? Зачем Бог прикрыл его от путников?!

Случилось несчастье: затосковал о доме и заболел нежный избалованный Успенский. Все испугались, как бы у него не случилось расстройство ума. Сумеет ли он учиться с таким здоровьем и с такой неспокойной душой? Видимо, не каждый может пойти на все ради учения. Решили отправить его назад, и с ним, для надежности, Андрей Кайсаров отослал Никиту.

В Лейпциге нашли друга Ивана Петровича Тургенева, Ивана Ивановича Шварца, который принял большое участие в бытовом устройстве друзей, на выгодных условиях обменял им деньги у своего банкира, предложил свое жилье, посоветовал послушать лекции ректора Лейпцигского университета профессора Платнера об изящных искусствах и метафизике (так называли и философию), читанные с большим жаром. Платнера слушал и описал беседу с ним Карамзин в «Письмах русского путешественника», именно поэтому друзья заинтересовались Платнером. «Вот настоящий профессор! – писал Кайсаров. – В голове у него целая энциклопедия, хотя (между прочим) он не профессор энциклопедии».

Они жили здесь в ожидании знаменитой Лейпцигской ярмар-  
ки, которая проходила три раза в год. Шварц сам показывал достопримечательности города, представлявшего везде неутомимую деятельность немцев, «особливо в малостях». Кайсаров с готовностью заговаривал со всеми по-немецки, практикуясь таким образом в произношении. Вечерами ходили в театр. Здешний театр им нравился. Смотрели пьесы Коцебу; впервые – «Орлеанскую деву» Шиллера, «Много шума из ничего» Шекспира. Днем осматривали анатомический театр, были в музее, в котором иностранцам можно было без всякой платы читать всевозможные газеты и журналы, там по вечерам собирались Лейпцигские ученые. Нашли знаменитый трактир «Голубой ангел», где один рез в неделю ужинали вместе все ученые и деятели культуры. Мечтали съездить в Веймар, где жили Гёте, Виланд, Гердер. Кайсаров восклицал: «Сколько великих людей в Германии, в этом дымно-табашном царстве!»

Лейпцигская ярмарка поразила своим необычайным разнообразием и совершенно необъятной величиной. Все улицы были застроены лавками; комнаты заняты приезжими и сдавались в это время втридорога. Александр, как ему было приказано, накупил для своей матушки кисейных платков, персидских шалей и проч. Кайсаров решил о подарках думать на обратной дороге (когда ещё она будет!), ведь ему нельзя своим состоянием сравниться с Тургеневым, которому на содержание положено в несколько раз больше.

Наконец, 25 сентября 1802 года наши путешественники прибыли в Гёттинген. Они имели несколько рекомендательных писем к тамошним профессорам. Первым посетили профессора Августа Шлёцера, который принял юношей «отменно ласково» и обещал употребить все свое старание к тому, чтобы им можно было учиться здесь с большею пользою. Писем для них из дома не оказалось. Зато ждало письмо от Андрея Тургенева из Вены. Он писал, что жить ему не очень весело; если б не Булгаков и Гагарин, то он бы желал скорее возвратиться в Россию.

Лекции должны были начаться через полторы недели, но уже 29 сентября проректор торжественно, со всеми обычными для Гёттингена обрядами, принял друзей в граждане академии, вручив каждому по диплому на новое их достоинство. Пока не начинались лекции, желающие брали уроки у преподавателей разных языков, кто у каких хотел; и наши друзья не отставали от других. Они также выяснили, к каким профессорам им лучше ходить, чтоб учиться, а не просто вояжировать с пустотою в уме и сердце.

В университете царил дух свободы и науколюбия, процветали гуманитарные дисциплины. Александр Иванович назвал круг об-  
щения в университете «ученой роскошью». Позже «Тургенева и К°» учился здесь А. П. Куницын – любимый Пушкиным преподаватель, рассказывавший лицеистам о Гёттингене. Неслучайно поэтому у Пушкина «Владимир Ленский с душою прямо гёттингенской». Что это за «гёттингенская душа», мы поймем лучше, узнав, как жили студенты в Гёттингене.

Русским студентам посоветовали брать не более пяти лекций в день, иначе будет утомительно. Они взяли пять лекций и уроки иностранных языков у хороших преподавателей, которых здесь находилось множество, среди них «славный для греческого и латинского языков профессор Гейне». Им посоветовали слушать у профессоров Буля – логику и метафизику; у Шлёцера – историю северных государств и России, у Мартенса – историю важнейших переводов в Европе в шестнадцатом столетии; у Геерена – европейскую историю (древнюю и новую), у Блуменбаха – натуральную историю; у Гофмана – физиологию растений (последние две лекции можно было чередовать); эстетику и литературу – у Бутервека. Исключив лекции Мартенса и чередуя Блуменбаха и Гофмана, остальные Кайсаров взялся посещать в первом семестре.

Вот они и узнали всех небожителей по именам! Сколько раз пытались они представить их себе раньше, во время ночных бдений или утомительных дорог!

Хотелось успеть больше, однако, беспокоило здоровье, начинающаяся промозглая осенняя германская сырость. Не то, чтоб слякоть и грязь, как в России, этого не было. Но сырой, холодный воздух оседал в легких, они казались отяжелевшими и не давали разрастись и подняться высоко той необычайной легкой окрыленности, какую испытали друзья, окунувшиеся в настоящую учебу, бывшую одновременно для них тяжелым трудом.

Вскоре Тургенев и Кайсаров получили общее письмо от Мерз-  
лякова, отправленное из Москвы 17 сентября 1802 года. «Где вы живете, любезнейшие друзья мои, Александр Иванович и Андрей Сергеевич! – писал Мерзляков. – В каких странах отдаленных совершаете вы свое много-знаменитое путешествие, между тем, как бедный Мерзляков таскается только по грязи от пансиона до университета и от университета до пансиона…»

Друзья ясно представили себе грязь сентябрьского универси-  
тетского двора, и сердце защемило. Этот сентябрь напомнил другой – в 1800 году под Девичьим, о котором Мерзляков вспоминал стихами:

*Где, где часы сии прекрасны,..*

*Когда пред нами с тьмой ночной*

*Огонь сражался Оссияна,*

*Древа шумели над главой,*

*И воды горня Океана*

*Лились в стремительных дождях,*

*березы старые скрипели*

*На сильных сплетшихся корнях,*

*И листья желтые летели,*

*И стлались по сырой земле;*

*С улыбкой мирной на челе*

*Вокруг огня мы все сидели,*

*И с удовольствием смотрели*

*Как гретое рукой твоей,*

*Любезный милый мой Андрей,*

*Готовилось на общу радость; –*

*Оно могло переменить*

*Природы сетующий вид,*

*И возвратить ей жизнь и младость.*

И дальше: «Не знаю, что бы ещё написать к вам, милые друзья мои… Я каждый день спрашиваю у Василия Степановича, не получено ли чего от вас; с ним говорю о прошедшем; с ним попеваем те песни, которые пели под Девичьим, курим табак попеременно из трубки Андрея Сергеевича, и после каждого куплета песни приговариваем: «Ах! кабы они были здесь!»

Переписка оказывалась теперь единственным видом связи с родным русским миром. В те времена умели и любили писать письма. Письма были средством связи, информации, выполняли роль путевых заметок, дневников и сердечных поверенных. Спон-  
танные эти сочинения зачастую наиболее объемно передавали характер их создателя. Из Гёттингена письма шли регулярно. Адресованные Андрею Тургеневу, письма Кайсарова были полны грубоватой веселости и проявления мужского откровения. Меж друзьями почти не существовало личных тайн, они делились сердеч-  
ными секретами, весело подтрунивали друг над другом и над собою. Самоирония, органически присущая Кайсарову, здесь особенно заметна. К Ивану Петровичу Тургеневу письма (а чаще – приписки к письмам Александра) менее раскованы. Они продуманы и полны достоинства.

Из России в Гёттинген шли сообщения о различных преобразованиях в области просвещения. На Александра I многие возлагали большие надежды. Все жили в пьянящее время обещаний.

Андрея Сергеевича огорчало, что он шесть месяцев не получал писем из дому от братьев и матери. Он знал, что Петр сам уехал в Европу, Паисий никогда не был большим охотником писать письма. А вот почему молчат Михаил в Петербурге и Наталья Васильевна? Где она теперь?

Один Андрей Тургенев радовал Кайсарова частыми весточками о себе и сердечными словами. Андрей Кайсаров писал другу в Вену 31/19 октября 1802 года: «Ты знаешь, что я ехал из России с тем, чтоб путешествовать только. Зачем путешествовать? Чтоб узнать людей в разных их видах, а больше, чтоб узнать самого себя во многих случаях. ещё и в Лейпциге будучи, думал я только пробыть около полугода, только для того, чтоб не отстать от своих товарищей… Я подумал, что не хуже будет, ежели я буду ходить больше ежели на две лекции, и – хожу на пять, подумал, что в полгода мало дела сделаю, и – положил остаться здесь на полтора года. Я слушаю здесь химию, древнюю и новую историю, логику, русскую историю у Шлёцера… эстетику у самого Бутервека, который написал «Дон-Амара». Между тем, учусь по-англински, немецки, итальянски и иногда по латыни – и так вот уж 10 часов у одних только учителей сидеть, сверх того – надобно иногда почитать, пробежать то, что слыхал. Суди же, может ли быть у меня беззаботная жизнь, от которой обещаешь ты мне излечение. – Какой мой будущий план? Бог знает! Я вперед не думал. Кажется до сих пор я твердо положил не вступать никогда в службу, быть тем, что я теперь. Этим я ничего не теряю, если ещё не выигрываю. Я собин. – Кому будет нужда в чинах моих? Впрочем, что есть постоянного в этом свете! Может быть завтра же план мой переменится, и десять новых заступят место его…

Я все тот же горячий, вспыльчивый, бешеный, какой и прежде был; и это бешенство, верно, от болезни происходит, потому что когда я здоров, тогда и гораздо добрее обыкновенного… Здесь нашел я для себя то же, что в Москве были Воробьевы горы. За милю отсюда есть развалины старинного замка на высокой горе в лесу; туда хожу я часто с Войновым».

В окрестностях Гёттингена находился развалившийся рыцарский замок Плессы. О нем и писал Кайсаров. Гора, на которой замок был некогда выстроен, вся состояла из белых каменных утесов. С самого высокого места падал вниз по камням ручей и разбивался в мелкие брызги. Какое зрелище в солнечней день! По горе рассеяны маленькие деревеньки, сверху казавшиеся карточными домиками. Глядя на все это, всякий путешественник жалеет, что не живописец!

Из письма Двигубского к И. П. Тургеневу мы подробно узнаем о структуре и оснащении Гёттингенского университета, по спра-  
ведливости считавшегося первым в Германии. В нем тогда служили 83 профессора, 52 из них пользовались королевским жалованием. Всякий получал, сверх того, от студентов гонорары. Кто лучше преподавал, у того студентов оказывалось больше, ибо здесь несколько профессоров читали одну и ту же часть.

В здешней библиотеке насчитывалось около 400000 книг, в том числе очень много русских. Кабинет натуральной истории был наполнен множеством интересных вещей. Химическая лаборатория оборудована «отменно хорошо». Физический кабинет снабжен всеми нужными инструментами. Ботанический сад «можно почесть из числа первых в Германии по множеству иностранных рас-  
тений», при нем – выстроенные щедрою рукой оранжереи. Рядом находился анатомический театр, повивальный дом для практики врачей. Вместо старой строилась новая астрономическая обсерватория за городом на возвышенном месте, купол ее сверкал издали как маленькое солнце.

Андрей Кайсаров дополнял характеристику университета в письме к Ивану Петровичу Тургеневу: «Мы заехали в такое место, откуда бы, кажется, лет пять не выехал; сокровищ много; но можно ли все это запомнить в год или полтора года? Не только, кажется, учиться нельзя нигде покойнее и выгоднее, но и читать нельзя везде того, что здесь. Московская университетская библиотека может назваться только внукою здешней. И всем этим мы должны так недолго пользоваться!»

Русские колонисты жили в Гёттингене дружно и отъединенно от других студентов, у каждого из них была своя комната, но по вечерам и субботам они часто собирались у кого-либо, вспоминали дом, обсуждали события дня или недели, по воскресеньям в хорошую погоду отправлялись на прогулки за город. На общих лекциях, проходивших в больших аудиториях, и сидели вместе, в одном ряду.

К ним очень был расположен профессор Шлёцер, у которого, по словам Тургенева, «что-то свое оригинальное в мыслях и выражении». Шлёцер любил Россию, как любят люди счастливую страну своей молодости. Он жил в России и работал ещё с Ломоносовым, с которым, впрочем, они постоянно спорили. Профессор позволил ходить к себе по вечерам и спрашивать истолкования в некоторых трудных местах его истории. Учёный этот полюбился студентам «за свой образ преподавания». Он говорил о России с жаром и похвалой; «…смотрит на историю и трактует ее философически, – замечал Александр Иванович, – не занимается простым описанием происшествий, но, как философ, показывает причины их, действия, какие они имели; у него какой-то особенный дар красноречия и остроты». Это было тем более привлекательно, что интерес немца к России проявлялся на фоне всеобщего европоцентризма и равнодушия европейцев к России и русским.

Кайсаров и Тургенев не предполагали, что древнюю русскую историю можно преподавать так интересно, так занимательно. Шлёцеру они были обязаны многими приятными часами и не понимали, как могли иные немецкие студенты спать на лекциях Шлёцера и ещё хвастаться этим.

Однако, когда Шлёцер опубликовал воспоминания, где намечалась несправедливая оценка Ломоносова, Кайсаров и Александр Тургенев были огорчены, даже в душе оскорблены, и не скрыли недовольства этим поступком; по сути, запоздалой неблагодарной местью Шлёцера великому ученому, на долю которого и при жизни выпало немало испытаний.

Русскую историю Ломоносов трактовал верно, Шлёцер же объ-  
яснял происхождение русской государственности норманским путем, от варягов. Предвзятое отношение к славянским народам – стиль, столь типичный для ученых немцев. После того, как был окончен и опубликован исторический труд Шлёцера «Нестор», Кайсаров и Тургенев стали главными распространителями исторического сочинения своего старого учителя в России и славянских странах. Среди первых Тургенев отправил сочинение Н. М. Карамзину (который имел его в виду как псевдонаучное сочинение при работе над «Историей государства Российского»). Карамзин считал, что у Шлёцера, «изъяснения и перевод текста весьма плохи и часто смешны. Старик не знал хорошо ни языка летописей, ни их содержания далее Нестора; а выписки из иностранных летописцев не новы для ученых».

А. И. Тургенев позже сообщает в своих воспоминаниях (ЖМНП, 1910, июль, стр.193), что Шлёцер плохо знал русскую историю и с помощью русских студентов, учившихся у него, собирал материал по истории России. Но Шлёцер обладал личным обаянием, имел острый ум, аналитическое мышление. Его критические замечания не позволяли студентам творить кумира из грехов своего отечества и заставляли их не просто набирать сумму знаний, но размышлять о проблемах русских.

Кайсаров был всецело на стороне своего любимого и родного историка Ломоносова, но спорить со Шлёцером тогда ещё не мог, так как не обладал для этого достаточными знаниями. Он решил для себя: надо изучить глубже историю отечества, а после, воз-  
можно, и доказать правоту Ломоносова и неправоту Шлёцера (Увы! на все замыслы Кайсарову не было отпущено судьбой доста-  
точно лет). Огорчало,что нет настоящих правдивых книг по русской истории, особенно древнейшей (по правде сказать – их нет и поныне). В тех редких исторических книгах, где писали о русских, представляли их варварами, дикарями, выказывали полное непонимание их характера и истории.

Однажды Шлёцер подарил им историческую книжку на не-  
мецком языке одного неизвестного автора. Когда «Тургенев и К°» ее прочли, возмущению их не было предела. Русские по своей цивилизации там стояли наравне с монголами-кочевниками, а русская литература представляла собой не что иное, как переводы. Те русские, – написано там, – которые получили образование, подобны роскошествующим, отбрасывающим домашнюю пищу и выписывающим для своих столов лакомства с Запада.

Чтобы не было таких вздорных сочинений, нужно самим хорошо изучить свою историю и создать свои исторические книги. Это друзья понимали хорошо.

Постижению русской истории способствовало вышедшее в 1800 году первое издание «Слова о полку Игореве», вызвавшее много споров и восхищения, оно придало гордости русским патриотам. Его друзья прочли сразу и перечитывали потом. Высокий гражданский романтизм, интерес к древнерусской истории обновляли тогда словесность. Патетичность строя и слога древнерусской литературы была особенно притягательна для молодых литераторов. Кому из них не хотелось счесть себя преемником Бояна?! Андрей Кайсаров тоже был очарован, как он говорил, «старинной песнью» воинству Игореву, пленен искренней правдивой интонацией древнего шедевра, не отягощенного ни излишествами сентиментализма, ни условностями классицизма. «Древнерусская» интонация взволнованного отечественными событиями патриота навсегда легла в основу стиля Кайсарова, отчасти и благодаря открытию «Слова…»

В Гёттингене прельщались студенты и философией, учившей глубине мышления, помогавшей ясно видеть отношения вещей. Они жаждали знания, которому все открыто.

Андрей Кайсаров подробно описывал приобретаемые в Гёттингене познания Андрею Тургеневу в Вену. Он пересказывал интересные места из лекций профессоров, из книг, из споров студентов, как раньше подробно описывал другу пьесы, виденные в театре и спектакли, в которых играл сам. Особенно он восхищался своими познаниями в истории. И уже теперь, под влиянием Андрея Сергеевича (которому отчасти по-хорошему завидовал) Тургенев начал перестраивать свое сознание. Теперь ему уже не приходило в голову изучать историю по Шиллеру, некогда страстно любимому.

Тургенев писал Кайсарову: «Ты, чаю, знаешь, что Шиллеру дано словечко «von» императором. Важное приобретение. И певец радости мог этому обрадоваться. Вероятно. Я мало теперь читаю немецких книг, но больше занимаюсь французскими». Но ещё больше читал Андрей Тургенев английских книг, увлекся Шекспи-  
ром, мечтал его перевести. Вместе с падением интереса к Шиллеру, рос интерес к русской истории. В дневнике Андрей Тургенев записывает: «Двадцать лет жизни моей не стало!.. Двадцать лет я душевно проспал… Что я читал. Коцебу и Шиллера! – когда буду читать историю!» А Кайсарову пишет: «…Здесь приятнейшие минуты для меня те, в которых я дома и в шлафроке беседую с Музой Истории».

Два Андрея начали предъявлять жесткие требования психологического правдоподобия к литературным произведениям. В их глазах постепенно развенчивался беспредметный романизм. Патриотические их чувства становились спокойнее, определеннее и глубже.

О своей учебе Кайсаров посылал подробные «отчеты» Андрею Ивановичу: «Ты говоришь мне об моих занятиях: зачем учусь я по-италиански? Правда, что можно читать в переводах почти все, что написано на итальянском; но как ты мог выдумать такую причину для того, чтоб уверить, что итальянский язык можно отбросить! Я люблю немцев за их верные переводы; но сравни их lieben с итальянским amare, их lust с piacere! О логике, брат, ты напрасно так думаешь. Не довольно, очень даже мало читать одного Кондильяка! Здесь об нем и не поминают совсем. При том же здесь вместе с логикою читается и метафизика. Знаешь ли, что я бы желал очень, если б ты отложил свое суждение и в праздные часы, хотя бы иногда ходил послушать логику. Я твердо уверен, что француз и в половину не может достигнуть немецкого глубокомыслия…

Об англинском что тебе сказать? Я в этом терпеливее, нежели сколько ожидал от себя. Я надеюсь через полгода начать понимать хоть немного англинския книги; другие полгода буду усовершенствоваться в чтении, а наконец, прожив в Англии полгода, думаю, что не совсем худо буду говорить по-англински. Латынь! кто хочет заняться чем-нибудь книжным, тому без латыни не советую приступать… Ежели хочешь, то я буду тебе сказывать, какие книги рекомендуют Бутервек и Буль читать. Я страх как люблю их обоих…»

В другом письме Андрей Кайсаров, снова с большими подробностями отвечает на многочисленные вопросы своего неравнодушного к учению и наукам друга. «Об философии спрашиваешь ты меня. Здесь большая часть кантианцов, и вообще Буль и Бутервек большие его почитатели. Кроме того, тебе надобно знать, что Буль и Бутервек друзья большие и соученики. Буль – голова глубокомысленная. Бутервек премилого характера, примечательной физиономии и не больше как лет 30… Буль большой знаток Спинозы, также как и Гердер, которого книжку «Сott» советовал бы я тебе прочесть. Я совсем другие мысли получил о спинозовой системе, прочитав Гердерово «Сott».

Андрей Сергеевич научился в Гёттингене видеть гораздо больше, нежели можно рассмотреть сквозь германские туманы. Он приглашал учиться в Гёттинген и Андрея Тургенева, жалея, что не могут сюда приехать Воейков и брат Михайла: «Брат! учиться никогда не поздно… У нас на Руси ещё слишком холодно, и если не выедешь отогреть своего ума в чужие краи, то можно со временем его совсем заморозить».

Лекции были, даже в объеме одного курса, очень разнообраз-  
ными. Профессор Буль читал о происхождении масонского общества. Но ничего нового он, по сути, ни Кайсарову, ни тем более Тургеневу не открыл. Геерен познакомил слушателей с исследованиями этнографии, что Кайсарова очень интересовало. Профессор Эйхгорн весьма смело судил о французской республике. Об этой интересной для молодежи материи говорил он прекрасно и остро. Вообще революцию Кайсаров и Тургенев изучали с разных сторон (чего в Москве были бы лишены). Геерен читал о французской революции как историк; Мартене – как политик, показывая все заключенные республикой договоры, принятые законы; и, наконец Эйхгорн детально изъяснял все тайные причины, «приуготовившие» революцию, описывал людей, которые действовали на ее гигантской сцене и за кулисами, приводил эпизоды революционных событий, анализируя самым серьезным образом.

Из этого всего студенты заключили, что французскую революцию можно считать величайшим феноменом в истории государств. Эдаким универсальным извержением вулкана в сфере жизни человеческой. Она укрепила отдельные национальные черты французов, проявив все их парадоксы. Революция – отвратительный и неизбежный, может быть, гротеск эпохи, где смешались в невообразимом хаосе благородные порывы, альтруизм и вместе – глубокие предрассудки, жестокость, корысть. Все это казалось юношам потрясающе грандиозных размеров трагедией человечества.

Бывали у друзей и праздники. На святках, например, их приглашали на ужин к проректору. К полной их неожиданности, это первое большое заграничное гостевание им не доставило радости, а очень утомило крайней своей монотонностью и напряжённостью, заключавшейся в пунктуальном соблюдении этикета немцами. От этого пропадало даже желание говорить о России, хотелось скорее покинуть залу и удалиться в студенческую «келью» к своим трудам и вдохновению.

На одном из святочных студенческих вечеров Кайсаров познакомился с молодой красивой немкой, очень ему понравившейся. ещё недавно он читал проповеди Андрею Тургеневу, заставляя его делать что-либо полезное вместо того, чтоб просиживать с барышней «бесполезные», как он считал, часы. А теперь сам был влюблен. Вот как своим голосом искренне и эмоционально он рассказывает об этом событии другу: «Кажется, пора мне прийти в раскаяние и хоть строчку написать к любезному Андрею Ивановичу! так думаю я всякий день, раскаиваюсь, – и только что раскаиваюсь… Если б ты знал всему этому причину! О брат! давно ли я давал тебе советы! давно ли, подобно Златоусту, гремел… я мораль! Теперь всё иное. Брат! я влюблен. «Ну, это неновое», – скажешь ты. Тебе надобно все рассказать обстоятельно, ты должен все знать. Слушай же! Накануне немецкого нового года, когда у нас не было лекций, собирались мы все русские встречать новый год версты за четыре от Гёттингена в «Töpilz-Hansen». В городе в эту ночь бывает обыкновенно студенческий бунт. Нас было человек двенадцать, и все, сколько кто мог, подфрамбуазились. Здесь увидел я в первый раз Hanchen. Вся наша сволочь подбивалась к ней, но всем был преужасный отпор. Я не подбивался, а каким-то непредвиденным случаем сел подле нее, и так как ты уж давно знаешь, что я не только пьяный, но и тверезой часто бываю веселой парень, таким образом, подсевши к ней, начал буфонить. Ничем так скоро нельзя заставить себя приметить, как этим. Не долго просидел я так и, наконец, как будто в шутках схватил ее за руку; рука не вырвалась у меня. О! Это добрый знак, думал я. Скоро, потом начались у нас переговоры глазами – и только. На другой день мы пошли в Гёттинген, всякой из нас с чем-нибудь новым, – иной с больною головой от похмелья, другой с ушибленною ногою; я во всю дорогу шел с мыслью об Hanchen.

В другое воскресенье пошел я туда опять с двумя товарищами, понес конфет и игрушек ее детям; оттуда воротился с песенкою, которую она мне подарила. В третье, т. е. прошлое воскресенье пошел опять туда с теми же гостинцами… Она меня просит, чтоб я пел ей немецкие и русские песни. Домой я воротился с платком, который она для меня сняла с шеи своей. Завтра, т. е. в воскресенье пойду опять туда же.

Что морить тебя длинным описанием? Довольно, что я влюб-  
лен по уши и, если б не стыдно было говорить пиитическим языком, то я бы сказал, что весь горю племенем. Ах, брат, не верь веселому письму моему! Если б ты заглянул в бедное мое сердчишко! оно очень, очень часто и тяжело вздыхает. Что за непонятное чувство любви! Живешь без любви – скучно, влюбишься – ещё скучнее. Со всем тем ты не морщься на меня, я коллегий своих не оставляю и все с прежнею ревностию учусь».

После окончания переписки с другом, мы нигде больше не встречаем упоминания о Ханхен. Так и неизвестно, как закончилась эта история.

С немецкими студентами русские не подружились; да и про-  
фессора не советовали. В то же время в Гёттингене учился Баварский наследный принц, нареченный жених русской великой княгини Екатерины Павловны, который оказывал русским студентам свое расположение и даже давал бал в их честь. Все это, однако, были лишь внешние знаки проявления расположения к стране. Молодым людям нужна была горячая дружба и единомыслие – вещи редко возможные на чужбине.

Александр Тургенев писал: «Наше знакомство ограничивается почти одними русскими; к немцам что-то сердце но лежит». А ведь совсем недавно они так яростно спорили с Максимом Ивановичем Невзоровым, что немцы – самый умный народ в Европе, самый талантливый, работящий и культурный. Все вроде бы так. Русские отдают должное немецкой учености, талантам, а душа не лежит к долгому общению с ними, за редким исключением, которое являл Шлёцер и ещё немногие.

Однажды Кайсаров и Тургенев видели, как горел дом. Их поразили невозмутимые лица немцев, которые смотрели на огонь спокойно, словно сидели у костра после вечерней рыбал-  
ки. Александр записал в своем журнале: «…Холодные немцы стоят и рассуждают, каким бы образом тушить огонь, между тем как ни один не идет подать настоящей помощи. И огонь не в состоянии был согреть их. Какое сравнение с нашими русскими! Какая деятельность и неустрашимость видны при подобных случаях у нас в Москве – и какая медленность и равнодушие здесь… Что может быть холоднее и бесчувственнее немцев? Отец, лишившийся взрослого сына, тужит о том, что воспитание его дорого ему стоило и что он не успел ещё вознаградить столько, сколько было истрачено; брат, потерявши брата, радуется, что ему достанутся теперь кафтан и сапоги. Невероятно, но не менее того справедливо».

1803 год был насыщен. С аналитическими способностями и острым умом, однако, без «плана» и «компаса», с фантастическими воздушными замками в своем воображении, Кайсаров, жадный к учению, хватал отовсюду, что успевал. Матвей Яковлевич Мудров, впоследствии профессор Московского университета, писал о гёттингенской жизни Кайсарова: «Андрей Сергеевич, сверх сочинения, вечером издаваемого в Гёттингене под именем «русские щи», весит с Александром Ивановичем силы царей и царств».

6/18 апреля была Пасха. На православной Руси это веселый, радостный праздник не только воскресения, но и праздник разре-  
шения, как понимал его народ. В этот день (вернее, дни) после поста и многих запрещений, особенно приятно делать всё. Люди радостно целовались и были полны братского христианского и вообще благого энтузиазма. Как бы настраивались на добро: его прием и отдачу. В Германии у католиков русские колонисты ничего такого не увидели, и лютеране казались сдержанными. Все немцы хоть и набожны, но скупы на выражение чувств.

Русская молодежь собралась у Кайсарова, и они решили отметить этот праздник по-православному. Хозяин, памятуя опыт Дружеского литературного общества, чтоб придать празднику особую торжественность, произнес речь. Эта речь во многом передавала мысли произнесенной им в Дружеском литературном обществе речи «О кротости». «Речь А. С. Кайсарова в 1-й день Пасхи 1803 г.» возымела свое действие на сердца добровольно разлученных с родиной и имела большой успех.

Кайсаров по-особому понимал кротость. «В молодых людях также сияет эта добродетель, только под другим именем, под име-  
нем скромности; приписывать каждому то, чего он стоит, не превозноситься своими достоинствами и не вынуждать нагло себе похвал… слушать тех, которые нас умнее, и снисходить к тем, которые от нас могут научиться – вот честь и слава юношества!.. Теперь, я думаю, вы угадываете, как бы я определил кротость. Она есть склонность нашего сердца делать всякое добро людям, брать участие в их состоянии из одной любви к ним!.. Любовь народа ничем иным вы не приобретете, как вашим снисходительным участием в малейших их нуждах».

В майские теплые воскресенья друзья много гуляли. В один из дней они отправились верхами в Кассель, посмотреть возведение кассельского ландграфа Герольда в курфюртское достоинство. При всей пышности процедуры, русских студентов поразила монотонность праздника. Люди неохотно кричали «Виват!» и быстро расходились. Лишь вечерняя иллюминация города собрала на его улицах гуляющих и создала намек на какую-то праздничность. В России больше бы нашлось любителей пышных зрелищ и искателей способов выразить свою радость и буйное веселье.

В другое воскресенье друзья отправились на Вильгельмову высоту, с которой причудливо устремлялись вниз натуральные и искусственные водопады. На горе размесились: замок, английский сад, скульптуры, одна из которых – «Геркулес» – достигала огром-  
ных размеров; только внутрь палицы «Геркулеса», «где проделано смотровое окно, помещалось 12 человек одновременно. Здесь же была Плутонова пещера, вход в которую сторожил мифический пес Цербер. У входа стены и дверь были из красного стекла, что создавало эффект огненной пещеры, словно это какое-то дьявольское жилище. Здесь вообще встречалось много мифологических и аллегорических изображений. В одном из помещений расположилась прекрасная картинная галерея. Словом, такая прогулка давала пищу для глубоких раздумий и обогащала воображение русских, ничего подобного раньше не видавших.

Особая гордость охватила их в музее при виде вещей Суворова, к которому немцы относились с большим почтением.

Разъезжая по окрестностям и небольшим немецким городкам, лежащим поблизости, друзья не упустили возможности зайти в книжные лавки, на аукционы, или небольшие местные ярмарки. Александр Иванович писал: «Мы, брат, закупили и закупаем пропасть книг, особливо Андрей Сергеевич; а все аукционы нас соблазняют».

И другие – невеселые – события происходили в Германии в то время, когда русские студенты учились там беззаботно. В Ганно-  
вер (именно в районе Ганновера находился Гёттинген) вошли французские войска. Что удивило русских, немцы совсем не сопротивлялись, они без боя сдали позиции. У русских это не укладывалось в голове. Так вот почему Наполеон быстро и успешно шествует по Европе! Этак он может и до России дотопать. Нет! – уверял себя каждый из гёттингенских колонистов, – России ему не видать: не тот сорт материи.

Французы забрали у ганноверцев всё под видом контрибуции. Немцы были спокойны. Французские страсти им были непонятны. Все в конце концов станет на свои места, философически рассуждали немцы. В университете с пришествием французов ничего не изменилось, этот университет был у них в чести. Сам Наполеон писал к Гейне, и все теперь гонялись за копией его письма, чтоб переписать и послать своим знакомым и родне.

Кайсаров и Тургенев наблюдали на одном из воскресных немецких праздников солдат ганноверского гарнизона. Они были собой довольны, словно не отечество сдали без боя, а заслужили лавры. Все преклоняются перед новым европейским кумиром и прониклись верой в его военную гениальность, находясь за тысячу верст.

Неожиданный гром грянул 17/29 августа. Павел Сулима, приехавший из России экстраординарной почтой, сообщил то, во что ум отказывался верить: 8 июля в Петербурге умер Андрей Иванович Тургенев, двадцати двух лет. Наталья Васильевна Кайсарова писала Андрею: «У меня был Алексей Мерзляков и сказывал о болезни и смерти Андрея Ивановича; он в самой жар, распотевши, ел мороженое, простудился… Горячка кончила его жизнь».

Смерть самая нелепая – от простуды. Гуляя в жаркий день, когда в Петербурге парило, было душно, ел много мороженого (как и привыкли баловаться, благодаря потакавшему им услужливому Никите, вместе с Кайсаровым и Александром ещё в Москве), затем попал под ливень, ходил в мокром кафтане, который на нем и высох; а, придя домой, на мгновение прилег, но уснул и долго проспал в намокшей одежде. Умирал он тяжело. Озноб и судороги доставляли невероятные муки. Рядом находились Иван Владимирович Лопухин и Петр Сергеевич Кайсаров. По просьбе умирающего Петр даже пытался согреть его своим телом от страшного озноба. Эти сердечные, но в медицинском отношении наивные меры, не помогли. Андрей Иванович умер с последним вздохом на устах: «Друзья мои!..»

Многие из друзей находились за тысячи верст.

Андрей Иванович был похоронен на Невском кладбище в Петербурге[[14]](#footnote-14). Катерина Михайловна Соковнина, безутешная его невеста посадила на могиле два дерева. Сама она умерла в 1809 году, так и оставшись его невестой.

Кайсаров и Сулима, как ни были в горе, думали в первую очередь об Александре. Они прибегли к помощи умудренного опытом седого, уважаемого Шлёцера. И Шлёцер со всем даром сочувствия, призванным на помощь, сообщил Александру о смерти его любимого брата.

Вначале Александр отказывался верить. Затем воскликнул:

– Какая потеря! Боже мой! Подкрепи меня! Мы так мечтали с ним быть вторым подобием Лопухиных!.. Зачем мне жить?!

Александр Иванович сильно плакал, не мог ни о чем больше думать и заболел. Те же чувства потрясали душу Кайсарова. Чем больше они любили Андрея живого, тем беспредельнее было их горе, когда его не стало.

Кайсаров перешел в комнату Тургенева на время болезни и ухаживал за больным очень внимательно. Теперь он невольно большую часть своей любви перенес на брата своего друга, всячески желая ему благополучно пережить потерю. Когда Александру было лучше, они вспоминали Москву, дом Тургеневых, Андрея, «поддевические» собрания. Александр в таких случаях просил Кайсарова, чтоб он заменил ему старшего брата, потому что брат любил его. Кайсаров просил Александра стать для него тем, чем был Андрей. За время болезни осиротевшие друзья особенно сблизились.

Андрей Сергеевич писал Ивану Петровичу Тургеневу об Александре: «Кажется, и через несколько десятков лет воспоминание о чем-нибудь приятном было бы для меня неразлучно с мыслию о нем и о брате его. Если когда-нибудь скажут обо мне, что я имел не совсем испорченное сердце, то этим буду обязан после матушки первому Андрею Ивановичу. Счастливейшими минутами моей молодости буду им же обязан».

Регулярно Кайсаров сообщал в Москву о состоянии Александра: «Здоровье Александра Ивановича, слава Богу, хорошо. Он не может роптать на Провидение и отчаиваться, будучи вашим сыном. Будьте уверены, что я не пощажу собственного своего здоровья для брата Андрея Ивановича, в котором я почти всего лишился. – Это была скупая правда об утрате самого Кайсарова. – Для меня это первый ещё удар, который тем сильнее, что я никогда не думал испытать его… Время, может, облегчит рану, но никогда не залечит ее, никогда не наполнит сердечной пустоты».

Александр Иванович был благодарен судьбе, что рядом с ним в тяжелый момент оказался такой человек, как Кайсаров, хотя все, все русские студенты искренне ему сочувствовали. Тургенев постепенно выздоравливал, продолжая жить со своим горем, но это уже по нему стало менее замечаться. Он писал родителям: «Вечно останусь я благодарным моим товарищам, особливо же Андрею Сергеевичу, общему нашему другу, который сам имеет нужду в утешителе…»

Хотя друзья строили планы на будущий семестр, Кайсаров, например, думал брать лекции по минералогии у Блуменбаха, по коммерции у Бекмана, статистике Европы у Гельмана, по государственному праву у Шлёцера, – однако науки ещё не шли на ум, и занятия не начинались. Александр Иванович как-то сник и утратил остроту интереса к учению. Они решили пока съездить на вды, поправить свое здоровье и развеяться в небольшом путешествии верхами.

Пирмонт, рядом с которым были целительные источники, находился в одном дне пути. По дороге заехали в крепость Гаммель. На водах посетителей в это время года уже мало. Они напились, выкупались в горячем источнике, который стекал в мраморную ванну; выйдя оттуда, почувствовали, будто бы стали свежее и крепче.

Всей русской колонией гёттингенские студенты решили от-  
правиться в более дальнее путешествие на Гарц. Гарцевые горы (нечто подобное нашим Уральским) с севера на юг прорезали большую часть Германии и славились своими рудокопными заводами, старейшими рудниками, а также древностями саксонских королей. Опять они «вошли в число кочующих народов». Александр Иванович записал: «…Вы, домоседы,.. вы не верите, что и дым отечества приятен быть может. Ах! Чужая сторона научит любить свое отечество. Поезжай удивляться иностранцам и возвратись с русским сердцем!» Путешествовать, чтоб сравнивать, думать, и размышлять – вот зачем нужны путешествия.

Путь на Гарцевые рудники был живописен, он лежал через долины и горные гряды, поросшие кудрявым лесом. На фоне гор вдали маячила гигантская вершина Брокен, покрытая снегом вперемешку с туманом. Этот туманный, нереальный, как мираж, и мучительно далекий снег рождал сладостные воспоминания о России.

Тянулись бесконечные причудливые галереи диких ущелий, которые с незапамятных времен немецкие поэты населяли колдунами, ведьмами, чертями, эльфами, волшебными жабами и заколдованными змеями. Если, чуть прищурить один глаз, а другой закрыть, то пейзаж делался и впрямь нереальным: утесы приобретали человеческие лица гигантов, сторожащих колдовские владения, водопады превращались в витые хрустальные колонны сказочных дворцов, падающие в ущелье прямо из зеркала туманного саксонского неба.

А между тем, долины, в которых кое-где пробивалось солнце, казались более чем реальными с их лугами и рощами, с веселыми жаворонками в небе и козьим пастухом в кособокой шляпе, сидящим у ручья и играющим на флейте. Прямо классический пейзаж!

Наконец, группа русских студентов достигла города Клаусталь. Древние деревянные строения его остро напомнили отечество. Шиферные крыши этого городка утопали в лесах.

Отдохнув в трактире «Золотая корона», студенты осмотрели толчеи, в которых толкут серебряную руду. Затем промываемая толченая масса руды стекала по желобу, а тяжелые ее части оседали внизу, это и был драгоценный металл. Гарцевые руды богаты и свинцом, которой тоже дает много прибылей. На обогатительной фабрике работали в большинстве подростки 8-15 лет, которые выглядели как маленькие старички. Движения их медленны и размерены, глаз расчетлив, лица мрачно-сосредоточены. Наши путешественники роздали юным рабочим мелкие деньги.

Затем туристов повели на монетный двор. Серебро сперва вытягивали в длинные пруты, затем нарезали из них кружочки, взвешивали каждый, подпиливали. Опилки тоже шли в дело. Потом монеты клеймили, все это проделывая с невероятной скоростью. Готовые монеты опускали в винный спирт с солью, отчего они белели и становились подобны чистому, не смешанному серебру, хотя тогда уже серебро заметно примешивали, делая сплав.

Повсюду стоял шум, стук молотков, скрежет напильников, какая-то едкая пыль слепила глаза. К чему только не может привыкнуть человек!

Друзьям предстояло спуститься вглубь старейшего рудника, который представлял собой гору, за многие столетия выбранную изнутри, почти полую. Гора называлась прекрасно: Доротея. Кай-  
саров даже сделал рисунок спуска в Доротею – эту пасть подземного дракона. Новичков проинструктировали, одели в черное платье тамошних горных рабочих, дали в руки масляные лампады, и они спустились на 200 горных саженей под землю. Там было темно, мокро, беспрерывно действовали насосы, которые выкачивали воду, просачивавшуюся из грунта в полые места горы. Шагать нужно было осторожно и медленно, чтоб не упасть. Минеральные стены горы внутри загадочно блестели мокрым блеском окислов металла. Три часа путешествия под землей вызвали священный трепет и невероятную усталость, словно путешественники пробыли в подземном царстве сто лет. Каждый, поднявшись вверх, думал о том, как рудокопы работают здесь по двенадцать часов? На свет вышли с таким удовольствием, словно заново родились. Проводник – старый мастер рудознатец – сказал им, что они побывали там, куда ещё ни один иностранец не спускался. Друзья долго находились под впечатлением путешествия в земное чрево.

Погода испортилась, за густым туманом оказалось не видно не только отдаленного Брокена, но и ближних гор. Всю ночь лил осенний дождь, но друзья не хотели терять времени напрасно. Наняв опытного проводника, отправились в Гослар. Мрачные сосновые леса и дождь все время сопровождали их, словно желая скрыть от пришельцев древности старой Германии. Гослар – город, славный своими летописями и всяческими древностями, некогда был резиденцией саксонских императоров. Узкие, какие только можно вообразить, рассчитанные на одного человека, улочки особенно поразили русских, привыкших к необъятным просторам своих полей и степей, обширности городов. Вот каково оно, сердце древних саксов! Друзья задумчиво и долго осматривали опустевший под дождем город.

И снова они захотели спуститься внутрь горы. Раммельсберг – гора, где добывали серу, олово, золото. Горы здесь не взрывали, а подкопав внизу, разогревали огнем, пока горы сами не трескались. Повсюду стоял тошнотный жар. Внутри горы стены оказались покрыты самородной медью, во многих местах на поверхности окисленной. При лампадах зеленая окраска окислов сверкала и отражалась радужными цветами. Однако, при выходе из этого экзотического места у многих кружилась голова.

Русских поразили немецкое умение и гениальность немецких изобретателей. Внутри горы вставлены и работали механизмы – древнее города Гослар. И все это с большой точностью рассчитано немецкими механиками ещё в прошлые века. Поистине удивление вызывают дела рук человеческих! Покидая горы, Тургенев записал: «Самая земля кажется здесь несколькими тысячелетиями старее той, которую мы видим в местах ровных, и все горные окрестности кажутся развалинами древнего мира…»

Когда видишь такие развалины, невольно приходит на ум: что по сравнению с руинами истории раны наших сердец?! Так под развалинами древнесаксонского мира была погребена острая боль первой и самой сильной дружеской утраты – смерти Андрея Тургенева.



Глава десятая

Солнечные боги славян

Р

усская колония студентов привыкала к Германии. Все уже свободно говорили по-немецки. Внушительные фолианты на полках университетской библиотеки не пугали русских. Они мужественно преодолевали встречное течение наук, и поглощали все, что только успевали усвоить. Ничто уже не зависело от их желания и настроения: деловой ритм германской жизни закружил русских студентов в своем водовороте. Если вначале Кайсаров хотел только познакомиться с науками для своего удовольствия, то теперь он работал как настоящий исследователь, штудируя том за томом. Лекции чередовались уроками иностранных языков, переводами, встречами с учеными. Даже холодными осенними и зимними вечерами, собираясь у чьего-нибудь очага, все меньше говорили о доме, больше и больше – о науках, профессорах, книгах; философствовали, спорили, мечтали.

В 1803 году – втором учебном – Шлёцер задал им самостоя-  
тельные творческие работы по русской истории по избранной каждым теме. Александр избрал царствование князя Владимира – крещение Руси. Это соответствовало его характеру и интересам; и позднее он часто связывал свои интересы с русским Православием и его устроением.

Кайсаров же всегда мечтал, когда историки переступят погра-  
ничную черту царствования Владимира и заглянут глубже в исто-  
рию русских и вообще славян: что же там было до христианства? Неужто язычники, от которых пошли христиане, действительно были нелюди, как это иногда представлялось в церковной литературе? Он выбрал тему: «Славянская мифология».

Еще в Москве его интересовала древнейшая история славян, их песни и сказки, а особенно – мифы. Он много читал. Настольная книга – «Владимириада» («Владимир возрожденный») Хераскова (1785) – перечитана много раз. Не только история Владимира ин-  
тересовала Кайсарова, его занимали участвовавшие в тех событиях Боги. Казалось именно для них предназначен величественный стиль Хераскова и архаические высокие гражданские слова, ибо граждане, жившие в его храмах под небесами, были – Боги.

*Созижден высоко Перунов гордый храм,*

*Он тени распростер далеко по горам:*

*Пред ним всегда горит неугасимый пламень,*

*При входе утвержден краеугольный камень,*

*И камнем гибели народом наречен…*

*Сей мрачный храм вещал ужасного кумира.*

*На нем златый венец, багровая порфира;*

*Извитые в руке перуны он держал,*

*Которыми разить во гневе угрожал;*

*Златые на челе имел велики роги,*

*Серебряную грудь, имел железны ноги;*

*Горел рубинами его высокий трон,*

*И богом всех богов именовался он…*

Описываемые с ужасом христианина, превращенные с этих позиций во врагов человека, дохристианские Боги пробуждали исследовательское любопытство Кайсарова. Античные идеалы поколения тоже повлияли на решение заняться славянской мифологией. Как же быть «русскими римлянами», или «русскими спартанцами», если нет своих древних мифов, как у греков и римлян, словаря, удобного для справок.

В 1800 году появилось первое издание «Слова о полку Игореве», где упоминались русские Боги. Это поэтическое и гражданское произведение всколыхнуло всю передовую общественность, потому что задело глубокие корни памяти. Русские почувствовали вдруг силу своего национального искусства. Многие хотели узнать, что это за Велес, внуком которого называет себя Боян, и почему русские именуются «Даждьбожьими внуками»? И ещё многое другое. Боги и богоравные герои царили в неизвестной доселе древней русской истории и искусстве с его могучей образностью.

Кайсаров начал путь в неизведанное, шествуя по книжным стопам. С детских лет он знал «Древнюю российскую историю» М. В. Ломоносова (1768), читал краткий очерк, или, как тогда го-  
ворили, «чертеж» мифологии Михайлы Попова («Описание древнего славянского языческого баснословия, собранного из разных писателей», 1768), а также «Абевегу русских суеверий»[[15]](#footnote-15) Михайлы Чулкова (1786), – все, что затрагивало славянские мифы. Но Ломоносов был недостаточен, хотя и бесспорен. Херасков слишком поддавался поэтическому воображению и смело дорисовывал недостающие картины. Чулков собрал не столько мифы, сколько суеверия, описания примет, гаданий, всяких басен, полных тайн и мнимых ужасов. Хотя есть в его сочинении некоторые мифологические славянские персонажи, но вперемешку с греческими и римскими. ещё менее удачной оказалась книга Попова: «Хотя этот чертеж так краток, что содержится только в двух печатных листах, однако ж в нем находится довольно пустого… ошибочна и несовершенна книга сия». Но находились желающие переписывать эту книгу, присовокупляя к ней «нечто из китайской мифологии».

Хотя это нелепо и грустно, положение со славянской мифологией в конце ХVIII – начале XIX веков обстояло именно так: ее «путали» с китайской, греческой и Бог знает с какими ещё мифологиями.

Неизвестность предмета, неизведанность привлекали Кайсарова необыкновенно. ещё в Москве он написал на эту тему небольшое сочинение, которое оставил у Мерзлякова на предмет возможного издания; но оно, видимо, далеко не совершенное, так и не было напечатано. Мерзляков писал в Гёттинген: «Книгу твою, Андрей Сергеевич, ещё не начали печатать; потому что переписчик твой, не разобрав твоей рукописи, наврал пуще Божьего милосердия. Я перемарывал ее снова, и снова давал переписывать…»

В Гёттингене Кайсаров с новым энтузиазмом взялся за изучение темы, благо здешняя библиотека давала простор для расширения познаний. Кроме «Нестора», изданного Шлёцером, и русских летописей, прочел Кайсаров «Деяния данов» Саксона Грамматика, жившего в XII веке датского хрониста-летописца, собравшего также древнейшие саги. Этим материалом пользовался ещё Шекспир, взявший из Грамматика легенду о Гамлете.

Интересовался Андрей Кайсаров трудами поляков, ведь это их называли историки потомками сарматов. Прочел почитавшуюся вершиной польской средневековой историографии «Историю Польши» Яна Длугоша (1415-1480); а также неистового Мартина Кромера (1512-1589), средневекового епископа, участвовавшего в насаждении католицизма в Польше, писавшего полемические кни-  
ги, клеймившие язычников; кроме того – Адама Станислава Нарушевича (1733-1796), поэта и историка, впервые критически осмыслившего прошлое своей страны, создавшего «Историю народа польского».

Понравился Кайсарову Гельмольд (ок. 1125 – после 1177) – немецкий миссионер, автор «Славянской хроники» и немецких средневековых хроник, где описывал захват германскими феода-  
лами земель полабских славян, их христианизацию. С критическим интересом прочел отца и сына, Михаила и Авраама (1656-1740) Френцелей (иногда их считают братьями), живших в Сербии. Михаил (1628-1706) – первый переводчик Евангелия на верхне-лужицкий язык, автор труда о языческих Богах, как они отражены в германской поэзии. Аврааму принадлежали многие языковедческие (сербского языка) труды, история народа и обычаев Верхней Лужицы.

За окном комнаты осенние дожди сменялись мокрым снегом, а Андрей Сергеевич, устроившись у горящего камина и попыхивая трубкой, неустанно переводил и переводил иностранные книги то с польского, то с сербского, то с немецкого, то с чешского, то с французского. Языки, протяженные во времени и архаизированные в тех сочинениях, к которым он обращался, поддавались с трудом. Приходилось даже прибегать к помощи учителей-переводчиков.

Андрей Сергеевич читал Вацлава Яна Роса (ок. 1620-1689), чешского государственного деятеля, поэта, известного своими трудами по филологии (грамматики чешского языка, словарь). Поэтическим языком, богатой эмоциональностью привлекал молодого исследователя Готфрид Арнольд (1666-1714), немецкий поэт и священник, создатель мистических духовных песен, написавший «Не предвзятую историю церкви и ересей». Из французов заинтересовали два археолога: Бернард Монфокон (1655-1741), автор «Объяснения древностей» и Антуан Банье (1673-1741), специалист по древним надписям, автор диссертации о фуриях (нелишне заметить, что фуриями, после христианизации, называли славянских полубогов, мелких божеств, приписывая им злые, демонические черты, которых в действительности не было), книги «Мифы и сказки древней истории».

Приходилось читать много лишнего, пустого и вздорного, что утомляло и раздражало; но попадались и крупицы золота искомой информации. Многие книги давали всего несколько названий (при-  
том, повторяющихся из издания в издание) Богов, а чаще были наполнены догадками, порой весьма сомнительными. Некоторые писали филологически утяжеленно или пользовались церковной лексикой, что совсем было не нужно. Иные догадки, оценки казались наивны и пусты. Книги, там, где упоминалось о древних обычаях, были полны сожалениями «об ослеплении славян» язычеством, забиты сотнями изречений из Ветхого и Нового заветов. Славянские слова и понятия часто производились от греческих и еврейских слов. Потратив немало времени на перевод и прочтение книги, можно было найти всего несколько названий славянских Богов. Так – сплошь и рядом!

Антон Карл Готлиб (1781-1818), историк, лингвист, юрист, автор труда «Первые четыре опыта о древних славянах» в «Прибавлении…» к своей книге больше других сказал о славянских Богах, «но и здесь все так сказать, перебросано», – писал Кайсаров. Самуил Гроссер (1664-1736), живший в Сербии, в своих лаузицких достопамятностях представил только имена Богов Лаузица, но зато он дал десять рисунков, по которым можно было судить, как выглядели кумиры хотя бы в последние перед их свержением годы. С удовольствием прочел Кайсаров описание священных древностей оботритов Андрея Маша, найденных в Прильвице (Прилебице, Прилбице, само слово означает шлем с закрытым лбом). Книга была роскошно издана в Берлине в 1771 году с множеством изображений Богов и предметов культа. Автор этого труда впервые разделил славянских Богов на Богов и полубогов (что вслед за ним сделал и Г. Глинка).

Так изучались труды западноевропейских ученых. Когда по-  
желтевшие страницы древних разноязычных книг перестали таить для него секреты, Андрей Сергеевич засел за писание своего труда на немецком языке под названием: «Опыты славянской мифологии в азбучном порядке, сочиненной российской службы штабс-капитаном Андреем Кайсаровым».

Труд Кайсарова начинался с обнародования (во вступлении) горьких истин, к которым он пришел через свои поиски: историк требует «памятников, избегших от опустошения времени. В учении о Богах могут служить такими памятниками: сочинения, изображения идолов, священные в древности сосуды, храмы, обычаи, сохранившиеся доселе, и тому подобные предметы. Но всего этого у славян или вовсе нет, или есть очень немного… Конечно, встречаются нам инде немногие и притом весьма рассеянные известия, которые, однако, сообщают то одни имена, то недостаточные и темные повествования… В России все совершенно пропало, или, по крайней мере, до сих пор не обнаружилось».

Действительно, откуда черпать познания? Андрей Кайсаров анализировал лишь то, что находил в книжных источниках. Он задумывался над тем, как выглядели древние Боги? Как изображались?

Из какого материала делали статуи? Он писал: «Статуи, вырытые из земли в Прильвице, доказывают, что наши предки довольно были искусны, умев даже чертами лица изображать характер божества».

Последний из известных человечеству дохристианских хра-  
мов – целый городок славянских Богов – был на мысе Аркон острова Рюгена на юге Балтийского моря (ныне в Германии). Саксон Грамматик видел этот храм своими глазами и описал. Главным здесь был Бог Световид (славян-венедов). В 1163 году датский король Вольдемар I вместе с епископом Абсалоном, который руководил этими «духовными» делами, сжег храм и уничтожил изваяния Богов.

Нередко Кайсаров и Тургенев размышляли о древнейшей истории и мифологии, ибо тема Тургенева тоже связана с этим.

– Почему, как ты думаешь, – спрашивал Тургенева Кайса-  
ров, – славяне так долго не строили храмов для своих Богов?

– Трудно сказать, может были и более древнейшие храмы, но до нас не дошли; потом не успевали отстраивать, меняли места, боясь врагов. А скорее не хотели вмещать невместимое в четырех стенах и высокое ограничивать крышей.

– Они были не глупы. По-твоему, они могли быть философами?

– Это вряд ли называлось тогда философией, просто было умно.

– Сколько книг я ни читал, – всюду нахожу, что обыкновение боготворить Богов в густоте лесов было наиболее употребительно у славян. Даже когда Боги получили храмы, то храмы, большей частью, возводились в лесах. Может быть, жрецы думали уедине-  
нием и мраком сильнее разгорячить воображение народа?

– Не думаю. Скорее они хотели отвести их от мирской суеты и от возможного нападения врага на селение.

– Их храмы не так-то худо строились, как некоторые думают. Грамматик писал, что храм Световида в Арконе был отделан весьма утонченно, со вкусом. Наружные стены украшались различными резными образами. Внутри стены обивались пурпурными коврами, там же находилось для украшения много рогов от разных зверей, покрытых резьбою. Храмы были богаты золотыми и серебряными утварями высокой работы.

– Удивительно! Храмы исчезли, но до сих пор остались ещё языческие обычаи, празднества.

– Кто поверил бы, что русский семик, этот любимый праздник наших крестьянских девушек, был некогда языческим. Он идет от аграрных культов. Это праздник семени, так как примерно 4 июня прорастают зеленя, ростки входят в силу. Породившее их зерно, семя, мифический податель жизни, родитель, яр – отслужило и может умереть. Крестьяне весело с непристойными шутками по-  
гребают его (жгут или топят). В это время отдают дань веселья сладострастному Богу Туру и суровому Велесу, жертвуя им хороводами, пением, поцелуями через венок свежих цветов и всякими любовными действиями. Я прочитал у Длугоша, жившего в пятнадцатом веке, что и при нем ещё было у поляков много славянских праздников, для чего отводилась площадь под названием Стадо. Жаль, Александр, не жили мы с тобой в те времена, насмотрелись бы всяческих страстей.

– Жаль?! Вот принесли бы тебя в жертву какому-нибудь кровожадному Богу, – узнал бы, как жалеют!

– Наслушался ты, брат, поповских бредней, стращающих темных! В жертву приносили волов, а большею частью – овец. Но что в жертву приносили людей у славян (за исключением некоторых случаев с ратными врагами – самими кровожадными), это заслуживает точнейшего исследования. Может быть в глубокой древности такое и встречалось, но не в последнее время перед принятием христианства.

– Все-таки славянская мифология мертва, – сказал Александр.

– Мифология не мертва. Она омертвлена нашим незнанием. Как могут быть мертвы для историка мысль и образы предков? Эту религию надо понять. Она идет от естества жизни и размышления над нею. Представь: пахарь кланяется над своим полем от солнца до солнца. Солнце и крестьянин трудятся для процветания земли. Они союзники вечной жизни. Действительность, связанная с землей, отмечена печатью бессознательной и вечной мудрости, она служит фундаментом для всего главного, прочного, подлинного, непреходящего. Не случайно агрессивность и разрушительная сила всегда исходит от людей, оторвавшихся от земли.

Мы с почтением взираем на обработанные поля и дымы мирных уютных деревень. Мы уважаем труд. Но кто назовет прибежище духа и измерит работу духа на невидимом и необозримом поле? Кто ценит сеятеля зерен духовной нивы? Закончив дневной труд, он чувствует только тщетность своих усилий, ощущает, что мысль, рождающаяся с таким трудом, погибла для потомков. Может это отчаяние натолкнуло человека на почитание Богов как вершин духа и хранителей его. Мы любим мыслить, и этот труд сладостен для нас; он так же вечен, как труд пахаря. Как мы можем упустить из поля зрения этот гигантский мыслительный труд славян?!

Такие беседы с Александром обыкновенно оканчивались за полночь, и Кайсаров сам ещё долго думал о превратностях отечественной истории. Не столько недостаток источников, относящихся до древнего славянского баснословия, сколько нестарание о распространении тайн Богов тому причиною, что мы не имеем до сего времени систематического описания Богов своих, – думал Кайсаров. Бывшие вскоре после принятия христианства писатели имели причины мало упоминать или совсем умалчивать о служении отеческим богам, тогда ещё не совсем истребленном и уважаемом как вера отцов. Но нам вероучение предков надо разыскивать. Ведь Богов представляли – это не секрет – по образу и подобию своему, то есть по своему народному свойству, нравам, образу жизни, степени просвещения и даже деятельности фантазии. Изучив их, лучше можем узнать умное и нравственное обличие наших родоначальников. Даже самое название богов (язык) говорит о народе этого языка весьма выразительно.

«Жалкая судьба славянской мифологии, – писал во вступле-  
нии к книге Кайсаров. – Я принял намерение и с своей стороны помочь ей несколько… Одна только любовь к отечественной истории побудила меня написать сии немногие страницы». Так скромно завершил Кайсаров предисловие, желая, по его собственным словам, представить в данном труде картины древности, подновленные свежими красками.

Почему Андрей Сергеевич избрал «азбучный» порядок для изложения своего труда? Отчасти потому, что в восемнадцатом веке словари, наконец, благодаря примеру европейских просвети-  
телей-энциклопедистов, начали появляться в России. На них был спрос, Россия жаждала знаний. Это была новая рациональная и упорядоченная форма распространения знаний. Вторая причина – один человек тогда считал себя вправе и в силах упорядочить, классифицировать и преподать целую отрасль знаний, причем на это у него уходила даже не вся жизнь. За двадцать лет до описываемых событий княгиня Е. Р. Дашкова отважно взялась за труд составления первого энциклопедического «Словаря Академии Российской». М. Чулков написал словарь суеверий, который, несмотря не недостатки, был популярен среди просвещенных соотечественников. Словом, примеры были перед глазами.

И, наконец, ещё одна причина: ко времени написания труда у Кайсарова уже был план его создания. В журнале «Иппокрена, или утехи любословия» за 1799 год (часть 2) опубликована небольшая заметка «Нечто о баснословии» без подписи автора. Журнал, в котором у Андрея Сергеевича вышла первая в жизни публикация, печатались все друзья, братья, московские знакомые, он просматривал тщательно и регулярно. А поскольку о мифологии думал давно и тайно трудился над составлением конспекта из разных источников, как бы личного справочника по славянской мифологии (а заодно – римской и греческой), то заметка в «Иппокрене…» была прочитана Кайсаровым внимательно.

Среди справедливых рассуждений о том, что мифология славян во многом утрачена и восстановить ее трудно, автор показывает и путь, каким единственно, по нынешнему времени, может идти исследователь данного предмета, – «выжать сок из тех записок», исторических источников, которые существуют, «перецедить его». Далее неизвестный автор писал, как должно выглядеть это сочинение в окончательном виде: «Надлежит представить полную галерею лиц, блистающих в баснословии, изобразив их в отличных свойствах…

О каждом предмете сделать особенное рассуждение; при конце творения приложить о г л а в л е н и е, по которому можно признать то собрание картин живописным словарем басней; книги сей ещё недостает к воспитанию нашего юношества».

Кто автор заметки, так ясно предсказавшей труд Кайсарова за три года до его окончательного (1803) написания? Не исключено, что таким автором мог быть и сам Кайсаров (тогда это была бы его первая публикация); но доказательств нет. Так или иначе, по соб-  
ственному замыслу или по замыслу другого человека, который почему-либо не осуществил впоследствии своего намерения; или – его работа до нас не дошла; или – осуществил, но в другом виде, отступив от задуманного, – Кайсаров один написал свою оригинальную по тематике, классическую по форме книгу-словарь именно по тому, указанному в статье «Нечто о баснословии», плану.

В начале исследования рождалось больше вопросов, чем отве-  
тов на них. У христианина, привычного к главенству одного Бога, появлялись естественные вопросы: был ли у славян верховный или главный Бог? Кто? Кто вообще главнее? Кто – второстепенные божества? Кто из Богов древнее? За что отвечал или чему служил тот или иной из Богов? Каковы были их символы? Каковы атрибуты? Боги дополняли друг друга или противоборствовали? Как разобраться посреди сего хаоса?.. Вопросы, вопросы…

Об одном из главных богов восточных славян – Даждьбоге – находилось мало сведений. Ясно, что это Бог, дающий все на свете. А вот соответствовавший ему бог западных славян Световид подробно описан Саксоном Грамматиком. Статуя Световида – громада сверхчеловеческой величины с четырьмя головами. В правой руке его – рог, оправленный гравированным металлом. Ноги сделаны из другого, видимо, более прочного дерева. Статуя вкопана глубоко в землю. Деревянный храм Световида состоял из двух отделений: одно увешано пурпурными коврами, другое отделено четырьмя столбами с завесами меж ними. Здесь и находилась статуя, висело также седло его коня, уздечка и меч. При храме содержались триста всадников с лошадьми, участвовавшие в войнах. Кроме того, при храме содержали ещё белого коня, принадлежавшего собственно богу, а также служившего для предсказаний. В честь Световида устраивались пышные праздники. Главный из них проходил ежегодно после жатвы. Тогда к храму стекалось великое множество народу, приносившего собранные плоды. На другой день начиналось само торжество. Служитель бога осматривал рог, находившийся постоянно в руке Световида; если он ещё был наполнен вином, это служило предзнаменованием благословенной жатвы на будущий год. Потом являлась новая процессия. Каждый год славяне приносили Световиду огромный сладкий пирог. Жрец становился за пирогом и, если его не было видно за пирогом, то урожай должен быть хорош, а если пирог мал, люди оказались мало щедры к богу, то и урожай будущего года мог не удаться. Все богослужение обычно оканчивалось призывом пребывать всегда верными богу Световиду, а также роду своему и земле. После этого был всеобщий пир. Предки славян издревле были добрыми хлебосолами. Сейчас же мало кто догадывается, что святки – игры в честь бога Световида. Остается жалеть, что христианская нетерпимость не сохранила для потомков последний славянский памятник,– храм этого бога.

Лада почиталась богиней любви и всех любовных удовольствий. Все безбрачные приносили Ладе жертвы цветами и травами, надеясь получить счастье для будущего супружества. Главный кумир Лады стоял в Киеве, а многие находились ещё в разных других местах Древней Руси. Имя ее часто повторяется в русских, украинских, белорусских и литовских песнях. Кайсарову нравилось поэтическое описание Богини Херасковым:

*Богиня, отрока державшая в руке,*

*Являлась в бисерах и в миртовом венке;*

*У ней распущены власы, подобно злату;*

*За щедрости ее цветы приносят в плату.*

С приходом весны, когда природа сама вступала в союз с Ярилой, наступали Ладины праздники. В эти дни играли в горелки. Гореть – любить. Любовь часто сравнивали с красным цветом, огнем, жаром, пожаром. Остуда – нелюбовь. С корнем «лад» связаны многие слова брачного значения. Лад – супружество и вообще согласие; ладковать – сватать; лады – помолвка; ладило – свет; ладники – уговор о приданом; ладканя – свадебная песня; ладный – красивый. Лада называли любимых, это значение слова нашел Кайсаров в «Слове о полку Игореве». Лада группировала около себя других божеств «семейного ряда». У нее было дитя (в разных областях почиталась женская или мужская его ипостась) Лель, Леля, Ляля – то есть любовь. За Лелем следовал Полеля – по любви следующий, или брак, бог супружества. Он изображался в простой будничной рубахе, на нем был терновый венец и такой же венок с шипами он подавал супруге. Этот бог благословлял людей на будничную жизнь, полный терний семейный путь. Следующая в глубь семьи ступень – Дид и Дидилия. Дед – хранитель рода. детей, представитель родового старейшинства, который усмиряет страсти внутри своего дома, хранит основные принципы морали рода, строго следя за их исполнением и карая нарушителей. Белорусы, украинцы называли дедом (дидом) домашнее божество – хранителя домашнего очага, печного огня. Дидилия – богиня супружества и материнства, хранительница женщин и детей. Длугош называл ее Дзифилия, Френцель именовал ее ещё и Цизою, производя имя от польского слова «циц» (грудь женщин).

Ладе сопутствовал и Услад – бог не столько пьянства и бесконечных развлечений, как думают иногда, но – покровитель муз: музыки, танцев, пения, веселых скоморохов и почтенных сказочников. Перун – бог громовержец. ещё в 980 году князь Владимир приказал соорудить статую Перуна в Киеве. Перун был сделан из дерева, голова из серебра, а борода из золота; ноги у него были железные, одной рукой держал он камень в виде молнии, украшенный драгоценностями. Неугасимый огонь пылающего дуба горел перед ним. Перуну посвящали волосы с головы и бороды, посвящали ему целые заповедные леса, из которых запрещено было брать что-либо. Древние прусаки приносили Перуну в жертву белых коней. По приказу Владимира был сооружен Перун и в Новгороде на берегу Волхова. Но недолго ему пришлось постоять. В 988 Владимир принял христианство и приказал разрушить статуи отеческих Богов. Связаны с Перуном Гром, Молния, Град, Дождь, Ветры, Змеи Огненные, а также Богатыри – Святогор, Горыня, Дубыня, Поток-богатырь и др. Сопутствовали Перуну и мелкие духи – леший, шишиги и проч.

Семаргл – от слова «семя» – священная крылатая собака, ох-  
ранявшая семена и посевы. Как бы олицетворение вооруженного добра. Позже Семаргла стали называть Переплутом; культ Переплута справлялся в русальную неделю с 19 по 24 июня.

Боги подземного царства – Ний, Чернобог, Кащей – также бы-  
ли связаны с культом предков, с Перуном и сменой временных циклов зимы и лета, жизни и смерти.

Андрей Кайсаров осенью 1803 года и зимой почти не бывал лиш-  
него на улице. Боялся, чтоб снова не разыгралась лихорадка. Быстро добегал до университета и обратно – вот всё его гуляние. Разгорячив камин и позвав к себе друзей, любил проводить дома долгие вечера. Если друзья не сходились, – снова думал над своей мифологией.

Велес – один из древнейших славянских богов, – покровитель  
ствовал домашнему скоту. Скот считали основным богатством племени, семьи, поэтому Велес был ещё и бог богатства. Слово «волхв» тоже связано с Велесом и происходит от «волосатый», «волохатый».

Каково же предназначение загадочных, гонимых христианами волхвов? Большая часть названий богов, явлений и предметов, дан-  
ных народом под наитием художественного творчества, основана на весьма смелых метафорах. Но те исходные нити, к которым они были прикреплены изначала, часто рвались, метафоры теряли свой поэтический смысл, принимались за простые, непереносимые выражения и в таком виде переходили от одного поколения к другому, переживая века, дробясь по местностям, кочуя с народами. Одни звуки заменялись другими. Словам придавались новые значения. Смысл древних речений становился все загадочнее и темнее, метафорический язык утрачивал свою общедоступность, ясность. Для того, чтобы понять неясное, понадобилась помощь вещих и знающих свой язык и культуру людей, жрецов-истолкователей. У славян это были волхвы – своего рода ученые, мудрецы древности. О них ходила слава как о пророках и прорицателях.

Кайсаров долго не мог объяснить имени Макошь или Мокошь. Между тем, это было древнейшее божество восточных славян. Имя составилось из двух частей: «Ма» – мать и «кошь» – кошелка, корзина, кошара; а также – судьба (кошт). Это богиня урожая и богиня судьбы, жребия, случая, доли (кошта). Обязательный атрибут ее – рог изобилия. Именно поэтому Макошь хозяйствовала на торгу, покровительствовала домашнему хозяйству: стригла овец, пряла, наказывала нерадивых. Она также покровительствовала браку и семейному счастью, как бы пряла «нить судьбы».

Такое разнообразие понятий древних славян о разных отрас-  
лях жизни и обожествляемых ими душах давало Кайсарову уверенность, что славяне, как и другие, считавшиеся культурными народы заслуживают не меньшего уважения. Если нам что-то непонятно, то это означает лишь то, что нам одного из звеньев знания недостает. Задача ученого восстановитъ звено, если возможно. Кайсаров пытался это сделать, хотя не всё ему удавалось. «Славянская и российская мифология» Кайсарова, по нашим теперешним меркам, во многом наивна и полна недостатков. Например, Кайсаров не дал классификации богов во времени и пространстве, так как мало знал об их происхождении. Правильно начав изучение славянской мифологии с древнейшей ее ветви – западных славян, – Андрей Сергеевич мало знал мифы и фольклор собственного народа, которые, вправду сказать, тогда и не изучались. Хорошо владея латынью и немецким, он многие слова анализировал путем сопоставления (помимо славянских языков) с этими языками, в то время как, в первую очередь, необходимо было учитывать восточные, индо-иранские языки. Так произошло и с мифологией: сопоставления там, где они есть, – были с римской и греческой мифологиями, в то время как больше параллелей найдется у славянских мифов с мифами праотечества – индоиранского мира.

Однако, в то время «Славянская и российская мифология» Кайсарова стала событием. В начале 1804 года словарь был издан в Гёттингене на немецком языке. Тут же Кайсаров послал книгу друзьям – Тургеневу-отцу, Жуковскому, Мерзлякову, Воейкову – они, вместе с Александром Тургеневым, стали первыми распространителями книги. Уже из Москвы, воротясь из Гёттингена, Александр Тургенев писал Кайсарову: «Пришли, брат, мне также книжек десять твоей мифологии; мне надобно дарить охотников; если можно, и – больше; меня все о тебе спрашивают; а я – и книжку в руки… Нельзя ли шлёцеровых рецензий в Гёттингенском журнале и копий с тех рецензий, кои вышли на твою книжку».

Казалось, такая удача – ранний выход книги – залог дальнейших успехов литератора на этом поприще! Но никто не знал тогда, так же, как и сам Кайсаров, что эта книга окажется для него единственной, вышедшей при жизни (и после смерти).

Начались переговоры об издании словаря на родине. Книга писалась несколько месяцев и тотчас вышла в Германии, перевод же ее, цензура и издание (при том, что типографией руководил друг Кайсарова Мерзляков, он же и редактор, цензором был хорошо известный Прокопович-Антонский, а переводчиком Аллер, (которому ещё в Москве Кайсаров помогал найти работу и устроиться с семьей) продолжались три года.

Русский человек пишет об истоках отечественной мифологии на немецком языке и издает книгу в Германии, а немец, живущий в России, переводит ее на русский язык и тогда книга издается в Москве. Не парадоксальная ли логика событий? Кайсаров тоже немало удивлялся ей: «Кто бы мог вообразить, что внутри просвещенной Европы есть такие цензоры, которые не выпускают в печать книги об иных религиях, опасаясь, что это критика на монахов!» Александр Тургенев писал отцу, отсылая свой трактат об исторических разысканиях: «Если цензура не захочет пропустить место о крещении Владимировом, то тем хуже для истории, которая должна быть основана на одной только истине».

Увы, не интересы исторической науки часто были важны цен-  
зорам. Важно было не допустить ереси, антицерковной литературы, чтоб таким образом не впасть в немилость духовенства; а также, чтоб в сочинении не было особо «вольного духа». О цензуре в девятнадцатом веке ходило множество анекдотов. В одном из них рассказывалось о цензоре, требовавшем запрещения поваренных книг из-за имевшегося там выражения «поставить на вольный дух»; а в другом – о требовании цензора называть Магомета «лжепророком». Но, если это была переводная книга, – то там уж можно всё, что угодно. Кайсаров с горькой иронией писал о цензорах, «которые заставляли подписывать на книгах: перевод с иностранного». И вот такой магический пропуск, который дает одно только словно «перевод», появился.

С русским изданием «Славянской и российской мифологии» Кайсарову не очень повезло. Перевод, редактирование, корректи-  
рование и печатание книги производилось в его отсутствие (в 1807 он был в Гёттингене, а в 1810 – в Саратове), и книгу напечатали, а затем перепечатали, не исключая ошибок. Оба русские издания идентичные и не лишены лексических и переводческих неточностей. Может, это одна из причин, почему так долго в наши дни никто не решался переиздать книгу Кайсарова. Таким образом, известно, что мифология Кайсарова, написанная в 1803 году, не знала позднейших редакций автора. Точность датировки всегда важна для определения того, какой вклад в отечественную науку ученый внес первым.

Наряду с критическими замечаниями по отдельным положениям столь сложного и загадочного предмета, как славянская мифология, о книге Кайсарова, сразу же после ее немецкого издания, появились положительные отзывы, в коих было принято в соображение, что труд составлен при самых неблагоприятных условиях, то есть при полном отсутствии научной разработки предмета.

На ее немецкое издание написал отзыв виднейший славист тех лет, чех Иосиф Добровский (1753-1829), один из основателей сла-  
вяноведения, который наряду с критическими частными замечаниями (он, например, считал, что Коляда, Купала – не боги или божества, а торжества, на что мы можем тоже теперь возразить, так как известно, что Коляда – одна из ипостасей бога Солнца; Кродо Добровский относил к саксонским богам, на что мы теперь тоже можем возразить, так как именно в русских летописях встречаются выражения «крады и требища идольские», таким образом, известно, что крада – жерственный костер, или место, где сжигали мертвых; не исключено, что и бог, ведавший этими делами, назывался Крада или Кродо) в целом положительно оценил это исследование.

Шлёцер тоже тепло отозвался в печати на труд своего ученика.

Рецензент из «Северного вестника» в 1805 году писал: «Книга Кайсарова имеет всю историческую важность; на нее можно везде полагаться. Она почерпнута из лучших источников… Доказательства в ней ясны и основаны на историках, всеми принятых и почитаемых. Словом сказать: она первая показала путь, как должно настоящим, ученым образом писать о сей материи…»

Откликнулись на необычную книгу и «Московские ученые ве-  
домости»: «Древняя славянская мифология весьма заслуживает старательнейшего исследования, она более касается до нас, нежели египетская, греческая, римская и скандинавские мифологии, с которыми, однако ж, мы обыкновенно более знакомимся… Опыт, который к распространению основательнейшего познания славянской мифологии сделал Кайсаров… сей опыт весьма драгоценен… и имеет все право на нашу благодарность».

Исследование А. С. Кайсарова по праву заняло свое место в каталогах библиотек Гёттингенского, Лейпцигского, Московского, Дерптского и других университетов.

Этой книгой пользовались Карамзин и Дмитриев. Александр Тургенев писал Кайсарову в 1805 году из Москвы в Гёттинген: «Был с Дмитриевым у Карамзина, обоим сказал, что ты им послал свою книжку с надписью, но что они, видно, как и многие другие, ещё не получили ее. Благодарят усердно оба. Дмитриев хотел до получения книжки отвечать сам тебе». Вышедшую в 1804 году «Мифологию» Кайсарова Карамзин во многом пересказал в III главе «Истории государства Российского», над которой он как раз работал после 1804 года, дополнив, что само собой разумеется, и сведениями из других источников.

Батюшков использовал трактовку мифов Кайсаровым при изображении языческих божеств в повести «Предслава и Добры-  
ня». Сам Батюшков сделал такое примечание: «Конь бога Световида имеет дар пророчества. Смотри мифологию славян г. Кайсарова».

В библиотеке Тургеневых мог читать эту книгу Пушкин, живший некоторое время в их квартире на Фонтанке в Петербурге; Александр Тургенев – наставник Пушкина, отвозивший его в лицей и рассказывавший о славянских странах, о сербах, о Гёттингене, не мог не дать почитать Пушкину книгу о славянских мифах, которыми Пушкин живо интересовался. Жуковский постоянно помнил книгу Кайсарова, перечитывал, а также и распространял. Лермонтов, слышавший о Кайсарове как об одном из родственников-героев и литераторов (от бабушки Арсеневой и от своего преподавателя русской словесности Мерзлякова, который к тому же был редактором, издателем и распространителем книги Кайсарова) мог поинтересоваться ею; к тому же она была в библиотеке Московского университета, где Лермонтов учился. Сохранился список книг из библиотеки Гоголя, предъявленный им при таможенном досмотре в поездке за границу. Там значится «Славянская и российская мифология» Кайсарова, возимая великим писателем с собою на чужбину. Историк и этнограф А. А. Котляревский, преподававший в Дерптском университете во второй половине XIX века, был знаком с мифологией Кайсарова, которая ему пригодилась в период подготовки магистерской диссертации «Погребальные обряды языческих славян» (1868). Митрополит Станислав Сестреневич-Богуш «повторил» (по словам Срезневского) книгу Кайсарова. Об этой книге знали братья Киреевские (родня Жуковского), А. Н. Афанасьев и многие другие русские писатели.

Таким образом, А. С. Кайсаров своим, хотя и скромным трудом органично влился в русскую литературу XIX века и русскую филологическую науку.

Были случаи, когда книгу Кайсарова ставили позже или вме-  
сто (попросту путали) сочинения Г. А. Глинки «Древняя религия славян», 1804. И то и другое неверно. Обе книги писались независимо друг от друга и одновременно в разных местах. Сочинение Глинки в Смоленске и Дерпте, Кайсарова – в Москве и Гёттингене. Вышли они, по случайному стечению обстоятельств, в один год – 1804 (причем у Кайсарова в самом начале года); у Глинки на русском языке в Митаве, у Кайсарова на немецком в Гёттингене. Внутри этих исследований есть много сходства, чувствуется, что в основном авторы изучили тот же круг работ по данному предмету (однако, Глинка опустил реферативную часть своего труда). Книги эти взаимообогащают и дополняют друг друга, но не дублируют, как считают некоторые. Книга Кайсарова – словарь. Книга Глинки – систематическое описание Богов. Система состоит в том, что автор делит Богов на «выспренних» (то есть небесных), земных и водных, рассматривая отдельно каждую группу.

«Славянская и российская мифология» Кайсарова теперь переиздана в книге «Мифы древних славян» (Саратов, «Надежда», 1993 год).



Глава одиннадцатая

Путешествие по славянским землям

Л

ишь только весеннее солнце пригрело землю, Александр Тургенев и Андрей Кайсаров снова пустились пилигримствовать. Понимая, что Францию и Италию, занятые Наполеоном, они посетить не могли, решили совершить путешествие по западноевропейским славянским землям. Такого путешествия до них ещё не совершал никто из русских. Молодых людей нимало не смущало, что Европа в этот год представляла собой вулкан, кипящий страстями. Кроме французов Европу, особенно славянские земли, раздирали меж собой турки и австрийцы. Сербия была объята пламенем национально-освободительной войны. Но другого времени для путешествия выбирать не приходилось.

К славянским странам у друзей был особый интерес, подогретый изучением древнейшей истории. Впрочем, и другие страны немало интересовали русских путешественников. Взяв с собой по сундуку с одеждой и один общий для будущих книжных покупок, подсчитав наличные средства, которые они должны были заметно пополнить в Вене, где ожидали почты из дома, а также определив должность эконома и казначея за Александром, они, на ординарной почте отправились в Лейпциг. С дороги Андрей Кайсаров писал И. П. Тургеневу: «Мы с Александром Ивановичем пустились опять пилигримствовать… С профессором Грельманом послал я… по экземпляру своей книжки… Мне советовали послать один экземпляр Государю, но я не смел этого сделать, не спросясь вас».

22 мили тащились друзья четверо суток. Если бы не попутчики, скрашивавшие путь интересным разговором, то путешествие потеряло бы всякое удовольствие. До Лейпцига ехали с русским немцем, который прожил в России 27 лет, был наборщиком в типографии Новикова, знал И. П. Тургенева, И. В. Лопухина, иных общих знакомых. Другой попутчик – опасная особа: наборщик рекрутов в Германии для Англии. Он поведал немало удивительных случаев из небезопасной своей практики. Знавал русских и не стесняясь рассказывал о похождениях их за границей.

В Лейпциге друзья остановились в отеле «Саксония». На другой день занялись осмотром здешних лавок и торговых рядов, живописной цепью опоясывавших улицы города. Все языки мира были слышны здесь. Несказанно обрадовались русским бородам, принадлежавшим купцам, которых здесь оказалось так много, что друзья иногда забывали, что находятся не в России.

Удивило, что здесь существовал свободный обычай меж куп-  
цами всех стран: набирать товары в течение нескольких дней ярмарки, а расплачиваться – в последний. Во все дни городские выезды были свободны, а в последний – закрывались, и тот, кто не расплатился, задерживался городскими властями. «Но так ведь обман может быть?» – удивлялись русские студенты, узнав об этом от хозяина отеля. «Все возможно», – усмехнулся тот. Александр Тургенев сделал у себя запись о странностях Лейпцигской ярмарки: «В последний день должны купцы друг с другом расплачиваться, а раньше никто не может требовать расплаты и кто сможет, может удрать накануне, не заплатив долгов».

Пробыли в Лейпциге две недели. Александр Тургенев заказал себе мундир. Задержались «более для того, чтобы не пропустить здесь множества таких книг, которых в другом месте достать невозможно будет». «В сей книжной фабрике, куда из всех стран Европы съезжаются книгопродавцы», они сделали немало удачных приобретений.

Неприятно удивил их нездоровый ажиотаж вокруг запрещенной в Германии книги «Наполеон Бонапарт». В книжных лавках ее не было, но «из-под полы» ее купить мог всякий. Друзья нимало изумлялись: почему фигура вражеского предводителя так занимала немцев? Поистине, Наполеон был у них герой дня. Повсюду немцы читали «Гамбургское время», «политизировали, и между тем, тер-  
пеливо сносили иго наглых завоевателей». К друзьям приходили тревожные мысли: не наступит ли француз на Русь? Но предположение сразу же отметалось как невероятное. Наполеон казался «Тургеневу и К°» всего лишь курьезом. Однако, все эти разговоры вызывали беспокойство. Хотелось поскорее развеять тревогу. Они вновь пустились в путь по дорогам Германии.

Снова проплывали за окнами желтой кибитки чистенькие до-  
мики и ухоженные поля. Заехали на некоторое время в Герлиц, где хранилось редкое собрание славянских книг на многих славянских диалектах. Затем направились по дороге в Кемниц и Фрейберг. В Кемнице приветил их богатый купец-славянин. Он хлебосольно потчевал их в своем доме, а также показывал местное ткацкое производство «бумажных» тканей: красильные и прядильные фабрики. В Фрейберге хотели они повидать знаменитого Вернера – первого минеролога Европы, однако, его не оказалось в городе. Пришлось ограничиться осмотром рудокопных заводов, где использо-  
валось небывалое изобретение австрийца Борна – металл отделялся от руды при помощи ртути.

Воскресным утром проснулись уже в Дрездене. Сразу же решили пойти в католическую церковь на утреннее богослужение, чтоб посмотреть, как оно проходит у немецких католиков. Видели курфюрста с семьей. Слушали прекрасное пение итальянских кастратов. Это пение так чисто и высоко, что друзья признались, что ничего подобного нигде не слышали. Подписали в посольстве паспорта до самой Вены. Здесь произошла неожиданная встреча с товарищем по благородному пансиону Григорием Максимовичем Яценко, который приехал с графом Воронцовым из Вены. Он же показал им ещё одного московского студента. Вчетвером, обрадовавшись возможности натешить душу беседою о Москве, они просидели целый вечер в немецкой кофейне, уговорившись назавтра отправиться всем вместе в знаменитую картинную галерею курфюрста, называемую «Зеленая палата». Галерея поразила роскошью. Здесь хранились прекрасные бриллианты, золото, серебро, дорогие одежда и украшения, среди которых, между прочим, были и вещи, останавливавшегося здесь Петра I.

В Бауцене друзья впервые за все путешествие подошли к заповедным местам – свидетелям древнейшей славянской истории, ведь здесь некогда жили венды, порабощенные затем германцами. Видели горы, где славяне поклонялись своим богам и проводили шумные праздники. Видели урны, в которых, по древнейшим обычаям, славяне хранили пепел от сожженных умерших своих родственников. Такие урны в виде квадратных металлических ящиков назывались крады. Кайсаров писал об этом и раньше в своей книге, но теперь он мог осмотреть реликвию славян своими глазами. Тургенев записал: «Нельзя представить себе, как приятно ходить по тем местам, кои сперва были нам известны по одним только пыльным хроникам».

Путешествуя, Кайсаров и Тургенев с удивлением узнавали, что мир славянина с древнейших времен был наполнен обожеств-  
ляемыми природными явлениями, приметами и предметами, которые представляли множество мелких божеств и несколько крупных богов. Нигде в природе, его окружавшей, не было видно холодной и непонятной ему вселенной. Поля, овраги, холмы, леса, горы, реки все было названо и обожествлено, все играло роль, имело значение в жизни славянина. Это был уютный обжитой мир, лукаво, остроумно и разумно устроенный, во всем соразмерный человеку. Мир удивительно пластичный на поверхности и статичный в глубине, вполне отражал диалектику души человека. Именно поэтому, может быть, тесно связанный с мифами славянский фольклор так обаятельно действует на чувства народные. Тургенев писал: «Часто одно местоположение, название горы или реки служит объяснением» для историка. У западных славян особенно хорошо сохранилось историческое красноречие топонимики. Тургенев пишет в своих записках: «Сии славяне, коих слабые, немцами удрученные, потомки вегитируют теперь на могилах предков своих, играли блистательную роль между народами. Для русского славянина они должны быть интереснее Италии, потому что… здесь все дышит славянизмом, здесь находим мы следы древних предков наших – и в потомках их, при всей дегенерации, видим ещё некоторые остатки древних славянских нравов и обычаев. Звуки их песней раздаются ещё в песнях теперешних вендов; самые народные сказки, и те могут служить нам твердым памятником. Как венды любят русских и всех сродственных народов и как ненавидят саксонцев, своих победителей, которые стараются отнять у них последнее – язык их! Но человек скорее согласится оставить свои обычаи, свою родину, даже свою религию, нежели язык…»

11 июня/29 мая друзья въехали в Прагу (бывшую тогда в составе Австрии, как и вся Чехия и Словакия). Здесь Тургенев записал в дневнике: «Кто не бывал в Богемии, тот не поверит, чтобы литература здешняя была так богата, как она есть в самом деле… Богемцы тогда уже писали книги, когда ещё немцы только что начинали просвещаться». Жаль только, что такой духовно богатый народ вынужден жить под пятой австрияка, того же немца. Не удивительно, что австрийские войска, составленные из славян, не выходили победителями против французов. Может ли славянский солдат драться за немца, который его угнетает и унижает?!

И снова друзья углублялись в исторические заметки. Алек-  
сандр Тургенев, записывал о славянах: «Они менее раздробляли божество свое, не хотели ограничить того, коему престол – небо и подножие – земля, и, будучи идолопоклонниками, имели некоторое… понятие о едином. Если история их интересней нашей, то это от того, что они имели славных историков; но, право, в истории человечества, где происшествия берутся в целом, славянский народ, коего племена покрыли Азию и Европу, гораздо важнее греков, коих владения составляли уголок не более нынешней Португалии. От того же, что мы не имели ещё историков, а только одних хроникописцев, и должны историю свою читать в Татищевых, Елагиных, Леклерках, она нам кажется одною только цепью злодейств и междуусобий. Но бросим покрывало на братоубийцев, и, проходя историю нашего отечества, будем стараться решить великий вопрос: как в течение тысячелетия, несмотря на внешние и внутренние потрясения, несмотря на множество завистливых и сильных соседей… Россия из неприметного уголка земли там, на берегу шумного Волхова, соделалась Россией? Тогда получит для нас наша история совсем другой интерес; тогда найдем мы, чем плениться в ней. И ещё больше, когда мы начнем с того времени, когда ещё русские были славянами…»

Именно в этой поездке по славянским землям и Кайсаров, и Тургенев окончательно определились в выборе будущих занятий, коим собирались посвятить жизни, – это были история и словес-  
ность.

Кайсаров из тех редких людей, кто, и покинув родину, обращает к ней свое лицо и ещё больше укрепляется духом в своем отечестве. Он отчетливо понимал, как необходимо изучение древнейшей истории, ведь история – та наука, которая делает человека гражданином. Уже тогда он был весь углублен в научные труды. Путевой журнал его наполнен выписками на латыни, немецком, французском, чешском, сербском и других языках – и все это касается истории славянской культуры.

Один за другим грянули обильные летние ливни. Дожди затопили все поля под самою Веною. Дунай и его притоки разлились, дороги здесь немощеные, ехать оказалось трудно. Путешественники вынуждены были часто останавливаться и взирать на обширные виноградники, которые одни радовались веселым дождям и упруго покачивались под катящимися дробно дождевыми зернами.

Наконец, 8/20 июня усталые путешественники прибыли в Вену, где их «встретила куча денег и писем». Здесь они могли оставить купленные в дороге книги, чтоб дальше путешествовать налегке. В русском посольстве взяли бумаги Андрея Тургенева, повидались с его знакомыми. В Вене ждало их и самое главное известие: Иван Петрович отзывал сына домой, разрешая довершить задуманное путешествие, но в Гёттинген уже не возвращаться. Он не писал, что здоровье его надорвано смертью Андрея и отставкой из университета, и что он вряд ли оправится, но чувствовалось: приказание вызвано серьезными причинами и ослушаться невозможно.

Впереди ещё маячили славные путешествия, но уже подуло ветром расставания. От сознания этого прогулки друзей и минуты бесед часто бывали окрашены грустью. Александр Тургенев писал тогда: «Никто, кроме Андрея Сергеевича, который во всём и всегда разделяет со мной горе моё, не принимает во мне такого участия…»

В какой-то момент и для Кайсарова встала задача: разделить ли участь своего друга, поехав на родину, или продолжать учение и изучение Европы? Подумав, Андрей Сергеевич писал Ивану Петровичу Тургеневу: «Я буду с ним до тех пор, пока нужно, и не почту даже большим пожертвованием проводить его в Россию». Однако, сам вернуться в Россию теперь не считалвыгодным. «Как много требуют у нас в России от возвращающихся из чужих краев, не довольно знать что-нибудь, но надобно ещё уметь выказать…что знаешь… Но чему можно выучиться… в полтора года? Едва ли успеет воспитанник Благородного пансиона познакомиться со всеми именами тех наук, которым здесь учат… Нам бы хотелось чем-нибудь блеснуть, приехав в Россию, показать, что мы не напрасно жили в Гёттингене, но теперь мы ещё не в состоянии… у нас все хотят скороспелок, и оттого-то мудрецы наши родятся как грибы, да зато уж они и ни что больше, как грибы…» Из этого письма видно преклонение Кайсарова перед наукой, перед учеными или хорошо образованными людьми. Он, без всякого презрения к родине, понимает, что русские современники не владеют в должной мере европейской культурой и что немногие имеют представление о настоящем образовании.

Как бы там ни было, друзья с удовольствием гуляли по окрестностям Вены. На даче у одного графа их покорил уютный английский сад со зверинцем в нем. Дача, расположенная на горе, способствовала хорошему обзору окрестностей Вены, Дуная с его двенадцатью рукавами. Эта прогулка остро напоминала Воробьевы горы, Москву. «Чужеземные красы» никогда не подкупят сердце человека, преданного невинным прелестям родной земли.

На один день выезжали в Баден «посмотреть тамошние бани», весь курорт вообще. Большинство русских жили здесь «не для лечения, а для развлечения». Купоросный запах царил повсюду, от воды нехорошо пахло; купание же как раз было приятное, вода – 26 градусов. Здесь они увидели, как обнищала Европа в результате Наполеоновских войн, нищета и бродяжничество достигли ужасающих размеров.

В Вене друзья жили у Константина Яковлевича Булгакова, одногодка Кайсарова, сына известного русского дипломата, и самого теперь служившего при дипломатической миссии. Булгаков заметно скрашивал их венское житье рассказами и экскурсиями, воспоминаниями о России, ибо все московские и петербургские знакомые Тургенева и Кайсарова ему оказались известны. Он знал, кажется, больше, чем может вместить человеческая память; и знания его касались не книг и наук, а событий и людей: их взаимоотношений, их истории и историй; проникновенного понимания их страстей, побуждений, мотивов поступков. В голове его помещался целый театр человеческих судеб. Он не только рассказывал, но и писал интересно. Жуковский шутил, что Булгаков был рожден гусем, так как все его существо словно утыкано перьями, из которых каждое готово писать без устали с утра до вечера очень любезные письма. Не случайно потом Константин Булгаков стал почтдиректором в Петербурге и знал чуть ли не всю Россию по переписке и лично. Кайсаров, очарованный Булгаковым, писал ему через несколько дней после отъезда: «Дай Бог, чтобы ты остался тем же юмористом, каким я тебя узнал».

Три недели русские путешественники ждали паспорта. Тургенев изливал свое недовольство на бумагу: «Принуждены здесь жить и проживаться по-пустому… Если б не с Булгаковым мы жили здесь, то наскучила бы нам Вена со всеми своими театрами». Они были на обеде у посла и у графа Алексея Григорьевича Орлова, на университетской лекции, гуляли в Шенбрунском саду, где собраны растения со всех стран мира. Кайсаров сообщал в Москву: «Мы все ещё продолжаем славянствовать… Здешняя библиотека богата разными рукописями; вообразите, что в ней считают около 15000 манускриптов, в том числе много славянских. Жаль только, что все эти сокровища в руках австрийских, у людей таких, которые редко из чего-нибудь доброго делают хорошее употребление».

Уже начинался август, паспорта были подписаны, друзья собирались покинуть гостеприимную Вену. Кайсаров писал Шлёцеру: «Мы едем дальше делать наши славянские наблюдения; скоро мы соберем сосуды, в которых хранился прах наших предков…»

Друзья направились на барке по Дунаю. Ехали три дня с половиною. Водный путь безопаснее сухого. Полдня провели в Презбурге. Ночь – в Коморне. Следующим был Пест.

Случай привел сюда русских путешественников в самое интересное время: начинался смотр двадцатипятитысячной разноплеменной армии Австрийского государства; на церемонии празднования провозглашения императора они и присутствовали. Сюда на торжества съехались все принцы австрийского дома Габсбургов. Первую неделю путешественники жили в Песте, следующую в Будине. Тургенев писал Булгакову в Вену: «По сю пору ещё не успели мы перебывать у всех своих здешних благоприятелей. Иной просит на токайское, другой к себе на ночку (у которого ещё и жена молодая, а у жены – сестра девушка; но ведь ты знаешь, что по сю пору я ещё не пользуюсь чужим добром, хоть и досадно на самого себя), и мы намерены всех удовольствовать…» Андрей Сергеевич, которому нравилось внимание, приписывал к письму Александра: «Здравствуй, батюшка-граф… Мы здесь живем посреди самого блистательного света; то зовет нас князь Эстергази, то граф Батьяни, то прочая знать. Таковы-то мы! Знай наших! Не славен пророк в отечестве своем, но за границами его – поэтому-то и мы здесь блистаем…»

Русские оказались в большом уважении, может потому, что заезжали сюда редко. Поражали, однако, не обильные угощения и венгерское токайское, а национальное платье (язык не поворачивался назвать его народным), в которое обязательно одевались даже самые европейски образованные и богатые венгры, и которое стоило несколько миллионов гульденов. На празднестве и на улицах городов в это время преобладали нарядные, как молодые петушки, солдаты, одетые в римские шлемы, венгерские панталоны, шведские сапожки.

Вечером всеми чувствами общества правил бал, какого наши путешественники не видывали. На нем было 1200 человек. ещё большее многолюдство балу придавал военный лагерь, а также сотни приехавших и приглашенных из разных мест зрителей. На бале присутствовал цвет венгерской нации, блиставший богатством костюмов, вышитых золотом и серебром. Эти дорогие костюмы, которые бережно «проносились» их владельцами перед толпами зрителей, делали походку венгров особенно важной и грациозной.

Бал, по старинному обычаю, ещё без менуэта не начинался. Кайсаров танцевать не любил. Он все почти время стоял у кромки бального волнующегося моря, наблюдая за богатыми разливами праздника и слушая прекрасный оркестр, от которого отходили плавные волны танцевальных мелодий; иногда беседовал с Кова-  
чичем – ученым-славистом, который взял на себя роль гида и показывал в эти дни «все примечательное в библиотеках и во всем городе». Александр Тургенев, очень любивший танцевать, кружил беспрерывно в вихре танцев то одну, то другую даму и постоянно исчезал из виду.

На другой день было намечено катание на лодках, прогулка за город, знакомство с окрестными церквями и деревнями. «После того, – писал Тургенев Булгакову, – занемог у меня Андрей Сергеевич сильной лихорадкой, и страдает бедный так, что в два дня похудел и вот уже три дня, как совершенно не ел ничего… Доктор говорит, что через десять или двенадцать дней, не прежде, кончится лихорадка, а там надобно ещё укрепиться, чтобы ехать… Скучно, брат, очень на чужой стороне… лежать больному в скверном трактире…». В следующих письмах Тургенев коротко сообщает Булгакову (и только ему одному) о состоянии Кайсарова: «У Андрея Сергеевича сделался рецидив в лихорадке, и мы, может быть, пробудем ещё с неделю»; «…Андрей Сергеевич худо ночь спал»; «объедается и моих советов в умеренности не принимает»; «А. С. Кайсаров здоров, как рыба, толстеет и в лице и в теле». Наконец, появилась веселая приписка к письму и самого Кайсарова: «Здравствуй, любезнейший благоприятель, Константин Яковлевич! Ура, брат, наша взяла! Скоро ли уморишь русака? Небось и лихорадка побоялась меня, таков страшен я?»; «Тебе благодарен я больше нежели своему доктору, письма твои принесли мне больше пользы, нежели его проклятая хина». Тургенев же стремился в дорогу: «Задержались здесь сверх чаяния слишком долго». Вскоре друзья выяснили, до каких южных пределов в теперешней обстановке наполеоновской оккупации Европы можно допутешествовать. Оказывается, не далее Венеции. Вскоре друзья выехали в Сербию. «Здесь живем мы между добрыми и просвещенными сербами. Каждый день, с утра до вечера, проводим мы у ученого митрополита и в его библиотеке. ещё ни разу не обедали дома». – писал Александр Иванович. А Кайсаров шутливо «приписывал» Булгакову 21 сентября/3 октября из Карловаца: «Митрополит здешний предоброй… мы и обедаем и ужинаем все у него. Вчера за ужином Александр так нажрался, что харя у него побагровела, глаза затекли. Митрополит испугался, спрашивает, не полезен ли в таком случае чай? Но благодаря Богу верный друг его (желудок) все переделал. Вот, брат, как мы поживаем… и меня, брат, не узнаешь, уж и брюшком Бог пожаловал… » Это были всего лишь милые, безобидные развлечения – порассказать друг о друге что-нибудь веселенькое. На самом же деле студенты усердно трудились над изучением сербских славянских памятников. Кайсаров изучал язык, оба делали выписки из источников. По вечерам слушали историю сербов, рассказы о важнейших событиях, о старинных памятниках – храмах, монастырях.

Однако, не все сидеть в библиотеке. Хотелось поездить по окрестностям. Конец октября давал о себе знать: холодные ветры и ледяные дожди то и дело набегали из-за гор. Андрей Сергеевич снова простудился и «имел и здесь рецидив целую неделю».

В окрестностях Белграда друзья задержались надолго. Осматривали достопримечательности. Больше всего интересовали монастыри, так как в них сосредотачивались образованные люди и находились славянские библиотеки. Интересовали друзей быт, обычаи сербов, политическая обстановка, весьма напряженная в то время.

Кайсарову и Тургеневу рассказали о бедах сербов. Борьба ав-  
стрийцев и венгров за господство над сербами, а также многовековое турецкое иго, довели их до отчаяния и вынудили взяться за оружие. Среди религий в Сербии владычествовали – мусульманская и католическая. Они тоже вели борьбу за свое влияние на славянские православные области. Католики вначале навязывали унию – как первый шаг к окатоличиванию православных. Политический и религиозный гнет сербов довершала их экономическая эксплуатация. Не случайно в феврале 1804 года вспыхнуло Первое сербское восстание, перешедшее в национально-освободительную борьбу против (к 1804) 415-летнего турецкого ига. Поводом для восстания послужили бесчинства янычар.

Султан в 1793-1796 годах предоставил автономию Белградскому пашалыку. Турки, жившие в Сербии, поняли это по-своему, как то, что страна эта фактически отдается им на разграбление. Они усилили власть своих начальников и стали грабить трудолюбивых сербов. Грабежи сопровождались насилиями и убийствами.

Восстание против турок и отуреченных сербских помещиков возглавил Георгий Черный. Белград был занят турками и в связи с военным положением туда никого не пускали. Поэтому путеше-  
ственники осматривали другие места. Ездили в монастыри Верник, Беочин, Ремета, Гергетеке, Хопово. Их Кайсаров описал в своих «Записках»: в Раковаце «церковь сохранила ещё древнюю живо-  
пись, которая, может быть, ровесница живописи нашего Спаса на Бору». С горы, на которой стоит монастырь Раковаца, видно Сербию и Боснию, и Белград – насколько хватает глаз. Посетили печальное кладбище Иричи, недалеко от Хопова, где захоронены тысячи сербов, умерших от эпидемии язвы. в монастыре Верник посетили могилу последнего сербского великого князя Лазаря, погибшего на Косовом поле в 1389 году.

Что удивительно, в обычные дни серба часто можно увидеть в красной турецкой феске, а то и в пестром восточном тюрбане, турок мог пересыпать свою речь славянскими словечками, боснийцы даже приняли мусульманство, но язык славянский блюли, у них много прекрасных на нем сказок, легенд, песен. Одну из них – «Песнь историческую» о битве на Косовом поле Кайсаров записал. Вот отрывок из этой полной трагедийной поэтичности сербской песни:

*О Сербiе! что за сiе*

*Тако оскорблена;*

*Ни ли страна та попрана*

*Туркам попалена.*

*Место зрачно, людма злачно*

*То поле Косово,*

*В нем же князи лежат нази:*

*Всем сердце готово…*

*Славну Босну плодоносну*

*Мечем поядает:*

*Пленит гради, всем досади*

*Творя поскачает.*

*Децу младу свому стаду*

*Турци прибавляют:*

*Старых секут, младых влекуть,*

*В рабство отправляют…*

*О наш княже! что помаже*

*Ето вся сироти*

*Побiенни, вничтоженни*

*Лежат между скоти.*

*Кони топщуть, турци ропщут*

*Истребить серблина.*

*Не дав жити, све побити*

*Свега до едина…*

В монастыре Верник были и грамоты Петра I. Одну из таких грамот Петра I Кайсаров переписал к себе в тетрадь в библиотеке в Среме. Грамота свидетельствовала, с одной стороны, о взаимовы  
ручке сербов и русских, с другой, – о том, что Петр I желал иметь с султаном мир, чего и сербам советовал.

Далее друзья направились осматривать Крушедол, видели одежду сербских древних князей. Потом поехали в Землин. По пути русские путешественники обедали в военной деревне Голубинцы у капитана. В Сербии пограничные земли охраняли крестьяне окрестных деревень, которых в службу не отзывали, а давали воинские звания и оставляли на месте. Такой крестьянин платил меньше податей, не платил десятины, но должен был в свой черед по неделе со своей лошадью дежурить на границе. В пограничных районах офицер все: и военный начальник, и гражданский судья.

11 октября приехали в Землин, остановились в трактире «Ди-  
карь». Ходили к коменданту проситься в Белград, были у директора карантинов, но оба отказали, позволив только проехаться в лодке по реке Саве, в сопровождение выделили немцев – капрала, карантинного пристава, гребцов. Кайсаров и Тургенев немцев знали хорошо. «Чего с немцами нельзя сделать посредством денег? – писал Кайсаров. – Мы были в Белграде, пили кофе у одного капитана корабельного Али-Ага; официант, поднося нам кофе, протяжным голосом говорил: «Джаба», т. е, поклон! или – на здоровье! Али-Ага весьма учтивый человек, пришел к нам с веселой миной, но услышав, что мы русские, переменился в лице».

Большую удаль надо было иметь, чтоб пробраться, без разрешения тех и других воюющих в центр восстания.

Здесь же, как обычно во всех городах, друзья зашли в право-  
славную сербскую церковь, где нашли архимандрита и протопопа, которые ни за что не хотели отпускать смельчаков одних осматривать воюющий город. Они нимало удивлялись, как мирные путешественники не побоялись предпринять столь рискованный шаг! Молодость! Молодость! Всегда она спешит испытать себя во всякой ситуации.

Кайсаров далее описывал: «Иные турки, с которыми мы встречались и которым архимандрит наш и протопоп говорили: «Поможь Бог, комчие» (т. е. сосед), кланялись учтиво, а другие с зверским видом говорили: «Бог поможе, поп!» Карчали или разбойники отлично одеваются, они владеют всем городом, повелевают пашам, и, как говорят, паша их в согласии с Черным Георгием. Несчастные сербы! У самих ворот встретило нас конское рыстание; два босняка скакали на лошадях, бросали друг в друга деревянными копьями, чтоб казаться страшнее, скрипели зубами, но русского тем не испугаешь. В городе страшная нечистота, посреди улиц лежат съеденные лошади; собак столько я нигде не видел. Все строения… запущены и разорены… В крепость нам не советовали итти и сами турки. Мы посылали к здешнему греческому митрополиту, который вышед на берег, говорил с нами около часу».

Нельзя не сказать здесь о предводителе восстания, чье имя то-  
гда не сходило с уст всех сербов – о Георгии Черном, Карагеоргии – Георгии Петрониевиче Петровиче (1768–1817), которым Кайсаров восхищался, когда понял истинную его роль в освободительной борьбе. Это был его герой – богоравный человек, почти такой же, как герои древности – греки и римляне, – занимавшие воображение юношей в период Дружеского литературного общества. К Георгию Черному располагали правота дела, за которое он боролся, его любовь к родине, жажда свободы, суровая неподкупная справедливость. В нем все черты сербов как бы увеличивались и трагедийно обострялись. Это был суровый рыцарь свободы, не щадивший не только врагов, но и родных, если они расходились с ним в борьбе за свободу родины или в понимании справедливости и чести. Трудно сказать, видел ли Кайсаров Георгия Черного, хотя они с Тургеневым находились в тех же местах в то же время, когда там был вождь восставших сербов. Но знали путешественники о нем немало. Позже, в письме в Сербию от 30 марта 1805 года Кайсаров справлялся о нем по-сербски: «Что се кажа, брате, за наши сербы у турску… Верло желим знать судьбу их? И что ради той Черни?»

Между тем, если бы кто в период затишья боев подошел к его усадьбе, когда Георгий был занят мирным трудом, то вряд ли узнал бы в скромном, хмуром, высоком с темным лицом и иссиня-черными усами под большим, чуть свисшим на них носом, кресть-  
янине, одетом весьма неприметно и обычно для сербов – в ношеную шубейку, старые синие штаны, будничную черную шапку-«шубару», – грозного воина. Семья его была зажиточной. Они имели много скота, торговали им. Но и работали, не щадя себя. Георгий и пахал, и ухаживал за скотом, и лес корчевал, расширял пашни, и рыбу ловил с товарищами. Такой же крестьянин, как все, только плечи шире, руки крепче, воля тверже. В бою он был бесстрашен и неукротим. В гуще схватки спрыгивал с коня и пешим вламывался в бучу. Его узнавали по шраму на щеке, янычары бежали в страхе, бросая тысячи проклятий.

Главное нравственное кредо Георгия Черного – **справедливость**. Во имя справедливости он оправдывал самую страшную, по нашим понятиям, жестокость. Когда однажды к нему пришли родители незнакомой сербской девушки и попросили справедливости: ибо родной брат Георгия обесчестил девушку. Георгий вскипел гневом и не мог произнести по этому поводу ни одного слова, кроме приказа повесить родного брата на воротах усадьбы. Казнь свершилась. И никому неведомо, как горевал о брате и в то же время стыдился за него предводитель народного восстания. Пушкин (которому о путешествии в Сербию с Кайсаровым и о вожде сербов рассказывал Александр Тургенев) позже описал Георгия Черного в стихотворении «Дочери Карагеоргия»: «…Преступник и герой, и ужаса людей, и славы был достоин», изобразив его необыкновенным героем, мрачным воином и счастливым отцом, противоречивым и мучительно несущим в себе трагическое начало.

Когда началось восстание и стало ясно, что оно быстро не кончится, Георгий Петрович намеревался переправить свою семью в Австрию и пустился в дорогу со всем домашним скарбом. Отец его не хотел уходить с насиженного места, от родного белого дома и обработанных полей. Он был против восстания, но не столько боялся, сколько не верил в него, понимая, что спокойной мирной жизни семьи в этом случае придет конец. Старик упирался, хотел остаться, просил Георгия покориться. Тогда, мол, не тронут! Если в семье всё есть, никто не голодает, «хлеба хватит», – чего ещё на-  
до? Что накликать беды на свою голову и роптать, нет, не роптать – бунтовать?! Тщетно Георгий умолял отца, твердя о свободе, достоинстве, справедливости. Да что там говорить, не оратор он был, не красноречив… Вспыльчив и нетерпелив, узлы ему было легче рубить, чем развязывать. Старик просил оставить его дома хотя бы одного (по другой версии, старик Петрония хотел донести на восставших паше в Белграде). Но Георгий хорошо понимал, что отца замучат страшными муками и в живых все равно не оставят. Два одинаковых упрямца стояли на своем, и не хотели уступить. Тогда Георгий сказал: «Лучше я тебя сразу убью!» и выстрелил. Мать, когда поняла страшную правду, прокляла сына, назвав его чёрным. Так и осталось за ним это прозвище, а не потому, что он темен лицом, как думают иные.

Этот, не вмещавшийся в привычные рамки человеческих поступков, вынужденный и жестокий акт, который мог бы показаться чудовищным, сербы, в том состоянии, в котором они находились, как ни странно, поняли правильно. За трагическим спором отца и сына виделась судьба всей Сербии.

Вот как Пушкин позже описал это событие в стихотворении «Песня о Георгии Черном»:

*Не два волка в овраге грызутся,*

*Отец с сыном в пещере бранятся.*

*Старый Петро сына укоряет:*

*«Бунтовщик ты, злодей проклятый!*

*Не боишься ты Господа Бога,*

*Где тебе с султаном тягаться,*

*Воевать с белградским пашою!*

*Аль о двух головах ты родился?*

*Пропадай ты себе, окаянный,*

*Да зачем ты всю Сербию губишь?»*

*Отвечает Георгий угрюмо:*

*«Из ума, старик, видно выжил,*

*Коли лаешь безумные речи».*

*Старый Петро пуще осердился,*

*Пуще он бранится, бушует.*

*Хочет он отправиться в Белград,*

*Туркам выдать ослушного сына,*

*Объявить убежище сербов.*

*Он из темной пещеры выходит;*

*Георгий старика догоняет:*

*«Воротися, отец, воротися!*

*Отпусти мне невольное слово».*

*Старый Петро не слушает, грозится:*

*«Вот ужо, разбойник, тебе будет!»*

*Сын ему вперед забегает,*

*Старику кланяется в ноги.*

*Не взглянул на сына старый Петро.*

*Догоняет вновь его Георгий*

*и хватает за сивую косу.*

*«Воротись, ради Господа Бога:*

*Не введи ты меня в искушенье!»*

*Отпихнул старик его сердито*

*и пошел по белградской дороге.*

*Горько, горько Георгий заплакал,*

*Пистолет из-за пояса вынул,*

*Развел курок, да и выстрелил тут же.*

*Закричал Петро, зашатавшись:*

*«Помоги мне, Георгий, я ранен!»*

*И упал на дорогу бездыханен…*

Таков был характер! Погибельный! Он потряс Кайсарова. На это слабый не решится: убить отца родного! Не значит ли, – думал он, – что Георгий Черный совершенно перешел нравственную грань? Ведь отец – первый человек, давший жизнь, любовь, отечество. Смерть брата, отца, проклятие старой матери – не верх ли это роковой отверженности? Не отвергнет ли, не проклянет ли его и Сербия-мать?

Но Сербия не прокляла своего защитника, такой высокой ценой доказавшего любовь к Отечеству. Сербы сами поставили Георгия вне всех и над всеми, подчеркивая исключительность священной его жестокости и ее борцовскую, военную справедливость. Вук Караджич, сербский писатель, современник Карагеоргия, хорошо его знавший, писал, когда на воинской скупщине Георгию предлагали стать воеводой, Георгий отговаривался, что не привык командовать людьми, нрав крутой, характер горячий. На это ответили: если чего не сумеет, ему подскажут всем миром, а характер теперь как раз такой и нужен.

Конец Карагеоргия (о котором Кайсаров не мог знать) был ужасен. Первое сербское восстание, проходившее с переменным успехом около девяти лет, завершилось неудачей. Георгий (как и многие сербы) с семьей вынужден был эмигрировать в Австрию, затем в Россию. Через два года в Сербии вспыхнуло второе восстание. Почувствовавшие свою силу под предводительством Георгия Черного, сербы уже не хотели больше терпеть басурманов на своей земле.

Восстание возглавил немолодой воевода Милош Обренович, на которого пала часть славы и авторитета вождя лишь потому, что он один оказался в это время поблизости, в Сербии. Обренович же был не столь храбр, как казалось. Он боялся, с одной стороны, неудачи и мести турок, с другой, – боялся силы и суровости Карагеоргия, который, явившись, мог выхватить у него из рук власть без всяких усилий. Необычайная осторожность и осмотрительность Милоша показалась сербам большой мудростью, может потому его и выбрали.

Узнав о таком обороте дела, Георгий, никому не сообщая, тайно перейдя через Дунай, оказался в отряде хорошо ему знакомого Вуицы. Теперь восстание должно было обрести новое дыхание и сделать новый скачок. Однако, Обренович не обрадовался таким возможностям. И свершилось злодеяние. Так же, как французы сами казнили свою, спасшую Францию, героиню Жанну д`Арк, так и сербы (нашлись такие!) по тайному приказу Обреновича обезглавили спавшего в «безопасном» доме одного из сербов героя отечества. Жестокое и позорное преступление поразило даже турок. Турецкий паша, которому передали голову мертвого Карагеоргия, отказывался верить, что это он, пока люди, знавшие Георгия лично, не подтвердили печальный факт. Голова Карагеоргия была доставлена в Стамбул, к вящей радости султанского двора, с трудом верившего, что страшный враг пал так легко и бесславно. Милош Обренович получил в награду от султана саблю, усыпанную драгоценными каменьями. В том же году его провозгласили верховным князем Сербии.

Вернувшись из Белграда, друзья направились на юг. В Ессеке их внезапно задержали, приняв за шпионов. Имя русских вызывало подозрение может и не к самим русским, а к тому, действительно ли, назвавшиеся русскими, не шпионы? В конце концов недоразумение выяснилось, но друзья, как говорится, на своей шкуре испытали все сложности путешествия по воюющей стране.

Вскоре Кайсаров и Тургенев были уже в Аграме или Загребе, который считался главным центром Кроации – народа тоже славянского. Дальше их уже ждала дорога на Италию. Однако, шли дни, а Александр Тургенев писал Булгакову в Вену: «Андрей Сергеевич опять занемог, хотя не прежнею лихорадкою, но все следствиями ее – простудою, и завтра будет неделя, как мы живем в этом скучном городе, где… не имеем ни одной знакомой хари…» Во время болезней не быстро текут минуты, кажется, тоска повисла на стрелках медлительных часов. В Кроации пришлось задержаться около двух недель. О пребывании здесь Кайсаров рассказывал в письме к митрополиту Стратимировичу: «В Кроации успел я только приметить, что разница в сербском и кроатском языке весьма невелика, все состоит в одном только выговоре… Весьма больно было для меня, что мы не могли найти других кроатских книг, кроме недельных Евангелий, нескольких проповедей и молитвенников… За 20 лет была выдана грамматика сего наречия, но ее уже нельзя найти, теперь она принадлежит к древностям. Нынешнего года выдана ещё одна грамматика, которую мы достали. О лексиконе, кажется, никогда и не думали, хотя в Аграме есть университет. О характере кроатском что сказать? По моему мнению, нет славян, которые бы так были не живы, как они; самые их свадьбы, которых мы находили во всякой деревне по крайней мере по 50-ти, их песни, все носит на себе печать некоторой грусти, и чего ожидать от людей, которые друг друга убегают, которые строят свои жилища как можно далее один от другого, которые вой ветра предпочитают голосу себе подобных?»

Когда Андрей Сергеевич чувствовал себя лучше, друзья осматривали окрестности, знакомились с жизнью местного населения. Несмотря на близкое присутствие Италии, а значит, юга, все же становилось холодно. Вершины гор, покрытые снегом, стали неотъемлемой частью окрестного пейзажа. Но зимы порядочной ещё не было. В бодрящий прохладный день 16 ноября русские путешественники отметили день рождения Кайсарова, которому исполнилось 22. Этот востроглазый, худенький молодой человек был больше похож на семнадцати-восемнадцатилетнего юношу, лишь серьезный взгляд его умных и живых глаз говорил о зрелой душевной работе беспокойного человека, жадно тянувшегося к знаниям и впечатлениям.

Зима наступала на пятки. Нужно было раньше нее добраться до благостной Италии, чтоб взглянуть на не успевшую ещё увя-  
нуть хотя бы одну ее окраину. Через Карлштадт и горный Карловац, славившийся своей торговлей хлебом, поехали в Фиуме, что по-славянски река. Повсюду встречались им не селения, а одиночные деревянные домики кроатов, которые будучи столетиями под турецким игом, не сооружали каменных строений, чтоб не было жалко бросать их при очередном набеге. Теперь считалось, что эти крестьяне под венгерским правлением, но турецкая граница находилась гораздо ближе, чем основные силы Австро-Венгрии, угроза нападения турок всегда оставалась реальной.

От Карлштадта до Фиуме русские студенты ехали на здешней почте на санях. Уже два года они не ездили в почтовых санках и не ожидали совсем, что это будет вблизи солнечной и жаркой – такой она им представлялась – Италии. Таких гор и пропастей путешест-  
венникам не доводилось видеть и на Гарце в Саксонии. Там были старые горы, поросшие лесом. Здесь встречались совершенно голые гладкие скалы, ущелья с невидимыми внизу ручейками, не замерзавшими и при выпавшем в горах снеге. Этот особенно звонкий, гулкий шум горных вод был им знаком, заставлял подолгу молчать и слушать его отчетливо рокочущие в горах перекаты. Сани их, низкие и довольно маленькие, запряженные одним приземистым коньком, то и дело спускались с гор и поднимались на горы. Казалось горной гряде не будет конца. Может это последняя вершина? – каждый раз думали утомленные и замерзшие спутники. Издали вершины, скрытые в облаках, казались невидимыми; когда подъезжали ближе, то гора всякий раз словно выходила из-за занавеса. Видя самую высокую из них, друзья думали, что на нее невозможно вскарабкаться. Наконец, с трудом верили глазам своим, поднявшись на самый гребень, и – видели впереди гору ещё высшую. Горная дорога наводила на размышления. Тургенев записал: «Так случается с нами и в других обстоятельствах нашей жизни. Когда бремя накладывается на нас мало-помалу, то мы приучаемся выносить его».

Последние две станции (около пяти миль) коляска, сменившая санки, беспрестанно спускалась с крутых утесов. За одну милю до Фиуме открылось море. Вначале сознание отметило лишь то, что вертикальный причудливый пейзаж сменился горизонтальным, однообразным. Затем появились цвет и простор, поражающие воображение. Фиуме лежал внизу меж разорванными скалами в устье реки с тем же названием. На окрестных скалах были видны развалины замков, живших здесь некогда феодалов, хотевших быть независимыми. На другой день, несмотря на дождливую и туманную погоду в Фиуме, друзья долго бродили по берегу, следя бесконечные фантастические превращения волн, игру цветов и звуков; казалось, стоит оторвать глаза от моря хоть на миг – и что-то упустишь интереснейшее в его чудесных превращениях, потому трудно было отвести глаза от завораживающего зрелища богатого красками южного моря. «Шум валов усладительнее Гайденова творения», – поэтично выразился по этому поводу Тургенев.

Из больших кораблей в гавани стояли испанский и шведский. Друзья жалели о недолгом изучении итальянского языка в Гёттин-  
гене, и теперь жадно прислушивались к речи местных жителей. Сами вступали в разговор со всяким, вместо недостающих итальянских слов произнося французские на итальянский манер. Но это никого не смущало. Люди хотели понять и понимали друг друга. Со здешним консулом ездили в Порторе – одну из лучших гаваней этого берега, куда на зимовку становились все корабли, оставшиеся в Фиуме.

7 декабря на наемной коляске за один день друзья добрались в Триест. Здесь они отдыхали пять дней, устроившись в лучшем трактире, стоявшем у самого моря. Трактир содержал бывший некогда профессором философии француз, с которым друзья часто балагурили.

До Венеции доехали благополучно в обществе одного францу-  
за, который побывал во всех частях света, кроме России. Он охотно рассказывал о своем путешествии по Египту, по английским и американским колониям. В Венеции оказалось много русских, ко-  
торые жили весело и пышно. Обедали и слушали концерт у русского князя Корсакова-Дундукова, развлекались на балу у графини Мусиной-Пушкиной-Брюс. Балы закружили наших путешественников, их представлялось большое разнообразие. Венеция готовилась к маскарадам – празднествам в честь венецианской масленицы, должным состояться через две недели после намеченного отъезда; на маскарады Кайсаров и Тургенев не могли остаться.

Венеция немало удивляла. Вместо улиц – каналы из морской воды. Вместо карет – лодки, обитые черным сукном. Во всем городе не увидишь ни одной лошади. Всякий знатный дом имеет свою лодку. Русские здесь тоже щеголяли гондолами. У каждого дома два крыла – один выход в канал, а другой – в улицу, столь узкую, что в ней едва расходятся два человека. Для русских, привыкших к широте своих улиц, это казалось необыкновенно странно, так же как то, что из окна дома можно, в буквальном смысле, – рукой подать в другой. Вид Венеции с моря превзошел все ожидания. Пейзаж открылся фантастический! Впечатляли готические громады, выраставшие из самого моря и уходившие в небеса. Чтобы осмотреть все лучшее в этом городе, мало одной недели. Роскошные палаты дожей, высокие причудливые соборы с богатой лепкой и скульптурными украшениями, колонна со статуей святого Марка, покровителя венецианцев, – все эти прекрасные фундаментальные сооружения свидетельствовали о былом величии.

«Новые гунны» – так Тургенев назвал наполеоновскую армию, оккупировавшую Италию, не могли утащить с собой всей Венеции, всех ее сокровищ. Они увезли оружие из арсенала, лучшие карти-  
ны, разбили несколько прекрасных греческих статуй, сняли с городской башни четырех бронзовых коней, разорили богатый венецианский флот, разбив корабли и разбросав их части в море. Корабль дожа ободрали «…и продали одно золото, находившееся на нем, за несколько тысяч червонцев жидам», – писал Александр Тургенев. Богатство Венеции – корабли. Несколькими ударами Наполеон разбил благополучие этой области, ей уже трудно оправиться.

Несмотря на все, ещё осталось немало интересных соборов, палат частных людей, имеющих множество редкостей. Понравился русским огромный храм Святого Марка, отделанный мозаикой греческой работы, поэтому храм больше походил на греческий, нежели на католический.

Были друзья на празднике освещения католического храма. Удивило их то, что сюда пришли венецианцы не молиться, а слушать музыку. Один музыкант давал концерт на скрипке, дру-  
гой на кларнете, а сами священнослужители ничего не делали. Наши путешественники, как и хозяева, так увлеклись понравившимся музыкальным исполнением, что едва не захлопали в ладоши одному прекрасному итальянскому певцу. Тургенев записал: «Слышать один немой смычок приятно в академии, а не в церкви». И все же это необычное служение муз Богу им понравилось.

В Венеции полно туристов. Поэтому существовала здесь и изощренная индустрия вымогательства. Мошенники брали из больниц уродов и калек, чтобы те просили милостыню, вызывая жалость у набожных туристов. Двух мошенников повесили. Так нашлись другие авантюристы, написавшие их портреты, выставив которые на площади, продувные живописцы просили милостыню на спасение душ повешенных мошенников. Разоряли туристов привилегированные лотереи и лото.

«Здесь ночь служит днем, а день ночью» – удивлялся Турге-  
нев. Обедают вечером в пять-шесть, в театры отправляются в девять, потом ночи просиживают в кофейных домах, играют в карты, танцуют, беседуют. И дамы ходят туда же без стыда и каждая с кавалером, без которого ни одной порядочной дамы быть не может. «Италия! Италия! И везде в ней так!» – восклицал впечатлительный Александр Иванович. Булгакову Тургенев писал: «Здесь Кайсаров опять в лихорадке; проклятая погода, которая опять задержала нас двое суток на море, взволновала ему всю внутренность, и он простудился теперь, лежит и не выходит». А Кайсаров сделал ироническую приписку: «Я приехал в Венецию затем, чтобы опробовать, можно ли мне пролежать несколько дней на венецианских постелях».

В Венеции встретили они родственника Кайсарова и друга его и Александра Ивановича (они вместе служили в Архиве иностран-  
ных дел) князя Петра Борисовича Козловского (1783-1840). Кайсаровы жили в Москве как раз в доме Козловских, однако с Петром давно не виделись, так как с 1802 года он состоял при русской сардинской миссии, часто жил в Риме и впоследствии также занимал многие дипломатические посты. Петр Борисович небезуспешно занимался литературой, сочинениями и переводами, которые ещё в 90-е годы XVIII века печатались в журналах «Приятное и полезное препровождение времени», «Иппокрена, или ключ литературы». Позже, о чем Кайсаров уже не мог знать, он был сотрудником пушкинского «Современника». Отрывки его записок были изданы в Собрании сочинений Вяземского (т. VII) и в «Русской старине» (1896). Через полтора года после встречи с Козловским в Венеции Андрей Сергеевич узнал, что «брат его, Михайла женился на родне своей, – как писал Александр Тургенев Булгакову, – родной сестре князя Козловского, тайно, без позволения матери».

Вечера Козловский, Тургенев, Кайсаров проводили почти всегда вместе, как старые друзья, ровесники и во многом единомышленники. Александр Иванович считал, что Козловский имел душу, прекрасную во многих отношениях. Толстяк Козловский был весел, остроумен, эрудирован – «почти все лучшее на разных языках прочитал (П. А. Плетнев)… ум веселый и практический». Современники не скупились по отношению к нему на самые яркие эпитеты. Мадам де Сталь иронично назвала Козловского «русским, разжиревшим на цивилизации». Генрих Гейне считал его «очень остроумным человеком». А. С. Пушкин находил у Козловского блестящие дарования журналиста и писал 19 октября 1836 года: «Козловский стал бы моим провидением, если бы захотел навсегда сделаться литератором». Кайсаров и Тургенев рассказывали Козловскому о том, что они видели в Сербии и других славянских странах; вместе они думали, как избавить человечество от войн, распрей, от вражды и непонимания, от стремления угнетать один другого. Далеко за полночь, иногда к утру заканчивались их венецианские беседы.

Путешествие, однако, подходило к концу. Вскоре друзья отправились в Вену, на этот раз нигде, кроме как на вынужденный ночлег, не останавливаясь. Некоторая усталость, нездоровье Андрея Сергеевича, декабрьские и январские холода подгоняли путешественников поближе к дому (хотя где он еще, дом?!).

Вскоре уже друзья обедали в теплом и уютном венском доме графа А. Г. Орлова, «нехотя, – как выразился Александр Иванович, – потому что у меня не лежит к нему сердце, а особенно к графине». Однако, теплый камин, русская речь, отеческое участие – оттаяли сердца уставших в дальних странствиях путешественников. И они стали с грустью думать о предстоявшем расставании. Тургенев писал родителям: «Жаль только, что должен расстаться с Андреем Сергеевичем; мы, кажется, с каждой минутой более любим друг друга и теперь считаем каждый час, который приближает нашу разлуку. Не знаю, как нам жить розно после шестилетней привычки?»

– Ты смотри, Александр, – напутствовал Андрей Сергеевич; – рассказывай там всем о страданиях добрых сербов.

– А как же! Обязательно! – уверял его Тургенев с жаром.

– Может кто и к Государю догадается обратиться?..

– Я думаю, обязательно Государь поможет. Сделаю все, чтоб в самых высоких кругах узнали о нуждах сербов.

– Надо бы журнал свой организовать сербский, а по сути, славянский, и все, что мы узнали, там описать, может, и самих сербов привлечь к этому.

– Организуем, как приедешь.

– Нет, нет, медлить нельзя! – горячился Кайсаров. – Народ гибнет славянский. Организуй ты, Александр, с твоим добрым сердцем только и благодетельствовать целым народам.

– А ты будешь отсюда новости слать и сочинения. Отсюда легче переписываться с сербами.

– А что?! Давай попробуем.

И друзья весело ударили по рукам. В субботу, 9 января 1805 года, со слезами на глазах Кайсаров проводил своего теперь самого близкого друга в Москву, отправив с ним письма и подарки родным, и, самое главное, – книги. А через день уже знакомая желтая кибитка, посаженная на санные полозья, уносила его по дороге в Саксонию. Под завывание унылого встречного ветра Кайсаров думал о том, что увидено ими в славянских землях; оно не должно пропасть даром, надо, чтоб все знали, как живут славяне, как страдают от угнетателей.

Из Гёттингена он писал Стратимировичу в Сербию: «Теперь я опять в старом жилище своем, опять пользуюсь ученостью здеш-  
них профессоров. Главная цель моя всегда будет славянская история вообще и язык славянский. Шлёцер… одобряет меня сделать пробу некоторого образа сравнительного словаря славянских наречий; всех почти главнейших наречий имеем мы словари и грамматики, один только славный род сербский не имеет их… Решаюсь… просить в сем случае от вас помощи. Дерзко предприятие мое, я сам чувствую; но нужно начинать с несовершенного, чтоб некогда достигнуть совершенства».

Андрей Кайсаров работал над словарем всю зиму, весну и лето 1805 года. Он писал в предисловии: «Несчастный или посмеяния достойный обычай в ребячестве уже нашем знакомит нас с иноплеменниками. Едва ещё начинающий чувствовать младенец русский счастливым почитает себя, если хотя некоторое сходство находит в себе с гордым галлом. Самый наружный вид его стараются родители образовать наподобие иноземца… Спросите самого невинного нечестивца, и сколько прекрасных повествований расскажет он вам о Генрихах и Лудовиках, но знает ли он, что некогда существовал Святополк Моравский, Стефан Сербский и даже Олег русский?.. Но кто воспитатель юношества русского? Чужеземец! Кто примет его в мужеском возрасте? От кого старается он заслужить одобрение? От чужеземца!! И если иногда соотчичи образуют нас, знают ли они что-нибудь об отдаленных своих братьях? В XI столетии знал Нестор, что и за Россиею есть славяне: Нестор оставил нам свою летопись, но кто читал ее? Имеем мы и других отечественных бытописателей, и после Нестора занимавшихся состоянием рода славянского, но кто читал их?»

Кайсарову уже не хватало книг на славянских языках из Гёттингенской библиотеки и недавно купленных в путешествии. Ему нужны были живые люди с их живым языком, чтоб замечать те изменения, которые язык реально претерпевает в жизни.

По окончании семестра в университете, Андрей Сергеевич вместе с несколькими русскими студентами предпринял двухме-  
сячное путешествие по Баварии и Франконии, где Кайсаров обязательно находил славян разных европейских племен, расспрашивал их: откуда они корнями, что помнят из старых славянских слов и выражений, поговорок и легенд? Может быть дальше в славянские земли углубился бы Андрей Сергеевич, работа эта увлекала его. Но, как всегда, не уберегся, заболел своей извечной лихорадкой. На этот раз сильнее обычного, к тому же рядом не оказалось привычной его «сиделки» и «домашнего лекаря» Тургенева. Друзья чуть живого доставили его в Гёттинген. Вот когда неоднократно вспоминал он о своем уехавшем друге.

Тургенев же писал, как доехал, как его встретили в Москве. Когда он вошел в родной дом после долгих странствий, Наталья Васильевна Кайсарова как раз была у них, словно предчувствовала вести о сыне. Она пополнела, но почти не постарела. Хуже выгля-  
дел батюшка, он едва стоял на ногах. Паисий Сергеевич Кайсаров всегда дежурил в его комнате и спал у его постели. Сцена встречи для всех была и горькая и радостная. Горьким был момент воспоминания о похоронах Андрея… Михаил Сергеевич Кайсаров за три дня до приезда Александра Ивановича проездом из Саратова в Петербург был в Москве; Петр Сергеевич в Петербурге. Они с Магницким были «в употреблении» у М. М. Сперанского. Наталья Васильевна жила у княгини Козловской. «Я был на другой день у ней, пил кофе», – писал Тургенев.

Николай Соковнин женился на бедной. Катерина Семеновна Соковнина после смерти Андрея пришла к его отцу Ивану Петровичу Тургеневу и рассказала, как она любила Андрея. Они вместе горевали и плакали. Иван Петрович стал относиться к ней как к дочери. Она тоже часто приходила и дежурила у постели больного старика. «Мало лиц знакомых, горько, брат, без тебя», – писал Кайсарову Тургенев. – Напрасно, брат, мы расстались друг с другом?.. Журнал и о сербах давай издавать вместе. Дмитриев предлагает свою квартиру для журнала. Жуковский, Мерзляков, я, ты…». Писал, что скучает, и спрашивал, не пора ли ему «собираться на Святую Русь»?

Кайсаров все это время был поглощен славянской идеей. Он мечтал о том времени, когда славяне объединятся в культурное, духовно нравственное братство. Самобытная культура славян должна сохраниться и возрождаться на основе общности истори-  
ческих интересов. Освобожденная от крепостного рабства внутри, Россия должна была стать центром славянского мира, опорой и защитником всех славян. В «Предисловии к сравнительному словарю славянских наречий» Кайсаров писал: «Нельзя быть искусным русским историком, не знав других славян. Сколько самых неоспоримых заключений исторических можно сделать из одного сходства разных славянских наречий, знают даже чужестранцы, нашею историею занимающиеся. С сими мыслями начал я стараться мало-помалу знакомиться с сими наречиями. Мы можем выучиться всем европейским языкам; не выезжая из России, почему же не выучиться и славянским наречиям? Для этого лишены мы почти всех способов. Очень многие славяне не имеют до сих пор ни грамматики, ни словаря… Сербам, под турецким правлением живущим, есть один только способ получить грамматики, словари и все полезное. Это способ теперь вместе с победоносным мечом славянским в руках Черного Георгия! Покажите мне грамматику болгарскую, далматийскую, боснийскую, морлакскую и пр. Они ещё не существуют. Из этого видно, что будущему сочинителю общего славянского словаря необходимо быть самому в этих землях, запастись основательными знаниями славянского языка».

Андрей Сергеевич слишком хорошо понимал, что здесь непочатый край самой начальной практической работы и вряд ли один человек в состоянии с нею справиться. Но начинать кто-то должен. Он был уверен, что объединяющая миссия лежит на России: «От кого, кроме России, ученый совет может справедливее ожидать, требовать такого словаря? Где есть другой славянский народ, который бы образовал самостоятельное независимое государство? Кроме народа Русского, все прочие славяне повинуются иноплеменникам… Древние римляне не столько многочисленными легионами, как распространением своего языка сохранили обширные свои владения».

Однако, все эти страстные слова-призывы вместе с «Преди-  
словием к сравнительному словарю славянских наречий» и самим словарем (который создать в тех условиях и невозможно было; он так и остался незаконченным, вернее, – начатым) тогда так и не увидели свет. Только через 150 лет, уже в XX веке, «Предисловие… » было опубликовано в малотиражном издании ученых записок Тартусского университета (вып.3, 1958).

Друзья так и не создали своего журнала и не написали о сербах тех пламенных статей, которые задумывали. Но Кайсаров и Тургенев сделали главное – донесли впечатления и оценки серб-  
ского восстания до своей страны посредством писем и многочисленных рассказов в образованных кругах России. Благодаря Тургеневу и письмам Кайсарова здесь узнали о Георгии Черном; о том, что сербский язык близок к русскому и культуры народов сходны.

Россия с Турцией воевала часто, в том числе и во время Пер-  
вого сербского восстания. В то время Россия участвовала в восстании сербов в виде военных отрядов, посланных на помощь; на нижнем Дунае большие русские силы отвлекали на себя превосходящую армию турок. Русский корпус входил в Сербию в 1807, 1809, 1810 и 1811 годах – уже после того, как Кайсаров покинул Европу; но ему было приятно сознавать, что соотечественники оказались добрыми христианами и не оставили в беде единокровных. Конечно, военно-практическая помощь русских была значительно меньше того вклада в восстание, который внесли сами сербы, но политическое и моральное воздействие много выше военного. Именно благодаря помощи русского воинства восставшим сербам Турция пошла на уступки.

Участник Первого сербского восстания, который по состоянию здоровья мог служить только писарем в отрядах повстанцев, ученый и литератор Вук Кураджич оставил труд (тогда неопубликованный; он увидел свет лишь в 1960) «Об участии русских войск в борьбе сербских повстанцев». Здесь он отразил и свои собственные впечатления от восстания, ведь он начал служить именно в том 1804 году, когда Кайсаров и Тургенев путешествовали по Сербии. Турки разорили и сожгли дом Вука. Точнее было бы сказать, разоряли и жгли, так как десять раз отец Вука отстраивал дом, и десять раз его снова сжигали. Родители Вука потеряли все. И это общая судьба сербов в период Первого восстания.

Знания о сербах, привезенные в Россию Кайсаровым и Турге-  
невым, способствовали тому, что Пушкин, как многие передовые дворяне, увлекся сербской идеей и трагической судьбой легендарного вождя Первого сербского восстания; он, тогда уже собирая материалы, позже написал «Песни западных славян», о которых Достоевский сказал: «Песни западных славян» это – шедевр из шедевров Пушкина, между шедеврами его шедевр, не говоря уже о пророческом и политическом значении этих стихов».

Мечты Кайсарова о сербской грамматике, словаре и прочих книгах, раскрывающих богатство культуры и трагические страни-  
цы истории этого народа, были подкреплены действиями, выражавшимися в побуждении сербов к созданию собственной грамматики и словаря. В 1805 году Кайсаров побуждал кружок Стратимировича к созданию сербской грамматики. Сербскому просветителю, знавшему в совершенстве около десяти языков, Лукиану Мушицкому (1777-1837), работавшему над грамматикой, он писал: «Я надеюсь, что Ваша сербская грамматика скоро будет совершенна; чем скорее, тем лучше. Стыдно великому сербскому народу оставаться без самонужнейших, начальных книг». Пожелание Кайсарова исполнилось лишь через десять лет после его «открытия» Сербии и вообще после его смерти, когда в 1814 году в Вене Вук Караджич, работавший не без практической помощи Лукиана Мушицкого, выпустил «Писменницу сербского язика по говору простого народа». Акцент «по говору простого народа», возможно, тоже подсказан Кайсаровым, так как в письмах к Мушицкому он часто просил «слова написать мне простым сербским языком».

Позже Вук Караджич собрал и издал сокровища сербского эпоса (который не оставил равнодушными Мериме, Пушкина, Мицкевича и других писателей); он же стал автором первого словаря сербского языка – «Речника», 30 экземпляров которого в 1819 году привез в Петербург, где встретился с А. И. Тургене-  
вым, В. А. Жуковским, Н. М. Карамзиным, тогдашним президентом российской Академии наук А. С. Шишковым, государственным канцлером, великодушным меценатом, крупным библиофилом Н. П. Румянцевым, многими просвещенными русскими, к немалому удивлению Караджича, прекрасно осведомленными о том, что творится в Сербии, и, конечно же, раздарил всем свой словарь без остатка. Вдохновленный интересом к сербскому фольклору и языку, Караджич после этого собрал «Малую Песнарицу», сборник песен своего народа, проделав все в самых тяжелых условиях – во время военных действий.

Знаменательно, что не Тургенев, не Кайсаров, изучавший сербский язык, а угрюмый серб на деревянной ноге – Вук (волк) Караджич начал создавать письменную культуру своего народа. Так должно быть. Но безусловно, что Тургенев и, особенно, Кай-  
саров своими практическими разысканиями, перепиской с сербской духовной интеллигенцией, постоянной поддержкой, направляли сербов на этот путь. Они поддержали дух восставших формированием общественного мнения вокруг сербской национальной проблемы, а за ними это сделали многие русские. Так, помимо русских штыков и кутузовской армии, которая практически помогала Сербии освобождаться, скромные русские студенты способствовали пробуждению ее национального и культурного самосознания, подтачивая и разрушая этим, хотя и в меньшей мере, чем пушками, Османскую империю.

В. Истрин, издавший письма и записки Кайсарова и Тургенева периода путешествия по славянским землям («Путешествие Алек-  
сандра Ивановича Тургенева и Андрея Сергеевича Кайсарова по славянским землям в 1804 г.», Петроград, 1915), говорил, что воспитанные на немецкой культуре Тургенев и Кайсаров «…в своих наблюдениях явились поистине первыми «славянофилами», искренне описавшими бедствия западных славян. Путешествие «первых славянофилов» углубило и их познания в области славянских языков, истории, культуры, этнографии и расширило их политический кругозор. Они тогда лелеяли благородную идею славянского возрождения.



Глава двенадцатая

Утопия Андрея Кайсарова

Н

е один Андрей Кайсаров – все российские дворяне конца ХVIII – начала XIX веков получали (домашнее, в своих или заграничных пансионах, университетах) образование по европейскому образцу. Да и как можно было получить отечественное глубокое образование, если на русском языке существовало тогда ограниченное число книг по нескольким отраслям знаний, а по иным – и вовсе не было. Только изучивший языки мог в оригинале читать французские, немецкие, латинские и прочие научные книги, а, следовательно, невольно изучать историю и культуру европейских стран. Что же такое история европейских стран? Прежде всего, это история войн и социальных преобразований. Таким образом ее герои – полководцы или разумные монархи, умевшие добиться необыкновенных политико-экономических успехов. Познакомившись с такого рода историей, какой дворянин, истинный патриот не мечтал и Россию видеть в ряду просвещенных стран Европы?

А в период распространения сентиментализма особенно пленительной казалась ещё идея первобытного рая. Хотя эта идея и есть та первичная ошибка, за которую почему-то человечество цеплялось особенно настойчиво. Никогда никакого рая на земле не было. Всегда была трудная и жестокая борьба за существование. Кто придумал легенду о таком времени и месте, где все было предоставлено человеку изначала, без усилий, жертв, борьбы, без всяких обязательств?

Если в войнах Россия за предыдущие века преуспела, то в эко-  
номическом прогрессе шла далеко не в первых рядах. Позорное пятно лежало на всем русском – это «рабство». Известны сочинения того периода, затрагивающие эту тему, А. Н. Радищева, И. П. Пнина, П. И. Челищева, В. В. Пассека, А. Ф. Бестужева, В. Ф. Малиновского, В. В. Попугаева, а об увеличении народонаселения в России писал ещё Ломоносов. Были и художественные произведения – утопии А. П. Сумарокова «Сон «Счастливое общество», М. М. Щербатова «Путь в землю обетованную». Все они направлены против рабства.

От существования этого явления шла вся раздвоенность рус-  
ской жизни. Посудите сами: дворяне, с одной стороны, представляли собой образованную верхушку прекрасно воспитанных, в большинстве, людей, благородных, служащих отечеству своими знаниями, интеллектуальным трудом; а с другой стороны, они же, вольные или невольные крепостники; и даже, в отдельных случаях, – работорговцы. Они читали Руссо, Дидро, Вольтера в подлиннике, и в то ж время, как писал современник Кайсарова Д. Давыдов:

*Томы Тьера и Рабо*

*Он на память знает*

*И, как ярый Мирабо,*

*Вольность прославляет.*

*А глядишь: наш Мирабо*

*Старого Гаврило*

*За измятое жабо*

*Хлещет в ус да в рыло…*

Дворянство наверняка знало, что мужик – их кормилец, за-  
щитник, составляющий основу русской армии. И в то же время благодарность, уважение, справедливое отношение к этому самому мужику как бы и не планировались. Как можно было говорить о просвещении России, о серьезных преобразованиях в ней, когда основная масса ее населения оставалась не только безграмотна, но бесправна?! Те дворяне, которым выпала доля учиться в заграничных университетах, понимали: уничтожение крепостного права очевидно и наступит рано или поздно; а потому говорили о нем громко и возмущенно, с сознанием собственной правоты. К таким людям относился и Кайсаров.

Он сам невнятно представлял себе Россию без рабов. Скорее, это была некая утопическая страна, где и люди должны были быть другими, чем есть на самом деле теперь: дворяне более трудолюбивыми, способными к самопожертвованиям, неэгоистичными; крестьяне – менее грубыми и забитыми, вполне осознающими себя гражданами. Кайсаров, совершенно не знавший Россию со стороны экономической и социальной, создавал, осмысливая по ходу рассуждения, свой социальный идеал, пытаясь при этом предвосхитить будущее России, сгладить противоречия и устранить их не путем борьбы и кровопролития (чего он не принимал), а вполне разумно, как и свойственно мышлению просветителя, опиравшегося на разум, освещенный сердцем; то есть путем мирных преобразований, реформ. В этом случае он вполне надеялся на умного и просвещенного царя, каким в его глазах (и в глазах современников) был Александр I.

Не случайно Андрей Сергеевич свою диссертацию, написанную на латинском языке в Гёттингене, назвал не иначе как «Об освобождении крепостных в России» и посвятил Александру I. Не случайно поэтому и рассуждения Кайсарова о свободе для русского народа противопоставляются той свободе, за какую воевали революционеры Франции на баррикадах. Кайсаров вступает в полемику с консервативными идеями некоего «ливонского помещика», барона Вольдемара Унгерн-Штеренберга, с которыми он познакомился по немецкой книге Шторха «Россия в царствование Александра I». Сочинения самого Унгерн-Штеренберга были изданы в Петербурге на немецком под названием «Сообразно ли проектирование некоторыми дворянами дарования свободы лифляндским крестьянам с государственным правом России? Размышления по поводу Ландтага в Риге от 1803 года».

Этот барон утверждал, что рабство возникает *«естественным»* (?) образом; более того, что оно согласуется с принципами человеческого разума и, таким образом, оправдывается законами природы и права. Далее «ливонский помещик» договорился до того, что крепостное право надо защищать от посягательств всяких вольнодумцев и подавлять недовольства растревоженных мыслью о свободе крестьян, не стесняясь в средствах. Кайсаров возмущенно писал в своей диссертации, полной эмоций (как и все его сочинения) более, нежели экономических выкладок, что не к лицу русскому гражданину, а к тому же ещё в XIX веке, как какому-нибудь алчному английскому купцу, восставать против освобождения рабов из-за гнусной страсти к наживе. Сами римляне, – пишет Андрей Сергеевич, – хоть у них содержалось много рабов, признавали, что в силу естественного права все люди рождались свободными. «Однако человек, вступающий в общество, дозволяет отнять у себя до некоторой степени эту свободу, чтобы таким путем получить свою долю новых преимуществ, и подчиняет ее некоей верховной власти, и эта добровольная уступка известной доли своего права должна связывать крепчайшими узами всякое общество».

Кайсаров описывает (нравственные, прежде всего) страдания человека, ввергнутого в рабство. Угнетенный и мучимый тиранией человек, потерявший надежду на избавление, вначале тайно оплакивает свой жребий, затем постепенно слабеет духом, тупеет и теряет всякую чувствительность. От гнетущего состояния души он начинает изыскивать средства, как отмстить тирану. Автор диссертации пытается проследить, когда, на каком этапе не плененный внешними врагами народ стал рабом. Историк идет по привычному пути, говоря, в первую очередь, о «Судебнике» царя Ивана Васильевича, и о «Русской правде», из которых видно, что крестьяне были раньше свободными, но постепенно закабалялись, что закрепилось и в документах. Вместе с тем, Кайсаров пишет, что «крепостное право не опирается ни на какое законное обоснование». Он считает, что «никакому состоянию людей не дозволено было обогащаться ценой ущерба для другого», и нельзя допускать, чтоб частные интересы помещиков наносили ущерб всенародным и общественным. Вольный крестьянин работает лучше, делает свое поле более культурным: «силу заключает в себе сознание свободы».

Еще одну проблему видит в России Кайсаров (о ней писал ещё Ломоносов) – это трудности прироста населения. Андрей Сергеевич говорит не просто о статистической численности, а об умении дорожить трудовыми людьми, крестьянами, на которых держится вся Россия: «Чем более отдаешь должное этому достойному сословию, тем более недоумеваешь, что государи держат его окованным путами крепостничества, зная, что в его благополучии и процветании заключается благополучие и благосостояние всего государства». Крестьяне составляют основной источник прироста населения в государстве. Для нормальной их рождаемости нужно не только здоровое тело, но и душевное спокойствие, отсутствие забот.

Территория государства столь обширна, что мы приглашаем колонистов из других стран для обработки нашей земли, понимая, «какая польза происходит от этого нашему народу, однако полагаем, что она была бы гораздо значительней, если бы колонии состояли из самих природных жителей страны. Это, однако, может иметь место только после освобождения крестьян… Если бы свои местные жители, не будучи прикреплены к земле, образовали колонию, то как мало потребовалось бы им помощи от государства!.. Они сами будут усиленно стремиться на новые места, обещающие им больше прибыли». Крепостная зависимость препятствует и развитию мануфактур, фабрик в России: «Для развития фабрик необходимо, чтобы в народе до известной степени увеличилась роскошь. Но хотя ее мы находим даже гораздо более, чем следует, у наших дворян, однако, в данном случае она ничему не способствует, так как они потребляют главным образом чужеземные изделия. Бесспорно, та роскошь полезна для государства, которая загружает наши фабрики заказами и работой. Этой роскошью должно пользоваться большинство населения и, следовательно, простой народ. Однако, этот самый народ не вышел из рабского состояния… До тех пор, покамест такой роскоши, которая для государства полезна, у нас не будет, наши провинциальные города только по названию будут считаться городами». Свобода труда, снятие крепостной зависимости и благоденствие народа будут способствовать развитию торговли в государстве. И, особенно, полезнейшему обороту денежных средств.

Благородная забота многих передовых людей России о разви-  
тии культуры и просвещения народа приносит меньшие плоды, чем того ожидают, с горечью писал Кайсаров. Причина – в той же закрепощенности. «Каково же должно быть благоприятное стече-  
ние обстоятельств, чтобы произошли Кулибины, Старовы и другие им подобные! Как часто превосходнейший талант, подавленный состоянием крепостного, остается в неизвестности и не может выдвинуться!» Угнетающе действует на самосознание народа и то, что в России судебная власть не может гарантировать крестьянину его безопасности. Помещикам дозволяется, не ожидая судебного приговора, подвергать крестьян наказаниям, взысканиям. Андрей Сергеевич словно предрекает будущее: «Если ж помещики такого права не лишаются, то надобно ожидать, что и народ в один прекрасный день от уз такого обычая освободится».

А как бы верно служил (платя своею жизнию) солдат, если бы ещё до армии «свыкся со свободой»! Он бы знал, что сражается за свою землю и свой домашний очаг, а не за свои цепи и цепи своих близких, угнетаемых нещадно. Кайсаров здесь проводит мысль, что труд крестьянина, его свобода и личность должны быть охраняемы правительственными законами.

В последних главах Андрей Сергеевич пишет: «Таковы основания, побудившие меня прийти к мысли, что крепостное право в России должно быть полностью уничтожено… Предвижу, сколько мне предстоит яростных нападок, ибо знаю, что и в моем отечестве многие являются противниками этого».

Но интересно, как же практически можно осуществить освобож-  
дение крестьян? Кайсаров считает: «Того, кто в течение долгого времени был лишен света, должно приучать к нему постепенно. Великим, конечно, было бы безумием дать полную свободу… миллионам крепостных. Это было бы то же, что дать в руки слабоумному и буйному острейшее оружие». Вот так поворот мысли! Можно подумать, что этими словами ученый перечеркивает все, чего добивался всей своей диссертацией. Однако, это не так. Он предлагает, в связи с этим, дворянам отправить своих сыновей учиться за границу, чтоб они, с одной стороны, стали просвещенными людьми и впитывали принципы, полезные для государства, а с другой – увидели воочию выгоды свободного труда. Как просветитель, Кайсаров был убежден, что освобождению крестьян должно предшествовать просвещение.

Путь, предлагаемый Кайсаровым, очень гуманный и благо-  
родный, но он не мог быть реальным в России, где, разводя либеральные разговоры в гостиных, в людских – продолжали сечь дворовых; имения продавались и перепродавались, спускались с молотка, проигрывались в карты – со всем их бесправным, безза-  
щитным населением. А уж учить детей «якобинству» в заграницах мало кто из помещиков соглашался. Поэтому все шло по-старому. И все-таки к Кайсарову и ему подобным, ничего не добившимся «словесным» деятелям конца ХVIII – начала XIX веков возникает уважение, ибо они, в меру своих сил, влияли на общественное мнение, и все большее число неравнодушных сердец занимали идеей борьбы с позорным рабством в своем отечестве.

Диссертация Кайсарова квалифицируется как философское сочинение - одно из наиболее заметных в русской философской мысли и отмеченное твердой позицией его создателя. Авторы «Краткого очерка истории философии» (М., «Мысль», 1981) – в главе «Просветители и ученые материалисты конца ХVIII – начала XIX в.» ставят Кайсарова в ряд лучших просветителей России тех лет. Они пишут: «Под влиянием Радищева антикрепостнические идеи в России в конце ХVIII – начале XIX в. проповедовали В. Пассек, Ф. Кречетов, И. Пнин, А. Бестужев, В. Попугаев, А. Кайсаров, В. Малиновский, А. Куницын и другие русские просветители. Развивая теорию естественного права и общественного договора, они делали из нее антифеодальные, по сути дела буржуазно-демократические выводы, склоняясь к конституционной или республиканской форме правления. Они ратовали за просвещение народа и разумное законодательство, проповедовали гуманизм и нравственное перевоспитание людей».

Размышления над диссертацией Кайсарова наводят на мысль, что сколь ни увлекался он прошлым России и славян, сколь ни идеа-  
лизировал былых героев и правителей ее, идеал лучшего общества, справедливого, разумного и гуманного, – идеал русского человека для него находился не в прошлом, а в будущем, и он связывал этот идеал со свободой и равенством всех русских людей. Человек честной и серьезной мысли, Кайсаров с чувством смутной тревоги высказывал все, что передумал; все, о чем мечтал он и его друзья-единомышленники по тургеневскому кружку, учителя в Гёттингене и многие передовые деятели в славянских странах, видевшие в России своего собрата, покровителя и защитника. А как могли русские защищать других, когда сами внутри страны скованы цепями рабства?! И хотя в диссертации больше эмоций и благих порывов, нежели расчетов, мысль в ней дерзкая по тем временам и устремленная в будущее. Это мысль о свободе и равенстве всех соотечественников.

Диссертация Кайсарова впервые опубликована на латыни в Гёттингене в 1806 году. Труд этот был посвящен императору и преподнесен ему в том же году (в отсутствие Кайсарова в России) при посредничестве А. И. Тургенева и Н. Н. Новосильцева, тогдашнего министра просвещения. Существовали три перевода диссертации на русский язык. Первый, предположительно, сделанный при жизни автора, принадлежал саратовскому священнику, протоиерею Николаю Герасимовичу Скопину[[16]](#footnote-16), о чем сообщает книга саратовского историка Н. Ф. Хованского «Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 г.» (Саратов, 1912, стр.140). Составитель сборника, в свою очередь, ссылается на доклад общему собранию архивной комиссии 27 ноября 1906 года историка В. П. Соколова «О рукописях Н. Г. Скопи-  
на». Скопинский перевод заглавия таков: «Рассуждение об отпуске на волю в России крестьян». К сожалению, сам текст перевода не найден, а может быть, и утрачен. Второй перевод сделал Петр Иванович Бартенев (1829–1912), историк и археограф, основатель и редактор журнала «Русский архив», он назывался «Освобождение крестьян в России». Перевод не был опубликован и дошел до нас в рукописи. Есть и третий перевод Н. А. Пенчко, опубликованный (и это первая русская публикация труда Кайсарова!) в сборнике «Русские просветители (от Радищева до декабристов)», собрание произведений в 2 томах, М., 1966, т.1. 160 лет диссертация Кайсарова не была известна широкому кругу русской общественности.

Публикация работы Кайсарова в этом сборнике сама собой говорит о ее высокой современной оценке, ибо философская мысль Кайсарова ставится следом за Радищевым.

Что же касается самого труда Радищева, то Кайсаров, вероятнее всего, читал его, так как Радищев был другом И. П. Тургенева, его книги имелись в доме Тургеневых и были читаны всеми детьми и их друзьями, не случайно редактором первого собрания сочинений Радищева позже оказался друг Кайсарова Мерзляков.

Перевод диссертации Бартеневым более талантлив и свободен, в нем сохранена живая интонация голоса Кайсарова, его диалогический пафос. Перевод Пенчко более строг и научно направлен, но оба они достойны быть известными широкому читателю.

«Достоинство» доктора философии Кайсаров получил на двадцать четвертом году жизни. Сверх этого профессор Бекман выдал ему диплом о том, что он прослушал лекции по сельскому хозяйству, технологии, теории коммерции, полицейскому и камеральному праву. Получив от профессоров аттестаты, Андрей Кайсаров и не подумал возвращаться домой, в Россию. В мае 1806 года он покинул Гёттинген и отправился в Англию, чтоб совершенствоваться в своем английском языке и искать славянские памятники в старых хранилищах, где только удастся. Он побывал в Англии, Дании, Шотландии и других странах.

А в это время друзья читали его диссертацию, в Петербурге она была представлена царю. Уже 20 июня 1806 года Тургенев писал Константину Булгакову: «От Кайсарова получил я диссертацию его, через своего шефа поднес ее государю и на сих днях получит мой или наш доктор перстень, который уже велено мне выдать». Однако, царь не спешил внять советам просвещенного философа. Поощрив Кайсарова перстнем так, чтоб это всем стало известно, сам труд он положил «под сукно», ибо в то время у него были другие советчи-  
ки, – Негласный комитет, состоявший из не многочисленного замк-  
нутого круга близких к царю лиц, оказывавших в те годы на него большое влияние. Это было время появления на политической арене М. М. Сперанского (парадокс судьбы заключался в том, что, судя по письмам друзей Кайсарова, «в большом употреблении» у Сперанского были Петр Кайсаров и Магницкий. В комиссии по составлению законов в 1806 году работал и Александр Тургенев). Члены Негласного комитета интересовались западно-европейскими буржуазно-политическими учениями, и, хотя робко, но поговаривали о применении их к крепостнической России. В комитете были обе силы: которые хотели буржуазных реформ, и которые их упорно не хотели. Вследствие этого результаты деятельности Негласного комитета были очень невелики.

Даже те представители бюрократии, которые считали необходимым проведение отдельных реформ, стремились только *сочетать основы* *самодержавия с внешними признаками современного правления*, почерпнутого из конституций западноевропейских государств.

Перестройка государственного аппарата пошла по пути усиления бюрократического начала. Был реорганизован Сенат; вместо коллегий образовались министерства, которые единолично управлялись министрами, непосредственно подчиненными царю.

Сперанский придавал самодержавию форму конституционно-  
го устроения. Он предлагал создать сложную четырехступенчатую систему представительных учреждений, право выбора в которых ограничивалось имущественным цензом (то есть, фактически выдвигал на первый план буржуазию, которая в подавляющем большинстве была тогда нерусская и даже – антирусская; государственные заслуги, служба, служение, а также родовитость, по проекту Сперанского, утопали в тумане неких относительных ценностей. А именно: служение хорошо, если служишь идеям новобуржуазного правительства; родовитость хороша, если к ней прибавлялись капиталы и владения). В плане Сперанского законодательная инициатива предоставлялась особому Государственному совету из назначенных сановников, а окончательное утверждение предложенных законов сохранялось за царем.

По закону о «Свободных хлебопашцах» 1803 года, помещикам разрешали освобождать крестьян за выкуп, при условии обязательного наделения их землей. Но дворяне не спешили ис-  
пользовать этот закон. Он остался на бумаге ещё и потому, что условия выкупа были крайне неприемлемы для крестьян. Как в известной басне «Лиса и журавль», этот целебный закон был вылит в сосуд, из которого его невозможно достать.

Не ставя вопроса об отмене крепостного права в России, Спе-  
ранский все же ограничил произвол помещиков над крестьянами: теперь не должны наказывать без суда (хотя на местах крестьяне зачастую об этом не подозревали и отдавались на волю владык); но крестьяне, как и прежде, не могли самостоятельно оставить помещика. Проект вызывал бурю протестов со стороны помещиков (а они – дворяне). Все силы были мобилизованы, чтобы не допустить этого в ближайшем будущем. Царь уступил массам консервативно настроенных дворян. Сперанский был удален в ссылку.

Этот практический эксперимент, который, как может показаться, мало относился к Андрею Сергеевичу Кайсарову, к тому же путешествовавшему тогда по Европе, однако наглядно показывает, насколько диссертация его оказалась не ко двору, а вернее, как говорят в народе, ни к селу ни к городу, именно поэтому, может быть, диссертация не была опубликована при жизни автора. Кайсарову ещё повезло: он хотя бы получил в награду перстень.

Утопические планы Кайсарова относительно освобождения крепостных в России не были приемлемы тогда многими, и – что самое обидное – близкими для него людьми. Так передовой Шлёцер, с жаром обличавший тиранов вообще, одновременно считал, что революция опасна, и лучше все оставить так как есть до тех пор, пока провидение и случай сами не захотят освободить народ от гнета. Учившиеся вместе с Кайсаровым в Гёттингене барчуки графа Ливена открыто не одобряли освобождение крестьян. Александр Тургенев относился к диссертации Кайсарова чисто эмоционально, то есть просто радовался успехам друга на философском поприще (остроактуальной в Европе тематики); в душе же он сохранил вполне консервативные взгляды. В том же 1806 году, когда Кайсаров издал диссертацию, Александр Тургенев писал Жуковскому: «Покуда крестьяне сами без всякого шума не снимут с себя цепей, которые они на себя наложили (ибо дворяне не насильством присвоили себе право сие); до тех пор им рабство – драгоценный дар. Оставим действовать времени и происшествиям. Не будем скоропостижными. Если народ русский взойдет сам собою на ту ступень нравствен-  
ности, которая нужна для народа свободного, то цепь рабства, как оболочка зрелого плода, сама собою падет с него».

Радикал декабрист Николай Тургенев, не допускавший, однако, и мысли народной революции в России, писал уже после войны, когда, кажется, степень нравственности народа, отстоявшего Россию от захватчиков, была явно определена: «Все в России должно быть сделано правительством; ничего самим народом. Если правительство ничего не будет делать, то все должно быть предоставлено времени, ничего народу». Николай Тургенев был солидарен с Кайсаровым в том, что если освобождение когда-либо произойдет, то лишь царь и правительство смогут это сделать (в общем-то так оно и вышло). В статье «Нечто о состоянии крепостных крестьян в России» Николай Иванович писал: «Всякое распространение политических прав дворянства было бы неминуемо сопряжено с пагубою для крестьян, в крепостном состоянии находящихся. В сем-то смысле власть самодержавия есть якорь спасения для отечества нашего. От нее и от нее одной мы можем надеяться освобождения наших братий от рабства, столь же несправедливого, как и бесполезного. Грешно помышлять о политической свободе там, где миллионы не знают даже и свободы естественной».

Путешествуя по странам Европы, Андрей Сергеевич не находил идеалов совершенного государства.

Посетив Англию, Кайсаров убедился, насколько она далека от образца государства, стоящего на страже народных интересов. Оказалось – наличие буржуазно-демократических свобод и народ-  
ная нищета могут свободно соседствовать. Кайсаров видел, как машинизация капиталистического производства и погоня за прибылью вытесняют рабочих в кварталы нищих.

Андрей Сергеевич и сам отчасти вкусил английской нищеты, ибо рядом уже не было доброго его друга со всегда доступным кошельком, заботливой «сиделки» во время болезней – Александра Тургенева; не было забот его отца (умершего в 1807), который своевременно переправлял средства за границу. Позже, вспоминая это время, в назидание Сергею Тургеневу, учившемуся в Гёттинге-  
не, Кайсаров писал: «Если иногда немецкие карбонады и в душу нейдут, то пусть предстанет твоему воображению мой почтенный лик; пусть представишь ты себе 25-летнего молодца в роскошной столице Европы, окруженного богатством всего света, – и питающегося целых пять месяцев одним хлебом и луком».

В то время как 16 ноября 1806 года Андрей Кайсаров в одиночестве скудно праздновал свой день рождения, Александр I подписал манифест о войне с Францией. Русские войска под командованием фельдмаршала Беннигсена вступили в Пруссию, найдя ее чуть ли не всю завоеванную французской армией. Русские оказались в тяжелейшем положении: в изоляции, вдали от Родины, перед лицом вдвое превосходящих сил противника, предводительствуемого человеком, чье имя устрашало всю Европу. Кайсаров следил за сообщениями в газетах. Война приближалась к западным границам России. Россия же вела затяжную войну с Турцией, защищая сербов и свои юго-западные границы. Две русские армии в Европе были разделены огромными пространствами и в случае внезапной нужды никак не могли прийти друг другу на помощь. Для ведения войны на два фронта нужны были немалые средства и войска. Раскрыв декабрьские газеты, Кайсаров узнал, что 30 ноября вышел манифест Александра I о создании народного ополчения. 612 тысяч ратников планировалось набрать от 31 губернии. Первая волна патриотизма прокатилась по России зимой 1807. Многие дворяне охотно шли в милицию (или ополчение). В эти дни в ополчение пошли А. Н. Оленин, поэт К. Батюшков, поэт-сатирик, товарищ Тургенева по пансиону И. Петин. Брат Кайсарова Паисий, вылечившийся от контузии при Аустерлице, снова служил адъютантом Кутузова. В непосредственной близости от района боевых действий был К. Булгаков. В Пултуске и Прейсиш-Эйлау зимой 1806–1807 годов русские войска задержали неприятеля, но ценой многих потерь и вынуждены были отступать.

Письма в Англию приходили редко. Газеты были хоть запоздалым, но более или менее верным источником информации о России и русских за рубежом. Всегда под угрозой неожиданно слечь в постель, Андрей Сергеевич напряженно работал. Он пополнял свои знания археологии, истории Европы, медицины, этнографии и культур разных народов всем, что можно почерпнуть в богатом Британском национальном музее. В английских архивах он снял копии документов, относящихся к русской истории.

Опубликованные материалы различных иностранных архиво-  
хранилищ, сказания иностранцев о Древней Руси и Московии, собранные Александром Тургеневым и Кайсаровым (по просьбе друга) затем были переданы Тургеневым Карамзину и использованы им при написании «Истории государства Российского», о чем достоверно известно. К сожалению, многие рукописи из библиотеки Карамзина (московской ее части) сгорели в 1812 году во время пожара Москвы. Но иные работы сохранились. Например, в «Русской старине» в 1882 году (т. XXXIV, стр. 449) было опубликовано признание Александра Тургенева: «Некоторые из актов на английском языке приобретены не мною, а списаны другом моим, покойным А. С. Кайсаровым», известно также, что книги, которые посылал Кайсаров из-за границы Тургеневу (на хранение до приезда), в числе прочих брал Карамзин, также для своей исторической работы.

В Эдинбурге, в тамошнем университете, Кайсаров получил ещё одно звание – доктора медицины (которое, кажется, мало успело ему пригодиться). В Шотландии, успешно выступивший перед местным обществом, Кайсаров был избран почетным гражданином небольшого городка. В Дании он осматривал гавани, музеи, архивы. Летом 1807 года Андрей Сергеевич Кайсаров с Николаем Ивановичем Тургеневым, который вместе с братом Сергеем теперь учился здесь, гуляли по Гёттингену, ещё раз ездили на Гарц. Отрываясь от бесконечных тайн Гарца и Гослара, воплотивших в себе закат героического мира, молодые люди обсуждали события в Европе.

– Наполеон взобрался на вершину славы по костям якобин-  
ских жертв, – говорил возмущенно Николай Тургенев. – Кто бы мог подумать, что революция может родить такое чудовище – Наполеона – выродка республиканизма?!

– Да, повсюду в Европе слышатся возмущения! – говорил Кайсаров. – Никогда не предполагал, что просвещенный тиран – это такое антигуманное явление.

– А знаешь, сами французы думают, что они освободили Европу и при этом пользуются всеобщей любовью.

– Не все.

– Не все, конечно.

– Мы, наше поколение, французскую революцию восприняли в расплывчатой форме бунтарского свободолюбия, которое каж-  
дому любо-дорого, свободолюбия неограниченного, неопределенного, витающего в эфире… А революция – грязь, кровь, смертоубийства, разрушение нравственности! Нет, не так надобно вводить преобразования! Без низости и подлости, убийств соотечественников можно обойтись.

– Хотелось бы, хотелось бы,.. – успокаивал разгоряченного Николая Кайсаров, – ты не принимай так близко к сердцу все. Как оно ещё будет?!

– А я уверен: крестьян мы освободим! Да, уверен!

Как ни привлекательны западноевропейские страны для пытливого ума, для души русской они оставались чужбиной. Кроме того, заграничная жизнь требовала немалых средств, а деньги присылались нерегулярно. Лихорадка в не всегда гостеприимной Европе обострялась чаще и чаще. Все говорило о том, что нужно возвращаться. После того, как ум его охладился в чужих краях и многие чужие земли были под ногами, – сердце запросило родного тепла.

Дома Андрея Сергеевича ждали друзья. Александр Тургенев писал брату Николаю в Гёттинген: «А. С. Кайсаров скоро сюда будет… Пора ему на Святую Русь; пошатался по белому свету и натерпелся нужды; испытал и холод и голод. Приятно будет отогреться на русской лежанке или русскими щами».

В конце 1808 года наш вояжер возвратился на Святую Русь после шестилетнего отсутствия, имея два докторских звания, усо-  
вершенствованные знания многих европейских языков, в том числе и славянских, чем вообще тогда не мог никто похвастаться; в то же время без всяких интеллектуальных амбиций: в письме к Булгакову он называет себя «застенчивый профессор, весь век занимавшийся своими черепками». «Весь век» Кайсарова к этому времени – двадцать шесть лет.

Многие из тех, кто учился ранее за границей, ошеломленные европейской книжной культурой, вернувшись в Россию, не могли уже избавиться от манеры смотреть на россиян через эти чужие «культурные» очки. Андрей Сергеевич Кайсаров был не таков, цельная органика его натуры все переварила быстро, и он нес культуру в Россию как человек российский, без презрения к людям, а лишь с огромным желанием всё передать, всем поделиться. Кайсаров прошел через соблазны многих европейских столиц, не потеряв ни одного пера из своих крыльев. Увиденное и узнанное им в разных странах помогло выработать свою жизненную позицию, проникнуться убеждением в непреходящем значении отечественной и славянской истории и культуры. Так мало знавший русскую действительность и так много передумавший о России на чужбине, готовый любить ее со всей страстью блудного сына, возвратившегося в лоно отчего дома, Кайсаров искренне надеялся найти здесь понимание и помощь своим замыслам в служении отечеству просвещением.



Глава тринадцатая

«Саратовские безделки» и саратовские дела

С

молк шум Европы, улеглась дорожная пыль, взбитая колесами коляски Кайсарова, прошли обильные, без громовых раскатов дожди, сделавшие дороги кочковатыми, затем мороз сковал заиндевевшие колдобины и легла впереди элегическая и дико прекрасная сельская провинция – саратовская степь, Глушсаратов. Сюда, в солнечный и захолустный Саратов, в «саратовские деревни» отогреваться от неуютного европейского климата уехал Кайсаров в зиму 1808 – 1809 годов, надеясь хоть ненадолго обрести в доме своего детства утраченное блаженство юных лет. Вначале Андрей Сергеевич с Никитой явились в свои аткарские деревни Саратовской губернии: Барановку (центральная усадьба), Андреевну, Дарьевку, лежавшие на пути из Москвы в Саратов. Остановились, как всегда, в прежней, бабушки своей по матери Ефросиньи Сергеевны Волконской, деревянной усадьбе в Барановке, которая выглядела немногим больше крестьянской избы, отличаясь от изб лишь архитектурой и тем, что в последнее время в ней живало мало народа.

Все те же корявоствольные старые осокори указывали дорогу из Барановки к речке Медведице, каждое лето обрамляемой по берегам дымными кудрями ивняка, отмечавшей пологие разливные берега стройной ратью шоколадноголовых камышей, или проклюнувшихся из воды желто-золотых кувшинок с тугими лоснящимися лепестками. Эти цветные картины были в памяти с детства. Однако, теперь все выглядело иначе, ведь приехали они в Барановку глубокой осенью, когда снег засыпал последние следы летней роскоши, речка словно сжалась и приникла к дну русла. Кручи ее берегов обнажились, оскалились буро-грязным оскалом; голые – они казались выше и протяженнее; луга, составлявшие низкие части берегов, слились с рекою единым белым простором, простроченным свежими заячьими и лисьими следами.

Никита затопил печь, дрова весело трещали, наполняя просто-  
рную комнату теплом жизни. Едва только Андрей Сергеевич отдохнул немного, написал несколько писем друзьям и близким, – приехал «брат Александр» (так Кайсаров называл его в стихах) – дальний родственник по отцовской линии, офицер Александр Афанасьевич Кайсаров, который ещё в детстве учил Андрея и Паисия кавалерийской выправке. Он словно и не изменился, хотя уж давно был женат и окружен детьми, все так же молодецки спрыгивал с буланого своего жеребца и лихо взбегал на крыльцо, по-медвежьи топоча у порога, отряхиваясь перед тем, как войти в дверь. Он остался все так же добр, искренен и весел. Деревня была для него истинной стихией – от заячьей охоты до полевой страды; всякая сельская мелочь оказывалась предлогом для изложения своих знаний по этому предмету. Годом позже, прощаясь с Саратовом, Андрей Сергеевич посвятил ему строки:

*Прости, брат Александр! И жить ты научился:*

*Не силою своей – душою ты гордился,*

*Будь добр, как ты теперь, будь ласков и учтив,*

*Ты денег не люби – и будешь век счастлив!..*

*Прости, старинных слов искусный открыватель*

*И женщин миленьких усердный обожатель!..*

Александр заявил, что святки надо непременно провести в Са-  
ратове. Там с конца декабря начинаются ежедневные балы у всех, по очереди, здешних дворян и именитых купцов, игры, гадания, катания по замерзшей Волге на легких санках. Затем – елки, детские праздники, колядования, и, наконец, большой новогодний бал у губернатора. В январе – рождественские праздники, театр, концерты, благотворительные вечера. Так – до самой масленицы. Рассказал Александр и о многих новостях местного масштаба.

– Правда, что в Саратове чума была, сказывают, о прошлом годе? – спросил Андрей Сергеевич.

– Ха-ха-ха! – расхохотался Александр Афанасьевич.

– Что здесь смешного, не вижу?! – удивился Кайсаров. – Урон, должно быть, в людях велик? А ты зубоскалишь немилосердно.

Тут Александр, подбросив в печь полено покрупней, рассказал Андрею о виновнике «чумы» в Саратове и прочих событиях, вра-  
щавшихся вокруг губернаторского дома. По словам Александра, «изобретателем» чумы в Саратове был губернатор, только что вступивший на этот пост, Алексей Давыдович Панчулидзев, неизвестно каким ветром занесенный в Саратов грузин Панчулидзе, купивший себе дворянское звание. Человек небывалого размаха тщеславия и – двойственной жизни: высокой, пышно обставленной, показной; и – низкой, скрытой, хотя и не особенно скрываемой.

До того, как стать губернатором, Панчулидзев был в Саратове вице-губернатором, то есть председательствовал в казенных пала-  
тах (что дало ему хорошее знание дел, людских слабостей). А ещё до того – состоял советником солевозной комиссии, впоследствии переименованной в Управление эльтонского соляного озера. В те времена, по словам летописца, «Эльтонский промысел… был в Саратове своего рода Калифорниею». На этом Панчулидзев составил немалый капитал, завел большой дом, купил несколько деревень, в одной из них устроил небольшой винокуренный заводик, тоже дававший немалую прибыль. Но этого Александру Давыдовичу было мало. Он задумал стать губернатором.

С 1802 по 1807 год в Саратове губернаторствовал Петр Ульянович Беляков – первый из «саратовских губернаторов, который интересовался вверенным ему краем с научной… стороны… задумал составить описание губернии в историческом, географическом и статистическом отношениях». Но сведения не удалось собрать «по неимению людей, способных на это». Увлеченный мечтами о преобразованиях в Саратове, честный Беляков не подозревал, что против него готовятся козни. По своему простодушию он выгнал за взятки прокурора Эсипова и асессора казенной палаты Чеботарева. Те, по наущению Панчулидзева, написали донос царю, обвиняя Белякова в том, что он развалил все дела в губернии. Беляков был спокоен: с одной стороны, он знал, что безгрешен, с другой – что его поддерживает при дворе и при царе старинный друг, столь же честный, бескорыстный и прямодушный Кочубей Виктор Павлович (1768–1834; правнук казненного Мазепой), министр внутренних дел, приближенный царя, позже негласно введенный в комитет, разрабатывающий проекты преобразований (под руководством Сперанского).

Однако, как и честный Беляков, честный Кочубей многим ме-  
шал. Особенно энергично рвался на пост министра внутренних дел не ведавший никаких нравственных границ в личной жизни, в исканиях карьеры и на служебном поприще, князь Алексей Борисович Куракин, как личный друг (друг юности) Павла I возвысившийся в его правление, однако, одно время бывший в опале, в ссылке в саратовском имении (Лев Толстой в «Войне и мире», смягчив краски, вывел его под именем князя Василия Курагина). Куракин открыто подтачивал авторитет Кочубея в глазах царя-сына Александра Павловича. А когда ему попался идущий по этому пути и дающий огромные взятки Панчулидзев, то дело решилось само собой. Современник писал: «Перед отъездом государя в армию оберпрокурор П. С. Молчанов, преданный Куракиным, отправлен был в Саратов по какому-то пустому делу, но с тайным поручением: обстоятельно разведать о поступках губернатора Белякова. Под разными ничтожными предлогами прожив там все лето, он осенью возвратился с возом обвинений «неоспоримых» доказательств низости любимца Кочубеева. Беляков был призван в Петербург и предан суду… Удар сей нанесен был самому министру, который горячо за дело вступился. Утверждали, будто бы в жару разговора император Александр I дал ему почувствовать, что почитает его прикосновенным к «злоупотреблениям» в Саратовской губернии; будто бы обиженный Кочубей сказал, что после того на службе оставаться ему невозможно и получил ответ, «что никто его не удерживает». Так в Саратове после Белякова надолго утвердился Панчулидзев, а в России после Кочубея – Куракин.

В 1807 году Панчулидзев объявил в Саратове… чуму, которая, однако (к счастью для саратовцев), проходила лишь по отчетным бумагам. Считается, что она была с января по апрель 1808. Выезд из города был закрыт. По отчетам, составлявшимся с ведома Панчулидзева, в Камышине, Царицыне, Саратове (насчитывавшем 15 тыс. жителей) и семи селениях зарегистрировано 153 умерших (почти столько же здесь умирало естественной смертью. В то время как, например, во время настоящей холеры в 1830 году заболело 11330, а умерло 7009 человек). Таким образом историки доказывают, что чума – это миф в виде канцелярских рапортов, в результате которых Панчулидзев был отмечен наградами, землями, подарками, и, главное, – назначен губернатором. До сорока чиновников в Саратове, Царицыне и Камышине получили чины, ордена, земли и подарки за действия по прекращению «чумы». Александр I пожаловал в Троицкий собор Саратова «крещатную бархатную ризницу». Торжество освещения ризницы, проводимое Н. Г. Ско-  
пиным (тем самым, который первым перевел диссертацию Кайсарова) состоялось 17 января 1809 года, когда Кайсаров был в Саратове и вполне мог присутствовать на церемонии. Так Панчулидзев ещё раз (и не последний) обманул царя.

Куракины постоянно приезжали в Саратов как в свою богатую вотчину, всегда готовую дать пышный прием с сытными обедами, балами, охотой и… даже с крепостными русскими девушками, предоставляемыми развратным столичным гулякам для ночных увеселений. Н. Г. Скопин писал в своем дневнике: «Чудно, как бо-  
гатство портит людей! О Куракиных долгая история; известные из них Алексей и Борис. Алексей есть Сарданапал и Епикур; не знаю, верит ли он в бессмертие души, но известно только то, что весь век свой прожил не женившись; всех почти крестьянских детей-девочек растлил; подержавши, отдавал замуж; рожденных выбледков поделал баронами. В силе у него Содом и Гомор. Патриотизма не видно, ибо окружают его французы. Жил только в пышности строения, столов, распутства и – больше ничего. За что чины, ленты и проч.?.. сволочи; все люди рассеянные; ветер, да и только. Подпора государства!.. Что здесь было делано на балах и маскарадах, трудно это и описать. – Несчастная нравственность! ты погибла…»

Эта запись Скопина относится как раз ко времени пребывания Кайсарова в Саратове, таким образом, и он многое мог наблюдать.

Для встречи именитых гостей из Петербурга и для собственных увеселений Панчулидзев держал большой дом с целой анфиладой комнат и огромной длинной залой, требовавшейся для модного в то время шотландского танца шотишь или экосез. Дом обслуживали в разное время от 100 до 300 крепостных слуг. Держал Панчулидзев музыкантов, певчих, домашний театр из талантливых крепостных и чиновников, «имеющих к театру страсть». Здесь ставились водевили, комедии (современник писал: «А как балеты не под силу, то заменяют казачком»), давались балы и маскарады, фейерверки с… фантастическими затратами.

Не ограничиваясь лишь праздниками, Панчулидзев устраивал у себя еженедельно по четвергам вечера; на эти «четверги» приглашались не только дворяне, чиновники, но даже и богатые купцы. На таких вечерах можно было найти пожилых купчих в штофных кофтах и юбках с пестрыми «ковровыми» платками на плечах; щеголеватых, ряженых по моде тех лет молодых незамужних дочерей их, одетых в парчовые платья с дорогими кокошниками на голове и «с целым магазином колец» на руках. Молодые танцевали. В это время в соседней зале шли вальсы, менуэт, полонез, экосез и проч.; развлекались игрою в фанты, жмурки; к услугам девиц отряжался штат молодых чиновников. Маменьки их часами сидели тут же, перешептываясь между собою. На таком балу можно было увидеть иногда и Кайсарова, зевающего в сторонке. Появлялся он и в большом, обмазанном глиной, доме помещика и предводителя дворянства Гладкова, где помещался тогда первый в Саратове театр.

Прекрасные оркестры – струнный и духовой, – состоявшие из 50 дворовых людей, под управлением двух капельмейстеров из немцев, должны были при изъявлении малейшего желания хозяина услаждать слух его гостей. Некоторое время оркестром дирижиро-  
вал композитор Герличка, один из четырех братьев, приглашенных из Вены Екатериной II и дававших концерты ещё в присутствии императрицы.

Конюшня Панчулидзева славилась рысаками и скакунами лучших пород. Для гостей часто устраивалась псовая охота, поездки за Волгу или в Сарепту «на воды». Отдельные смельчаки предпочитали доставлявшие славу отчаянных голов экскурсии в глухие заволжские степи к озеру Эльтон. Из Москвы и Петербурга знакомые Панчулидзева приезжали нарочно в Саратов, чтобы весело провести время. Оберпрокурор А. Л. Нарышкин в таких случаях обыкновенно говорил, что у него вкус притупился, и доктора, вместо диеты, посылают его путешествовать, и он едет в Саратов «за аппетитом».

Огромный загородный дом Панчулидзева со множеством при нем служб и обширным парком, наподобие царского, гостеприимно открывал двери для всех приезжающих из обеих столиц. Все это было бы хорошо, если бы на эти «домашние» пиры и угощения высокопоставленных особ шли личные деньги Панчулидзева. Однако, город был ввергнут в круговую поруку взяточничества, казнокрадства и мошенничества небывалого размаха (что позже доказала ревизия). В противоположность строгому, суровому Белякову, Панчулидзев снисходительно относился к слабостям и порокам людей. Чувствуя за собой грешки, смотрел на грешки других сквозь пальцы, и был любим многими, чем более «грешными» – тем больше. Если у губернатора появлялся новый дом, то такой же неподалеку строился и для его сына Александра, почти ровесника и знакомого Кайсарова. Если появлялась дача в районе Соколовой горы, то не менее богатая тут же оказывалась и у его сына. Позже Панчулидзев «устроил» своего сына не более, не менее как пензенским губернатором.

Панчулидзев был предприимчивым человеком и участвовал в строительстве многих домов и храмов, на которые собирал средст-  
ва, как правило, лично, не обременяя себя учетными бумагами. При Панчулидзеве, например, была открыта губернская гимназия, для которой он «уступил» свой дом, «как существовавший уже в центре города», с «понижением» цены. Эта «пониженная» цена довольно кругленькая – 40000 рублей, что далеко не соответствовало действительной. Позже выяснилось, что дом надо ремонтировать. ещё позже выяснилось, что деньги на строительство новой гимназии Панчулидзев, по своему единовластному (в прямом смысле) решению «отдает» себе на новый дом. Сумма составлялась заманчивая: губернское дворянство жертвовало на строительство гимназии 55000 рублей; городское общество собрало на формирование егерского полка 95000 рублей (и эти деньги отдавались Панчулидзевым на гимназию, т. е. себе на дом). Итого 150000 рублей! За такое «горячее» участие в строительстве гимназии ревнитель просвещения Панчулидзев был избран ее попечителем. Можно быть уверенным, что его долголетнее попечительство было столь же «участливым», как и строительство.

Много «старался» Панчулидзев с устройством в Саратове деревянных мостовых и стоков вдоль них. Но водостоки, едва прикрытые досками, служили для сбора в них мусора, дохлых кур и кошек, распространявших в летнюю жару известный «аромат». Ломавшие ноги в таких «канавках» саратовцы быстро разбирали деревянные тротуары на дрова для самоваров, печей и бань. Постепенно мостовая исчезала. После дождя пешеходы так увязали в грязи, что нередко оставляли калоши и сапоги в уличной хляби. Неизвестный саратовский поэт XIX века изобразил городское благоустройство тех лет с большой иронией:

*Хорош Саратов – загляденье!*

*Въезжай в него и осмотрись:*

*На улицах, между строений,*

*Репьи кустами разрослись.*

*Порой по улице широкой*

*Встречаешь козу иль свинью,*

*Иль кошки остов одинокий,*

*Сложившей голову в бою.*

*Уж если грязь, то грязь такая,*

*Что люди вязнут с головой,*

*Но мать-природу обожая,*

*Знать не хотят о мостовой…*

Забежим несколько вперед и расскажем дальше о приключе-  
ниях семьи Панчулидзева, так как читатель вряд ли знает столь сугубо провинциальную историю, хотя она – достойная гоголевского пера – является частью нашей российской истории вообще и истории жизни Кайсарова в Саратове, в частности.

После Отечественной войны 1812 года в Саратове были собра-  
ны деньги на строительство Александро-Невского собора (Александр Невский был покровителем русского воинства) в честь победы в Отечественной войне. На это действительно святое дело начал собирать средства плут и взяточник Панчулидзев. Богатые давали тысячи, бедные вдовы рубли, городская беднота сыпала медь. Тысячи оседали в бездонных карманах Панчулидзева. Затеялся долгострой, шли годы… Наконец, 24 апреля 1824 года купол храма вдруг… упал, погребая под своими обломками неучтенные тысячи рублей. Саратовское депутатское собрание и городская управа, по совету Панчулидзева, разумеется, объявили дополнительный сбор. Только после этого дело пошло. Храм был выстроен, расписан, вокруг него посажен парк «липки», существующий и ныне.

Почему мы все это подробно описываем? Почему фигуре Панчулидзева уделяем столько внимания? – Потому что многое здесь рассказанное видел в деталях Андрей Сергеевич Кайсаров и не только видел, но и отразил в сатире «Прости Саратову», вошедшей теперь – в сокровищницу отечественной поэзии и опубликованной в антологии «Сатира русских поэтов первой половины XIХ века» (М., 1984). Имя одного из героев стиха не названо, но, в свете предыдущего рассказа, мы без труда узнаем его.

*Прости, почтеннейший эльтонский обладатель,*

*Веселий и пиров князьям изобретатель!*

*Ползи тропинкою, которою ты полз:*

*В столице кланяйся, а здесь ты вздёрни нос;*

*То гостю милому красотку подставляя,*

*Министра жадного то деньгами ссужая,*

*Ты чудо новое пред светом уж явил*

*И самую чуму геройски победил.*

*Когда заслугами ты станешь так блистать,*

*Нетрудно и тебе в сенаторы попасть.*

*Не всяк одним путём мог счастия добиться,*

*А честью ведь нельзя так скоро дослужиться…*

*Прости ты, сборища и куриц, и гусей,*

*И волжских осетров, и волжских стерлядей!*

*Как курочка живёт, по зёрнышку клюя,*

*Так длится взятками жизнь жадная твоя…*

Еще несколько забежим вперед. Немногие знают, что жившего позже Николая Платоновича Огарева (1813–1877), ближайшего друга и соратника Герцена, поэта, мыслителя, светлого и возвышенного человека судьба соединила с саратовцами одним несчастьем – связью (родственной) с пройдохой, мошенником и плутом, какие и Гоголю не снились, саратовским губернатором Панчулидзевым и его сыном – пензенским губернатором, на племяннице которого – Марии Львовне Рославлевой – он оплошно женился, думая, что невеста, уверявшая его в готовности принести свою жизнь в жертву всеобщему благу, будет ему верной подругой. Происходивший из числа самых богатых и знатных семей России, никогда не искавших выгод в браке, службе и прочем, Огарев легко обманулся. Он ведь не знал, что в семействе Панчулидзевых выгодная женитьба – обязательная статья дохода.

Сам Саратовский губернатор был женат трижды; в последний раз – на дочери богатейшего промышленника Демидова, Екатерине Петровне. Вся жизнь Панчулидзева-старшего в Саратове, начиная с бесславного вступления в губернаторство в 1808 году и кончая позором его отставки в 1826 году, последовавшей за разгромной ревизией дяди Огарева сенатора Н. И. Огарева, – вот ещё один па-  
радокс судеб! – сплошная цепь авантюр. Панчулидзев-сын пошел в отца. В путевых заметках «Кавказские воды» Огарев писал: «Наконец губернатор, заняв у меня пять тысяч рублей ассигнациями (без отдачи, разумеется) выхлопотал мне разрешение ехать на Кавказ…» Губернаторство сына Огарев называл «разбойнически отеческим управлением Панчулидзева». В одинаковой мере это относится и к отцу и к сыну, чье губернаторство тоже оборвалось сенаторской ревизией и статьями в «Колоколе» Герцена.

Почему мы говорим здесь об Огареве? Не только потому, что он связан с Панчулидзевым. Как удалось выяснить, одно из романтических стихотворений Кайсарова «Остряку (Льву Яковлевичу Рославлеву)», написанное в Саратове в 1809–1810 годах, посвящено отцу жены Огарева Марии Львовны Рославлевой, с которым Кайсаров был коротко знаком.

В глазах Кайсарова Рославлев-отец не имел тех отрицатель-  
ных черт, которые отличали его дочь, и которые отравили жизнь известному русскому писателю Н. П. Огареву; или – Рославлев обманул Кайсарова.

Саратовская жизнь Кайсарова 1809 – 1810 годов нашла отражение в оставленной им, начисто переписанной тетради стихов «Саратовские безделки» (название перекликается с книгами Карамзина «Мои безделки» и Дмитриева «И мои безделки»), дошедшей до нас полностью (всего 26 стихотворений) и в выдержках опубликованной А. Фоминым в «Русском библиофиле» (1812, № 4). Как Андрей Сергеевич решился на стихи?! В глуши скучно, несмотря на многие невинные развлечения. Заняться нечем именно критическому деятельному уму и горячему сердцу. Кайсаров вспомнил слова Виланда (автора «Агатона» и «Оберона», некогда так любимого ими с Андреем Тургеневым), записанные Карамзиным в «Письмах русского путешественника»: «Кто любит муз и любим ими, тот в самом уединении не будет празден и всегда найдет для себя приятное дело. Он носит в себе источник удовольствия, творческую силу свою, которая делает его счастливым». Стихи Кайсаров писал не всегда, но в разные годы, как только для этого находилось время и подходящее душевное состояние. Два стихотворения вошли в сокровищницу русской литературы. Это уже названная сатира «Прости Саратову» и пародия на сентименталистов «Ответ Фекле на ея любовь», опубликованная в Большой серии «Библиотеки поэта». «Русская стихотворная пародия (XVIII – начало XIX в.)» (М.,1960).

При жизни Кайсарова его стихи современникам не были из-  
вестны, лишь в 1818 году одно стихотворение-романс «Моя надежда» (в рукописи – «Надежда») появилось в печати в «Трудах вольного общества любителей российской словесности» (часть IV). В примечании говорилось: «Романс сей не был ещё напечатан равно как и другие стихотворения сего почтенного любителя словесности. Алферьев положил оный на музыку ещё при жизни Кайсарова». Здесь же приложены ноты для пения, фортепиано, гитары. Что сказать об этом произведении? Во многом оно – дань романтическому направлению литературной моды тех лет. Но отдельные места отмечены несомненным талантом и глубокими чувствами автора. Например, проникновенная строка «Мой страстный дух во мне сгорал!» могла бы стать ключом к пониманию всей жизни Кайсарова. Строки «А мой челнок куда несется? Где будет пристань для него?» так похожи и непохожи на лермонтовский «Парус»! Близко к этому стихотворению, не по теме, а по настроению и духу, вольное переложение церковных песен.

Тайная и прочная сила духа заложена в обращении к некоему мифическому третейскому судье меж совестью человека и им самим. Все муки сомнений, смятение, страдания вкладывались в это обраще-  
ние. А. Фомин писал: «Как поэт, Кайсаров вообще исправно платил дань своему времени, но в некоторых своих лирических вещицах он был предтечей своих гениальных современников – Пушкина и Лермонтова». Кайсаров, с одной стороны, чувствовал непреодолимое влечение к писательскому труду, с другой же – понимал, что краткими набегами на литературные труды писателем не станешь. Поэтому он с необыкновенной самоиронией относился к собственным поэтическим опусам, называя их «стишонки», «безделки», «вздор».

Рукописный сборник «Саратовские безделки» начинается и оканчивается двустишиями с юмористической критикой собственных произведений. В начале он пишет:

*Иные говорят: Бог весть как он умен!*

*Другие думают: не спятил ли уж он?*

В конце –

*Как ни суди – все будет не строго!*

*Тетрадь не велика, а вздора в ней много!*

В творчестве Кайсарова нашла отражение поэзия конца ХVIII – начала XIX веков: лирические настроения сентиментализ-  
ма, романтизм Жуковского, местами слышатся отзвуки торжественной и одновременно сатирической лиры Державина, при этом всегда почти в них присутствует дидактика, чувствуется ум Кайсарова философа-моралиста, как, например, в стихотворении «На обрезанную косу душеньки».

Особенно же удавались Кайсарову юмор и сатира, вмещавшие старинный метафорический язык загадки, свежесть словесных сравнений, поиск их остроты, живой поток свободной устной речи. Всё, что было народного в натуре Кайсарова, всё – отдано сатире. Стихи-пародии, иронические мадригалы или краткие веселые «оды» друзьям метки, легки, остроумны. Таков, например, шуточ-  
ный мадригал, написанный для саратовского приятеля Николая Ионовича Демьянова – «ящика или монумента».

Ценны исторические изображения саратовцев начала прошло-  
го века, отличающиеся многими, весьма красочными бытовыми и психологическими подробностями в большом сатирическом стихотворении «Прости Саратову». Конечно, сатира была б интереснее, знай мы, кто оригиналы, с которых Кайсаров списывал свои портреты. Но и без этого мы получаем представление о массе обывателей провинции тех лет. Начало сатиры легко и полетно, ничто здесь не предвещает того грустного настроения, с которым Кайсаров покинет дорогие места.

Далее следует ряд карикатурных портретов «благородных» саратовцев (правда, среди них помещены и некарикатурные портреты дорогих Кайсарову людей, с которыми он тоже прощается).

К «Прости Саратову» примыкает и как бы является дополнением стихотворение «К Всемиле», в конце которого, среди портретов земляков, Кайсаров помещает и самого себя. Восприятие этого небольшого произведения осложняется тем, что сатирические образы земляков скрыты не за портретами-аллегориями, указывающими на истинную натуру того или иного человека, а – за настоящими карнавальными масками.

Кайсаров, живя в Саратове, попал на карнавал к хозяйке дома, которая ему нравится (условно – Всемиле). Сатирическая маска-аллегория обычно срастается с персонажем: лиса – хитрая, осел – глупец и т. д. В стихотворении Кайсарова накладная маска явно не скрывает натуры. Так – по маске – блестящий римлянин Цицерон на самом деле косноязычен, грубо реален: «уголовный суд кля-  
нет», Асмодей – верховное божество бездушных демонов – влюблен. Напротив, «Любовь вздыхает – о рублях!» Кайсарову, который без маски и смотрит как бы со стороны, видно истинное лицо людей, участвующих в маскараде.

Не только «исторические» пародии на провинциальное общество той поры, но и пародийно-стилевые стихотворения Кайсарова интересны в художественном плане. Музыкальны, задорны стихотворения «Рецепт от истерики», «На обрезанную косу душеньки», «Изъяснение любви приказного», «Ответ Фекле на ея любовь». В последнем пародийная стилизация сентиментализма в лексике и символике предваряет неожиданности сюжетного поворота. Кайсаров, пользуясь излюбленной «растительной» лексикой сентименталистов, обыгрывает общеизвестное выражение «одного поля ягода», доказывая влюбленной, что они разного вида «растения».

Эта легкая изящная пародия на сентиментализм и провинциа-  
лизм – одна из блестящих удач Кайсарова на поэтическом поприще.

Ясно, что саратовская жизнь не удовлетворяла Кайсарова. Что же тогда так задерживало его в Саратове? Болезнь? Но известно, что он выезжал в Москву, Рязань, Пензу, но опять и опять возвращался к саратовским злым языкам, к пышным и пустым губернским развлечениям, к скуке и глухой тишине отдаленной тогда провинции. Он возвращался, чтоб отдохнуть, свести мир в свою душу. Наконец, почему Андрей Сергеевич «записал» стихи именно в Саратове? Ведь раньше за ним грешок стихотворства водился крайне редко. В лучшем случае он мог стихами поздравить именинника. Но что это за стихи, которые на второй день уже забыты?! И не стихи, а так, безделица!

Намек на сердечную привязанность, удерживавшую Кайсарова в Саратове, мы находим в письмах Александра Тургенева и стихах из тетради «Саратовские безделки». В ноябре 1909 Тургенев пишет брату Николаю в Гёттинген: «Андрей Кайсаров в деревне по сю пору и влюблен; боюсь, чтоб не женился». То же сообщает он и в начале 1810 (12 января): «Андрей Сергеевич все ещё в Саратовских деревнях. Влюблен в кого-то и вряд ли не женится». А в письме от 16 февраля пишет: «Он влюблен в Саратове и хочет жениться на довольно богатой».

Да, это была любовь. В 1809 году Кайсарову 27. Им владело мучительное желание найти истинную любовь, которая доставляет безмятежное счастье, лишенное сожалений и горьких мыслей. Он не боялся для достижения этого пройти через душевные муки, ко-  
торые доставляют друг другу мужчина и женщина совершенно невольно; даже муки в таком случае – могучее и сладостное счастье. Он хотел счастья. В этом мире только счастливые не испытывают одиночества. К нему же в последние годы одиночество подступало все ближе и чаще, принося уныние и нездоровье. Это была не первая любовь Кайсарова, но, по-видимому, самая сильная и доставившая ему немало страданий. Имя любимой нигде не называется, согласно литературному этикету ХVIII века, оно зашифровано в инициалах «А. Н.» или спрятано за литературными, условными женскими именами. Чаще всего в 1809 – 1810 годах Кайсаров воспевает какую-то Всемилу. Ее имя найдем в стихах «Старинная песнь для новомодного альбома» (отсюда мы узнаем, что день рождения ее 22 сентября), «Прости А. Н. от Андр. С. К.», «Прости Саратову», «Надежда», «Песня на голос: «Нащож мене моя маты…», «К Всемиле».

Этой же даме (хотя «Всемила» здесь не произносится) посвящены стихи: «Экспромт А. Н., жаловавшейся на злоречие саратовской публики», «Стихи по случаю лихорадки А. Н.», «Рецепт от истерики» (из последнего узнаем, что интересующая Кайсарова дама – молодая, красивая вдова с множеством поклонников, отвергаемых, так же, как он; а сам герой стихотворения – «пригож собой, умен – и знает как любить». Называя свою любезную «кроткой», и приписывая ей все достоинства, Андрей Сергеевич, без сомнения, слишком идеализирует жестокую к нему красавицу, льстя ее самолюбию, благородно выставляет лишь выгодные стороны ее характера и внешности. Нельзя сказать, чтоб Кайсаров не умел видеть всей полноты правды, просто в душе его всегда находилось место для святынь, на которые он не хотел бросать тени. Такова правда его характера! Проникновенные строки стихотворения «Надежда» повествуют о том, как развивалось чувство.

Аллегории и метафоры вполне в духе того времени. Но аллегории аллегориями, а мы-то знаем, что искренность Кайсарова столь сильна, что она прорывается сквозь частокол любых метафор. Так оно и было. Он строил замки воздушные, мечтал, красавица шутила и смеялась, и он остался на развалинах, хотя надежда тогда ещё плыла вдалеке. В «Прости А. Н. от Андр. С. К.» Кайсаров от надежды переходит к разлуке (если говорить, минуя детали, лишь о вехах сердечной жизни). «Надежда» написана в сентябре 1809, второе стихотворение – в январе 1810.

Кто же эта загадочная А. Н.? Мы уже знаем о ней немало и – мало. Знаем, что она молодая вдова, хороша собой, у нее русые во-  
лосы, нежный взгляд, добрая душа и… непреклонность перед чарами нашего героя. Она мучает его своими слезами, страхами сплетен и толков («злоречия саратовской публики»), Божьего суда и так далее; привязанностью к памяти бывшего супруга, истериками, болезнями, которые все Кайсаров готов взять на себя за один благосклонный взгляд. Это немало для того, чтоб понять, в какой атмосфере чувств жил Андрей Сергеевич в 1809 – 1810 годах. Но мало, чтоб найти полное имя героини, ведь женщины в прошлые века редко упоминались в документах. Совершенно нестандартную деталь биографии преподносит стихотворение «Прости Саратову». Там Андрей Сергеевич, прощаясь со Всемилой, затем прощается с детьми.

Отсюда мы узнаём, что у молодой вдовы двое маленьких детей – Николенька и Алешенька. Это – уже, как говорят, состав семьи. Если учесть, что «А. Н.» – не имя и фамилия, а имя и отчество: точно так зашифровывали Соковниных братья Тургеневы и Кайсаров в письмах – А. М. и К. М., Анна Михайловна и Катерина Михайловна, – то можно продолжить поиск. После долгих безуспешных попыток, наконец, появился и результат, имя загадочной «Всемилы» найдено там, где, кажется, нельзя было ожидать встретить женское имя, – в книге «Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 года» в главе XIX «Раздача медалей саратовским дворянам в память 1812 года», в том месте, где «представлялись к получению медалей и старшие в роде женского пола с их малолетними детьми» (стр. 96). Медали раздавались тем, кто своими средствами способствовал формированию полков и ополчения, покупке подъемных лошадей и подвод, обмундирования, вооружения, продовольствия для армии. Среди немногих упомянутых женщин встречается «вдова тит. сов. Авд. Никол. Фокина с сыновьями Николаем и Алексеем». Совпадение полное. Следовательно, имя той, которую любил Кайсаров, Авдотья Николаевна. Она относилась к лучшей части дворян, в трудную для Родины пору (если сами не могли взять в руки оружие) способствовавших победам русского оружия как могли. В данном порыве они с Кайсаровым вполне единодушны. Положительные качества героини помогают нам в большей степени понять огорчение Андрея Сергеевича, ни с чем уезжавшего из Саратова, и его проникновенное предчувствие безграничной разлуки.

*Час разлуки, как ты страшен!*

*Если должно покидать*

*Ту, которою дух страстен,*

*Кем одной привык дышать, –*

*Час разлуки, как ты страшен!*

*Если сердца половину*

*Оставляешь за собой…*

Словом, этот брак не состоялся, как и никакой другой. Одно можно сказать с полной определенностью, судя по публикации в вышеупомянутой книге списков награжденных дворян за 1814 год, Авдотья Николаевна Фокина до смерти Кайсарова (а может и после) не вышла замуж, предпочтя ему кого-либо другого.

Однако, тогда уже он расставался с любимой женщиной с тяжелым предчувствием, что больше уже ничего не будет такого. Свойственное всем людям заблуждение, когда их захлестывает волна, забывать о вечном движении, которое вновь вынесет на гребень, – овладело им безраздельно. Конечно, то, что было, не повторится, но он был молод и возможности встречи со своим счастьем оставались безграничными. Однако, душевных сил на новую страсть он уже не находил. В письме к Сергею Тургеневу (в июле 1811) Кайсаров писал: «Смотри, милый, Бога ради не влюбляйся! Особливо не влюбляйся без надежды быть счастливым: иначе ты навек пропал. Это я тебе… из собственного опыта. Мои дела нимало не поправились, но стоят на той же степени, на которой и при тебе были. Я часто очень получаю известия; но они служат только к моему беспокойствию». Больше об этом упоминаний не встречалось. Да и в самом Саратове грубая весомость материальных забот отвлекала от переживаний и возвращала в реальность: хлопоты о месте дальнейшей службы, лечение своей извечной спутницы – лихорадки, стремление уладить семейные конфликты и вырвать у матушки благословение на жизнь вдали от родных и новую службу.

Александр и Сергей Тургеневы писали ему о различных новостях. Александр хвастался успехами службы (Сперанский «меня очень употребляет» в части юридической и коммерческой); сообщал о смерти Катерины Михайловны Соковниной, которая болела водянкой и умерла «в четверг на страстной неделе» 8 апреля 1809. Всю оставшуюся жизнь она посвятила памяти Андрея Тургенева. «Редкая, единственная женщина! – сокрушался впечатлительный Александр Тургенев. – Наш круг становится мало-помалу реже». О Кайсарове он записал в дневнике: «Андрей Сергеевич совсем не знает России, и ему трудно будет учиться настоящей статистике России, которой нет ни в иностранных, ни в русских книгах». Он давал справедливую оценку другу, подчеркивая еще, что Андрей Сергеевич книжник, теоретик, и когда сталкивается с жизненной реальностью, то она на него производит грубое впечатление. Но Кайсарову была чужда интеллектуальная гордость, требовавшая абстрактного совершенствования и презрения к действию. Где он мог, он познавал жизнь. Познавал он ее и в Саратове, и в «саратовских деревнях». Он наблюдал характеры, обычаи, собирал пословицы, которые щедро давала колоритная саратовская глубинка. В Саратове задуман автобиографический роман «Sonn der Natur[[17]](#footnote-17) с пламенным, добрым сердцем, страстным к свободе», замысел которого не осуществился. 4 мая 1810 года Александр Тургенев записал о Кайсарове в дневнике: «Он и Михайла Сергеевич в неприятном положении, а все по милости кривого (*брата Петра*. – изд.) и матери, которую не могу не осудить за ее пристрастие и за гонение на Михайлу, все за женитьбу и по наущению со стороны Петра». Что могло препятствовать браку Михаила с Козловской, мало понятно, так как по службе Михаил Сергеевич в это время шел в гору. Летом 1810 он «получил [орден] Анны 2-й степени за карантинный устав, при составлении которого употреблен был». Невеста была из хорошей семьи, но, может, она не нравилась Наталье Васильевне? Андрей, вероятно, держался на стороне брата Михаила и против непомерного матриархата, за что и получал материнские выговоры. Да ещё до Натальи Васильевны доходили слухи, что Андрей и сам подумывал о женитьбе, тем более – на вдове с двумя детьми. У матушки были причины гневаться: сыновья жили, как им хотелось.

Месяцем позже Андрей Сергеевич был уже в Барановке, лежал в лихорадке, попеременно думая о своей негладкой судьбе, о брате, матушке, друзьях. В последнее время он очень сдружился с юным Сергеем Тургеневым, принимал в его судьбе живое участие, добро-  
вольно беря на себя роль отца-наставника, или; по крайней мере, роль старшего брата. Сохранилось единственное датированное и с указанием места письмо Кайсарова этого периода к Сергею. «Здравствуй, мой милый Сереженька!.. Лихорадка моя оставила меня всего на две недели, а теперь опять возвратилась. Наконец, друг, скучно искать ей оборон всякий год – раза по два по три, – но что делать? В жару иногда протягивал к тебе руку в мысли, что ты сидишь подле меня, но не тут-то было. Ты, бывало, ласкою своею облегчал болезнь мою, а теперь я совершенно один в степях саратовских. Кажется, что и всю жизнь осужден я прожить один, далеко от всего, что мне дорого и любимо. Эта одна мысль часто убивает меня… Хочется писать к тебе, но рука и голова слабы… Ты получил от Бога все способы для того, чтоб совершенным сделаться, приятным человеком… Только, любезный мой, поменьше самолюбия и вспыльчивости. Я говорю о вспыльчивости и горячности, ибо с самого ребячества бранили и нас… Я говорю тебе напрямки, потому что люблю тебя, как очень немногих… Твой преданнейший А. К…

Июня 8. 1810. Барановка».

А в это время (9 июня) Александр Тургенев писал письмо о Кайсарове: «я надеюсь, что он будет определен профессором российской словесности в Дерптский университет и прямо ординарным с 2500 р. Это место доставит ему непосредственно и чин надворного советника. Я говорил уже с Клингером (*ректор Дерптского университета* – А. Б.), и он очень рад иметь его… Дело может сладиться очень легко, но я боюсь, чтобы Наталья Васильевна не сделала затруднений. Она имеет свои предрассудки и мучит Андрея и Михайлу за кривого Петра. Я бы ничего больше не желал Андрею Сергеевичу, ибо это избавит его от хлопот по гражданской службе».

Таким образом, Андрей Сергеевич последнее лето отдыхал беззаботно. В это время он обдумывал балладу «Рослав», где героем должен быть он сам – одинокий странник, забредший в заволжские степи; он сам, много путешествовавший и много повидавший, – переживший смерть друга и непонимание любимой женщины.

Что остается делать такому герою в этой жизни? Как переменить судьбу? Но по классическим законам романтических баллад, герой и не должен стремиться к переменам; смерть – тот приют, который единственно желанен для усталого сердца. Так часто кончаются баллады. Хотя в жизни в общем-то все иначе. Пережив катарсис своих страданий и свою лихорадку, Кайсаров, с приехавшим к нему в гости Борисом Тургеневым, пустился в окрестные путешествия вокруг Барановки, по Медведице, Волге, заволжским степям. Они побывали в серных источниках в калмыцких степях, ездили с рыбаками на Волгу за стерлядкой, смотрели на сбор урожая и на крестьянские праздники. Но вот и рыбалка, и лето, и пребывание у берегов Волги и Медведицы кончились. Назначен был день отъезда в Москву. Садясь в тройку, Кайсаров бросил провинции печальное последнее «прости!»:

*Быть может, нам не быть уж вместе никогда!*

*Жизнь только миг, цвет сельный человек,*

*Простите все, друзья! Ах, может, навсегда,*

*Пройдет лишь ветра дух – и скроется навек!*

*Никита! Но когда никто не воздохнет*

*И барина твово слезинкой не почтет?*

*Тогда… Но колокол у врат моих звенит –*

*Пусть тройка удалых от горя нас умчит!*

Прощальные приветы были теплыми, сердца оставались сдержанными. Уезжал человек умный и вольнодумный, непонятный, насмешливый, вселяющий беспокойство. Провинция, спокойно уверенная в своем превосходстве, без всякого сожаления провожала неотечески выученное дитя.



Глава четырнадцатая

Дерпт

И

з Саратова Кайсаров уезжал не на пустое место. Друзья подыскали ему подходящую службу, где бы он мог приложить свои молодые силы, знания и недюжинные способности. В 1810 году освободилось профессорское место в Дерптском (Юрьев, ныне город Тарту в Эстонии) университете, где работал первый русский профессор из дворян Г. А. Глинка. Но Глинка вел обучение на французском языке. В России в то время вообще было мало русских преподавателей, в основном, народ учили немцы и французы.

Дворяне считали зазорной научную и учительскую работу, латынь называли языком аптекарей. В Дерптском университете большинство профессорских должностей занимали иностранцы. Среди них находились и невежды, интриганы, выражавшие интересы местных остзейских баронов, которым кафедра университета служила лишь престижным поприщем и источником дохода; до России им не было никакого дела. Молодой русский ученый, страстно любивший отечество и родную словесность, обладавший европейской культурой и обширными знаниями, оказался «зеркалом», в котором они, против желания, видели свою кривую «фигуру». Но работали здесь и настоящие ученые, для которых Россия стала вторым отечеством и которые радели за преумножение ее славы. Они-то и решили судьбу Кайсарова. 25 августа Кайсаров был избран ординарным (т. е. с постоянным местом работы) профессором российской словесности с автоматически придающимся к этой должности чином надворного советника. Ему было 27 лет.

В один из дней ранней осени 1810 года Андрей Сергеевич сидел вместе с Мерзляковым и Воейковым в московском трактире на Никольской улице. Под звон бокалов с золотистой малагой они вспоминали свои «поддевические» собрания и пели громко песни юных лет, доставляя немалую радость скучающим зевакам, с любопытством обращающим на них взгляды. Тогда ещё в поэзию не прокрались отношения, и она радовала людей сама по себе. Мерзляков, несмотря на критический отзыв о нем Константина Батюшкова, рассказывал о приезде Батюшкова в Москву и показал новую песню этого поэта «Веселый час», которая пришлась друзьям по настроению, и они запели:

*Вы, други, вы опять со мною*

*Под тенью тополей густою,*

*С златыми чашами в руках,*

*С любовью, дружбой на устах!..*

*Отгоните призрак славы!*

*Для веселья и забавы*

*Сейте розы на пути;*

*Скажем юности: лети!*

На мгновение показалось, что вернулось их былое дружество, молодое веселье. Но это состояние уже заметно окрашивалось грустью потерь и постоянными заботами о серьезных делах. Друзья клятвенно обещали писать друг другу и при всякой возможности видеться.

15 октября 1810 года Александр Тургенев писал братьям Николаю и Сергею в Гёттинген: «Андрей Сергеевич избран уже в профессоры, и должен скоро туда отправиться». 10 января 1811: «Теперь здесь и Андрей Сергеевич и на сих днях вместе с Борисом, который живет со мною, отправляется в Дерпт профессором русской литературы». 28 февраля: «Андрей Сергеевич уже профессорствует в Дерпте».

Въезжая в Дерпт, Кайсаров вспомнил не раз читанные «Письма русского путешественника» Карамзина: «Когда открылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и веселилось. Мужчины и женщины ходили по городу обнявшись, и в окрестных рощах мелькали гуляющие четы». И Кайсарову Дерпт показался нарядным, уютным, чистым и спокойным. Что-то в нем было от уютных старых городков Германии. С Кайсаровым вместе в качестве студента приехал Борис Петрович Тургенев, двоюродный брат братьев Тургеневых (по отцу), воспитывавшийся вместе с ними в доме Ивана Петровича. С Борисом Кайсаров и поселился вместе, сняв скромную квартиру, какие обычно имели холостяки среднего достатка.

Борис не слыл человеком сколько-нибудь замечательным, хотя позже был знаком с А. С. Грибоедовым и многими декабристами. Андрей Сергеевич, сам вспыльчивый и эмоциональный, страдал от неуравновешенности своего товарища. Он писал Сергею Тургеневу: «Мы с Борисом поживаем! Бог знает, будет ли для него какая-нибудь польза. Я согласен с тобою, что он не имеет твердого характера, и это-то меня беспокоит… Но это недостаток всех почти наших соотечественников. Больше гораздо не нравится мне грубость в его нраве. Это происходит от того, что он думает этим заменить ту твердость, которой ему недостает».

Как это ни парадоксально, в Германии, на чужбине, Кайсаров тянулся к русским, к славянам, почти дома, в Дерпте он обрел себе друзей среди немцев. Добрыми товарищами стали ему кол-  
леги-профессоры Бурдах и Рамбах. Вот высказывание Бурдаха: «Истинного друга среди своих коллег приобрел я в одном рус-  
ском профессоре Кайсарове. Это был благородный человек, принадлежавший к той части русской молодежи, которая, воодушевленная любовью к отечеству, поставила себе целью вознести ввысь славянскую национальность в ее свободном самобытном развитии. Россия не должна больше рабски подражать… ни германским, ни романским народам, не должна украшать себя формами какой-либо из чуждых культур, но через себя самое, через свою самобытность приближаться к идеалу общечеловеческого просвещения». Из этого высказывания видно, что Бурдах хорошо понимал, с одной стороны, те идеи, которые Кайсаров высказывал в своих лекциях, а с другой, – был в курсе борьбы нового профессора с антирусски настроенными дерптскими профессорами. Александр Тургенев в письме к Жуковскому и Воейкову называл этих профессоров «волками», вероятно, следуя пословице: как волка ни корми, – он всё в лес смотрит. Позже он с гордостью писал: «Незабвенный Андрей, как верный сын России, сражался с ними беспрестанно, хотя и прения его обращались во вред здоровью».

Письма Александра Тургенева 1811 года к братьям в Гёттин-  
ген полны сообщений о Кайсарове. 3 мая: «Андрей Сергеевич профессорствует в Дерпте и летом обещал приехать сюда; страсть его, вероятно, проходит, ибо время все излечает…». 7 июня: «Андрей Сергеевич собирается летом приехать из Дерпта…». 7 июля: «Андрей Сергеевич здесь в отпуску», 8 июля (обращение к Николаю): «Между тем как Андрей Сергеевич укладывает тебе червонцы, я ещё раз хочу сказать тебе «прости». 17 июля: «Данилевский привез от тебя письмо к Андрею Сергеевичу, который теперь здесь, и твой силуэт (*портрет* – А. Б.), а мне не прислал его, что меня очень огорчило». И далее: «Сюда приехал Паисий Сергеевич с подробными известиями об одержанной над турками победе и получил Георгиевский крест…». 22 августа: «Андрей Сергеевич отправился назад в Дерпт. В письмах Жуковского к А. Тургеневу 1810 –1811 годов также часто упоминается имя Кайсарова: «Я нынче больше чувствую цену твоей и некоторых других людей дружбы. Желал бы, чтобы мы с Андреем Сергеевичем были в теснейшей связи». И в другом письме: «Что Андрей Сергеевич? Я видел последнего в проезде его через Москву; добрый малый, все тот же; надобно, чтоб он навсегда остался нашим. Скажи ему это, когда будешь писать. Я обнимаю его от всего сердца…».

Дерптский университет был не совсем обычным, и об этом следует сказать. Он открылся (во второй раз) в 1802, в начале энергичной деятельности Александра I и должен был стать одним из оплотов просвещения в России. Притом, что это российский университет и подчинялся российскому Сенату, находился он в Восточной Прибалтике, в Лифляндии, как тогда называли. В этом университете, чтоб подчеркнуть его автономию и оградить от влияния местных прибалтийских баронов, был свой суд для служащих, преподавателей и студентов. Наличие суда освобождало их от притеснений местных органов. То есть университет здесь в какой-то мере представлял культурное и ученое государство. Четыре факультета охватывали почти все известные тогда науки; на богословском факультете готовили даже пасторов лютеранского вероисповедания. При университете существовали общий учительский или педагогический институт, больница и клиника, астрономическая обсерватория, обширные сад и парк, библиотека на разных языках. Существенную часть фонда составляли книжные дары. Среди наиболее значительных упоминается и дар профессора А. С. Кайсарова.

Преподавание велось на немецком. Четыре пятых студентов в те годы составляли немцы и евреи. Остальную одну пятую составляли выходцы из губерний России и Прибалтики. Большинство студентов происходили из материально обеспеченных семей. Не отягощенные заботами, любители вольной студенческой жизни порой совершали проступки, доставлявшие руководству неприятности. Частыми были попойки и драки, доходившие до столкновений с горожанами и гарнизонными войсками; игра в карты и дуэли (в период работы Кайсарова в университете студенты ещё обладали правом носить шпагу). Слушание лекций понималось как личное дело каждого. Неудивительно поэтому, что иные учились по десять и более лет.

Кайсаров стал **первым в России профессором из дворян, который вел преподавание на русском языке** и учил своих студентов отечественной словесности. Он читал необычный курс: «Древняя русская история в памятниках языка». А поскольку никаких учебников по этому курсу не существовало, штудировал со студентами сами древнерусские летописи, коих немалое собрание уже было в его личной библиотеке. Он, безусловно, хотел расширить круг своих единомышленников, привлечь студентов к деятельности на ниве русской культуры. «Подадим друг другу руки, составим священную цепь, пойдем к алтарю отечества и поклянемся быть верными его сынами, – с театральным темпераментом, испытанным на пансионских подмостках и в Собраниях Дружеского литературного общества, – произносил Кайсаров теперь уже с университетской кафедры любимые призывы своей юности. – Распространим каждый в кругу своем любовь и уважение к языку русскому». – Молодой профессор открыто боролся против засилия немецкого (в Прибалтике) и французского (в России) языков, называя средневековые рыцарские ордены захватчиками земель славян. ещё в Гёттингене он работал над статьей, которая сохранилась в черновиках и дошла до нас, – «О жилищах славян во время германцев»; в ней он пытался прояснить историю древнейших славянских поселений в Европе. Кайсаров сердито иронизировал над историками, вряд ли отличавшими славян от других народов Европы (если это были только не римляне, греки, немцы), которым судьба этого народа была безразлична, жаждал восстановления справедливости, устранения белых пятен в исторической науке; доказательства того, что пращуры славян были среди первых коренных народов Европы. Он пытался восстановить координаты исконных расселений древних славян в Европе, подчеркивая, что земли, на которые славяне имели исторические права, были позже поделены меж собой колонизаторами: Рима, затем Германии, Турции.

Он обращал внимание на примеры гражданских доблестей Древней Руси: «… Приятно видеть успехи всего человеческого семейства, но сколь приятнее, сколь отраднее знать историю своих собственных успехов!»; «Многим добродетелям древних должны мы отдать справедливость, но простительно ли забывать добродетели своих праотцов?..» Все эти мысли Кайсаров высказывал во вступительной речи к циклу лекций по курсу русской истории в источниках. Он хотел, чтоб вследствие его лекций произошло «отчуждение от несправедливого и неблагополучного презрения ко всему русскому».

Кайсаров рассматривал свое преподавание в университете как высокое общественное призвание и гражданский долг.

В Дерпте Кайсаров написал великолепно продуманный «Примерный устав нового предполагаемого общества переводчиков», где высказал мечту об основании «так называемой республики ученых», мечтал создать «собратство всех писателей, занимающихся умственными предметами», не только славянское, а позволяющее установить «некоторую нравственную связь между учеными всех европейских стран, конечно же, это не было отступлением от мысли, что каждый славянин, в первую очередь, должен овладеть собственной историей и культурой. Но народы могут «обменяться» переводами лучших национальных сочинений, созданных «неусыпными трудами многочисленных писателей». Переводные шедевры должны дополнить, а не подменить культуру России. Кайсаров писал: «Во Франции каждый француз может одним французским языком образовать себя совершенно. А у нас посредством одного русского языка почти никакого образования получить не можно. У нас нет словесности от того, что нет отечественного воспитания, а воспитания нет от того, что мы все более или менее подвержены влиянию чужестранной словесности». Ратуя за национально-самобытную культуру, Андрей Сергеевич, выступал и за широкое издание в России европейской литературы. Избежав цензуры, менее тяжелой для переводных книг, можно было быстро дать возможность русскому читателю ознакомиться с передовыми философскими сочинениями и политическими идеями эпохи, познать вершины художественного творчества.

«Примерный устав для нового предполагаемого общества переводчиков» попал в печать лишь через сорок пять лет после его создания. Первая и единственная его публикация прошла в сборнике «Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете» (М., 1858, кн. 3). В то же время некто В. Ламанский высказал те же идеи в статье «О распространении знаний в России» (Спб., 1857), то есть идеи Кайсарова не потеряли своей актуальности и через 45 лет. А ещё в конце 1822 года П. А. Вяземский хотел организовать общество переводчиков, для чего интересовался названным трудом Кайсарова, один из списков которого хранился в архиве братьев Тургеневых, а точнее, у Николая Ивановича. Он писал: «Есть, ли ещё у Николая Ивановича некий проект общества переводчиков? Нельзя ли его как-нибудь мне прислать? У меня так же бродят в голове мысли об этом».

В Дерпте, в деятельном труде на благо отечества, Андрей Сергеевич нашел, наконец, то, что он тщетно искал в любви и попытках создания семьи, – счастье. Он обрел спокойствие духа в философских размышлениях, написании оригинальных трудов по славянской филологии. В 1811–1812 годах он работал над «Словарем русских старинных слов»; исследователи называют его словарем древнерусского языка. Это *первая* попытка создания словаря древнерусского языка. К сожалению, работа была лишь начата. Рукопись дошла до нас. Она представляет собой большую тетрадь, каждая страница которой посвящена словам с одной буквы (как и принято в словарях), к большинству из них были пояснения; а иногда иллюстрации цитатами из летописей и других древних памятников. Кайсаров успел записать 465 древнерусских слов. Андрей Сергеевич ещё в саратовских краях прислушивался к старым словам, расспрашивая стариков, что значит то или иное из них. Поездки по разными губерниям России (Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Московской, Смоленской, Петербургской, Новгородской и др.) помогали в работе над словарем. А больше всего Кайсаров, как истинный книжник и человек с научным мышлением, выбирал из летописей и древних сочинений, которые он использовал и для работы со своими студентами.

Занимаясь со студентами, Кайсаров в то же время пристально следил за событиями в Европе. Обстановка в Молдавской армии, которая в то время воевала с турками, отстаивая юго-западные границы России и одновременно защищая дорогих сердцу Кайса-  
рова сербов от турецкого ига, была ему известна не хуже, чем самому Кутузову, так как адъютант и любимец Кутузова Паисий Сергеевич Кайсаров подробно информировал брата обо всех значительных событиях. Летом, осенью 1811 и весной 1812 годов Паисий Сергеевич бывал в Петербурге и Дерпте, где встречался с братом. В то время русские войска одержали крупную победу. Паисий Сергеевич был награжден Георгиевским крестом – наградой боевого офицера. Его храбрость была лично известна царю.

Необходимо напомнить политические события первого десятилетия XIX века и связанную с ними судьбу М. И. Кутузова (с которой с 1805, с Аустерлицкого сражения и прочих до самой смерти Кутузова была связана судьба родного брата Андрея Сергеевича – Паисия, а также – в последний год жизни Кутузова, – и судьба самого Андрея Кайсарова). В 1804 году, когда Кайсаров и Тургенев путешествовали по славянским землям, Россия вошла в коалицию государств, боровшихся с агрессией Наполеона. В связи с этим она была втянута в ряд европейских кровопролитных войн ещё до начала 1812 года. Это войны: России и Австрии с Наполеоном (1805); России и Пруссии с Наполеоном (1806–1807); России со Швецией (1808–1809); и, наконец, русско-турецкая 1806–1812. Последнюю довел до победного конца командующий Молдавской армией М. И. Кутузов. Хотя Кутузов – ученик П. А. Румянцева и А. В. Суворова, участвовавший ранее в боях под Очаковом, во взятии Измаила, разгромивший 23-тысячное турецкое войско при Баба-Даге, во многих сражениях показавший себя искусным мастером активной и маневренной тактики, удачливый дипломат, отличный воспитатель солдат и офицеров, в 1802 году попал в опалу, уволен из армии, более трех лет жил в своем поместье, – русское правительство было вынуждено все же вновь обратиться к его опыту и назначило главнокомандующим одной из армий, посланных за границу. К началу 1811 года война с Турцией затянулась и зашла в тупик, а внешнеполитическая обстановка требовала активных и эффективных действий: Россия нуждалась в прочной безопасности юго-западных границ.

Паисий Сергеевич рассказывал о поразившем всех неожиданностью маневре Кутузова на юге 22 июня (4 июля) и в последующие дни 1811 года в Рушукском сражении. Это была не только блистательная, но и, если так можно выразиться, остроумно задуманная победа русских, принесшая славу не только их оружию, но и дипломатии, и благородству воинов по отношению к врагам. Но… как часто бывает, победа совершенно неоцененная. По словам Паисия Сергеевича, события разворачивались так.

Ко времени приезда Кутузова в армию (вместе с Паисием) в апреле 1811 турки так осмелели, что, собрав огромную армию у крепости Шумлы, перешли в решительное наступление, намереваясь вернуть все крепости и земли, отвоеванные перед этим Россией. Огромное турецкое войско, как застоявшийся табун, рвалось в наступление, чувствуя неблагополучие в стане русских. К этому времени русские войска были в большом затруднении. Из девяти дивизий пять Александр I отозвал для переброски на запад в помощь союзникам. Кутузову оставили 46 тысяч солдат, размещение которых растянулось по фронту, проходившему по Дунаю на тысячу километров. Узнав о том, что русская армия, с которой турки воевали пять лет, уменьшена вдвое, султан не хотел слышать ни о каком мире; Наполеон поддерживал его намерения, выгодные французам.

Кутузов не мог идти на открытые штурм и осаду крепостей при таких условиях. Это значило бы сразу потерять армию. Оставалось одно: победить врага хитростью, хотя в военной терминологии есть более дипломатичный термин – «маневр». «Важно не крепость взять, а войну выиграть», – говорил Кутузов, и каждое его слово знала вся армия. Именно поэтому, может быть, на первых порах Кутузов скрывал свои планы даже от своих офицеров, что вызывало законные недоумения и обиды. Недоумениям было откуда взяться! Кутузов не только не брал крепостей, но и приказал очистить занятые уже укрепления Силистрии и Никополя; срыть их, чтоб не достались врагу. Потратив некоторое время на то, чтоб собрать растянутую кордоном армию, он сосредоточил основные силы у крепости Рущук – места удобного для сражения, если прикрыть фланги сильными орудиями. Но все знали, что правый фланг Кутузову прикрыть не удастся, ибо рядом, на Дунае, у крепости Виддина, стояли 400 турецких судов, которые могли быстро переправиться и высадить своих янычар прямо в тыл русским. Но Кутузов это предусмотрел. Он воспользовался раздорами турок, купил у виддинского паши весь его флот и угнал подальше от места предстоявшего сражения, – вверх и вниз по Дунаю.

Великий визирь турецкий, разгневанный на виддинского пашу, судами которого он действительно хотел воспользоваться, выступил в поход к Рущуку, где его уже поджидал терпеливый Кутузов, только и мечтавший выманить турок на равнину из укрепленной крепости, и знавший, что у турок сильным бывает только первый удар. Но и первый удар надо выдержать. В тот момент пятнадцатитысячная русская армия (остальные ещё рассевались по фронту) встретила напор шестидесяти тысяч турок. Первую атаку турок отразили сильным огнем артиллерии. Тогда визирь, атакуя правый фланг у Дуная и отвлекая тем самым туда основные силы русских, внезапно нанес удар на левом фланге, смятом стремительной кавалерией, которая быстро прорвалась в тыл русским, отрезая их от переправы на Дунае и возможного бегства. Но кто думал бежать?!

Со стороны Рущука турок встретила спрятанная до времени русская пехота и остановила их продвижение. Затем пехоте помогла кавалерия и каре егерей, перешедших в контратаку. Турецкая конница, потеряв половину состава, вынуждена была отойти. Все силы русских пошли в контрнаступление. Вскоре настал и момент разгрома турок в этом сражении. Визирь лихорадочно собирал остатки своих воинов и быстро окапывался поодаль от Рущука, ожидая со дня на день нового нападения. Но русские не только не воспользовались победой, не устроили погони, чтоб добить врага, но и… покинули Рущук, стоившую стольких жизней, взорвав самое крепость. Затем быстро переправились на правый берег Дуная. Узнав об этом, визирь долго не мог поверить, что не Кутузов победитель, а он, оказывается, победил Кутузова; столько нагнал страху на русских, что они бегут теперь за Дунай и не могут остановиться! Тут же было послано ликующее сообщение в Константинополь (и Наполеону), что Кутузов разбит. Султан и Наполеон были весьма довольны, визирь щедро награжден.

Но больше всех – мало кто подозревал тогда об этом! – был доволен Кутузов, хотя эту радость приходилось скрывать: непони-  
мание офицеров и царя следовало за ним повсюду. Офицерам-то он намекал, что надо-де ободрить Ахмет-бея и снова выманить из своего укрытия. Мудрый и неторопливый Кутузов умел не только использовать ошибки противника, но и «подсказывать» ему путь   
к будущим ошибкам. Ободренный «бездействием», «трусостью»   
Кутузова, подогреваемый тщеславием и надеждой на легкий успех, визирь, усилив свою армию до 70 000 человек, двинулся че-  
рез Дунай прямо в объятия русских укреплений. Переправив 50000 воинов, он оставил пока на левом берегу обоз, продовольствие, вооружение, знамена, охраняемые двадцатью тысячами турок, уверенный, что русским не до левого берега. Кутузов же давно с помощью хорошо замаскированных лазутчиков следил за всеми действиями визиря. Темной ночью по верхнему течению Дуная на левый берег переправились семь с половиной тысяч пехоты и казачьей кавалерии. За один день русские захватили неприятельский лагерь со всем провиантом, вооружением, взяв в плен около 20000 турок и потеряв при этом лишь 9 человек убитыми и 40 ранеными. Быстро установив орудия, русские ударили в тыл туркам, находившимся на правом берегу, по сути, в полном окружении, так как подошедшие вскоре русские суда с двух сторон закрыли путь для бегства даже по реке.

Лазутчики донесли Кутузову, что визирь намерен бежать из окружения. Схватить его опять ничего не стоило, но Кутузов не дал такого приказа. «Пусть бежит», – сказал он со спокойной улыбкой. Ибо знал, что по турецким законам, визирь, находящийся в окружении, не имел права вести переговоры. Стоило только ночью визирю «бежать» и к утру достигнуть «безопасного» места, как утром же к нему явился адъютант Кутузова Паисий Сергеевич Кайсаров с букетом цветов, поздравляя с благополучным спасением и предлагая вступить в переговоры о мире.

Узнав о поражении турок, Наполеон воскликнул: «Кто бы мог это предвидеть?!» В Константинополе не верили в окружение армии, думая, что она со дня на день прорвется. Но прорваться было нельзя, так как Кутузов рассчитал всё, сделав все возможности невозможными. В турецкой армии начался голод, эпидемии. Кутузов предложил туркам пока их армию «взять на сохранение», иначе она вся перемрет. Подкармливая эту окруженную армию (треть всех вообще турецких войск), Кутузов давал стимул визирю к заключению скорейшего мира, так как погибшую армию спасать незачем, а живые отборные солдаты султану нужны. Вслед за военным сражением, Кутузов, сохранивший своих (и турецких даже) солдат, вел не менее сложную и тонкую дипломатическую борьбу, отстаивая насущные интересы отечества. Тогда ещё никто не знал, что Кушукское сражение и победа Кутузова в Турецкой войне были генеральной репетицией Бородинского сражения, окружения наполеоновской армии в Москве и победы в Отечественной войне; тогда ещё никто не знал, ни того, что эта война будет, ни того, что Кутузову предстоит сыграть в ней решающую роль. Тогда мирные предложения Кутузова турки приняли и подписали выгодный для России Бухарестский мир. Секретарем мирного конгресса в Бухаресте и правителем дел канцелярии главнокомандующего русской армии был Паисий Кайсаров.

Какова же последовала благодарность Кутузову?! Александр Павлович был недоволен им, считая, что «взяв на сохранение» ту-  
рецкую армию, он унизил достоинство русского оружия, и вообще его «маневры» непонятны. Александр I, как и многие культурные полководцы, любил расставлять солдат в «честном» сражении друг против друга, пока они не уничтожат друг друга до тех пределов, когда ясно, кто победил. Кутузов же солдат берег. Александр (еще до подписания мира), встревоженный непонятными действиями чудаковатого старика, послал в армию своего флигель-адъютанта Чичагова, чтоб он заключил мир с турками и принял командование Молдавской армией, если надо. Кутузов, узнав об этом заблаговременно, – за несколько дней до приезда Чичагова лучшим образом подписал мир, затем принял отставку и уехал в свое поместье Горошки Волынской губернии, трогательно простившись с войсками и своим адъютантом.

В 1811 году, когда в России прошел слух об очередной мобилизации в армию и наборе рекрут и новых офицеров, Паисий Сергеевич Кайсаров составил записку царю, где высказывал соображения по поводу нравственных качеств мобилизованных (а не по призыву сердца шедших в армию) дворян. Отметив патриотизм всех сословий русских людей, Паисий Сергеевич осуждал дворян, «коих дети, пользуясь привилегиями, сопряженными с сим званием, передают из рода в род одно только закоренелое невежество и, не чувствуя надобности посвящать себя на пользу отечеству, проводят жизнь свою в тунеядстве и в вящем токмо отягощении крестьян, подпавших под иго их власти». Таким образом, можно заключить, что не только Паисий посвящал брата в свои дела, но и Андрей сумел привить Паисию неприязнь к не желавшим посвятить себя служению отечеству. Андрей Сергеевич же не преминул использовать полученную от брата информацию для публичного патриотического выступления с кафедры университета.

Вершиной обращенного к соотечественникам правдивого слова Кайсарова явилась «Речь о любви к отечеству на случай побед, одержанных русским воинством на правом берегу Дуная», произнесенная в стенах Дерптского университета 12 ноября 1811 года. Это было страстное, взволнованное выступление, первая из речей, прозвучавших под сводами университета на русском языке. Будучи тогда же напечатанной в университетской типографии за счет университета, она больше не переиздавалась. Кайсаров говорил: «Тщетно лживые мудрецы прошедшего века старались осмеять любовь к отечеству; тщетно желали они сделать весь род человеческий согражданами одного обширного семейства! Законы природы непеременимы; законы сердца существованию нашему совместны; они не в книгах, в сем хранилище заблуждений ума человеческого находятся, но в душах наших напечатлены. Как могли вообразить сии мудрствователи, что не быв истинным сыном отечества, возможно быть добрым гражданином мира? Как могли они себе представить, что не любя своих кровных, можно любить чуждых?.. Нравственные границы отечества существуют… Горе иноплеменникам, оскорбляющим наше отечество! Любовь к нему… переселяются в потомство, они вечны!.. Проклята да будет ненавистная мысль, что там отечество, где хорошо!.. Вне отечества нет жизни!»

Кайсаров на примерах из мировой истории доказывал, что чувство любви к Родине – одно из самых святых в душе любого человека и равно чувству любви к матери, давшей жизнь. Не случайно слова «родина» и «мать» часто ставятся рядом. Андрей Сергеевич страстно говорил о том, что отечество дарует человеку само «нравственное и естественное существование», что «чувство небесного дружества» – высшее, закаленное в веках испытаний, родство народа.

Как назвать главное связующее людей?! «Язык связует их… Язык, которым они внятно могут выражать друг другу чувствования сердца, изъяснять души тончайшие движения». И в этой речи не упустил случая Кайсаров воспеть русский язык и призвать к изучению его, так как он во многом предугадывал значение этого языка.

В речи назван человек, который все больше привлекал внима-  
ние современников, герой «с мечом в деснице» – Кутузов. Это он «виновник» победы русского воинства на Дунае. Таким образом, говоря о победе на Дунае, Кайсаров говорил и о современной политике, и о проблемах русской культуры, и о своем брате-герое, и о любимом народом полководце Кутузове, расположение к которому и доверие перенял от брата. В ноябре, когда произносилась «Речь о любви к отечеству», Кутузов ещё командовал Молдавской армией. Отстранен он был в мае 1812; в то время к западным границам уже подходила французская армия, почти два десятилетия бывшая грозой Европы. Армию, участвовавшую в заграничных походах против французов возглавлял Барклай де Толли. Многие русские, в том числе и братья Кайсаровы, были за то, чтоб Кутузов стал во главе русского воинства против самого сильного врага – Наполеона. Таким образом, для тех, кто понимал обстановку, прославления Кутузова и выражение, обращенное к нему: «Тебя сопровождают наши желания, наша благодарность!» вполне могли содержать намек на приглашение Кутузова в армию.

Андрей Кайсаров послал речь А. К. Разумовскому, который передал ее царю; затем, по каналам Министерства народного просвещения, уведомил попечителя округа, где служил Кайсаров, что «его Величество, выслушав с удовольствием речь сию, повелеть соизволил объявить Кайсарову высочайшее благоволение».

Речь Кайсарова сохранила свою актуальность и во время войны 1812 года и зарубежных походов. Не случайно в 1813 она была перепечатана самым прогрессивным тогда журналом (в нем позже работал Воейков и печатался Куницын) «Сын отечества». В оптимистической речи Кайсарова предугадывалась не только тревога за отечество, которому суждены многие испытания и потери, но и победа. Накануне двенадцатого года речь эта пробуждала и обостряла патриотическое сознание россиян.



Глава пятнадцатая

Лихая година

З

апах пороха все явственней доносился с полей Европы. 10 мая Федор Глинка записал в своем дневнике мысли, которые тогда были близки каждому русскому: «Наполеон, разгромив большую часть Европы, стоит, как туча, и хмурится над Неманом. Он подобен бурной реке, надменной тысячью поглощенных источников; грудь русская есть плотина, удерживающая стремление… Ужели бедствия нашествий повторятся в наши дни?.. Ужели покорение?.. Нет! Русские не выдадут земли своей!»

От брата Паисия Андрей Сергеевич знал о положении дел в армии. Когда стало очевидно, куда двигаются французские войска, и это вторжение в Россию неизбежно, Кайсаров вместе со своим другом Федором Рамбахом (1767–1826), немецким профессором, ни слова не говорившим по-русски, через друзей и братьев обратился к царю с предложением («докладом»): организовать небывалое дотоле в России дело – **походную типографию при русских армиях**. Прошение, составленное за две-три недели до начала войны, дошло к царю и 5 июня и переадресовано Барклаю де Толли для исполнения.

Всем было ясно, что Наполеон шествовал победно не только посредством оружия. Он, как наиболее современный полководец, учитывал разносторонние изменения действительности и психологии людей; он подчинял военно-стратегическим целям все доступные ему средства воздействия на общественное мнение. Подвластная ему периодическая печать возвеличивала успехи армии, искажала события в неприятельском лагере, о многом важном умалчивала. Дезинформация вела к преувеличению злобности и коварства врага, к нагнетанию вражды. С этим нужно было бороться, в том числе и посредством печати.

Авторы проекта близко подходили к пониманию народного характера войны. Тот, кто управляет мнением народа, остается победителем, считали они. «Часто один печатный листок со стороны неприятеля наносит больше вреда, нежели сколько блистательная победа может принести нам пользы. Часто он действует больше, нежели несколько полков». Профессоры советовали русскому командованию развернуть борьбу с пропагандистской деятельностью Наполеона. Они планировали выпускать три «ведомости» (т. е. информационных органа) – на русском, польском и немецком языках, засылать их, в том числе, и в стан противника и на оккупированные территории, а часть распространять среди местного населения и своих солдат. Профессоры писали в проекте: «Русским воинам не нужно самодовольство, но весьма было бы полезно, если б славные их дела не оставались неизвестными, как в их отечестве, так и вне оного. Великодушный подвиг какого-нибудь храброго, обнародованный тотчас во всей армии, побудил бы тысячи к подражанию… Победа, одержанная над неприятелем и представленная в приличном виде, не преминула бы возбудить жителей той земли, в которой происходит война, к соединению с победителями». Кайсаров и Рамбах, по сути, предвидели и заранее планировали (при условии активной агитационной деятельности походной типографии) массовый переход солдат многонациональной наполеоновской армии, состоящей из разных народов Европы, на сторону русских, как потом и вышло. Для редактирования русских и немецких текстов Кайсаров и Рамбах считали годными себя, а для польского издания предлагали командующему самому избрать кандидатуру. Походной типографии предлагалось придать отряд казаков «для получения известий и для развоза ведомостей». Известно, что информационные листки развозились отрядами партизан А. Н. Сеславина, А. П. Ожаровского, Д. В. Давыдова. «Не оставьте прилагаемые при сем экземпляры доставить в неприятельскую армию», – писал Кутузов Сеславину и Ожаровскому. Врываясь в неприятельские станы, быстрые партизанские отряды разбрасывали воззвания почти перед носом врага и успевали исчезнуть раньше, чем начиналась тревога. Безусловно, предусмотрев создание типографии при русской армии, Кайсаров и Рамбах проявили высокую гражданскую ответственность и политическую прозорливость.

Получив проект, царь думал о предложении Кайсарова и Рамбаха очень серьезно. Желая пополнить «ведомости» их «французским» вариантом, он подбирал людей. С французским языком проблем тогда в России не существовало. А вот польский?.. В свите царя в это время находился необычный человек, видный деятель освободительно-патриотического движения в Польше и одаренный композитор Михаил Огиньский (ему принадлежит создание национального гимна Польши). Он жил долгие годы в изгнании и надеялся, что с воцарением Александра I Польша обретет, наконец, независимость. Александр I хотел привлечь авторитетного человека к агитационной работе и использовать его обширные связи для распространения летучих изданий. В своих мемуарах Огиньский писал, что 12 июня 1812 года у него состоялся разговор с Александром I. Царь «находил необходимым иметь кого-то, кто взял бы на себя редактирование газеты, которую будут печатать в Главной квартире и цель которой состояла в разрушении того впечатления, что производят в стране распространяемые эмиссарами Наполеона лживые известия…»

6 июня 1812 года, за шесть дней до вторжения врага, рано утром из Вильны, где тогда стоял царь со своей свитой, в Дерпт выехал фельдъегерь. В запечатанный конверт было вложено письмо Барклая де Толли на имя правления Дерптского университета с приказанием как можно быстрее снарядить и отправить профессоров в армию, «чтоб вместе с собою взяли два стана для русской и немецкой печати, а также пригласили бы с собою двух переводчиков, четырех наборщиков и четырех печатников». Все необходимо было соблюдать в тайне. Они реквизировали и купили в типографиях Лифляндии наборные кассы со шрифтами, типографские прессы. Взяли в библиотеке книги по истории Германии, Польши, Франции. Русских исторических книг у Кайсарова было немало и дома, он кое-что отобрал с собой.

Когда Кайсаров и Рамбах прибыли в Ригу, узнали, что Наполеон перешел Неман и вторгся в Россию. Решили немедленно продолжить путь, чтоб со своим хозяйством догнать армию раньше французов, но… неожиданно были задержаны и препровождены к военному губернатору И. Эссену. Разумеется, Кайсаров и Рамбах категорически отказались назвать цель своего маршрута, хотя сам маршрут был очевиден. Эссен сообщил Барклаю де Толли, что задержал профессоров, ибо счел «таковое отправление при настоящих обстоятельствах излишним». Недоразумение разрешилось через несколько суток. Пока оставалось докупать необходимое оборудование, нанимать в типографиях рабочих. Между тем глубокую тревогу в их сердца вселяло активное продвижение наполеоновской армии, заставившей русских сразу же отступать. Из Риги они отослали Барклаю де Толли полное горечи письмо: «Тягостно и огорчительно… что мы до сих пор не употреблены Вашим высокопревосходительством в дело. Надежда, что мы именно в сие время могли бы быть полезными, утешала нас, но теперешняя обстановка не может не подавлять нашего духа». Барклай де Толли получил это письмо 24 июня, и тут же поручил Эссену отправить без промедления дерптских профессоров в Главную квартиру.

Найдя армию у Дриссы (в промежутке от 26 июня до 4 июля), Кайсаров и Рамбах начали здесь выпускать первую агитационную литературу. Впрочем, опоздав к началу войны со своей типографской деятельностью, они несколько опоздали и с выпуском первого печатного своего труда. Уже ходила по рукам листовка, изданная пока в столице и написанная Штейном, прусским государственным деятелем, немецким патриотом, мечтавшим об освобождении Германии и потому пришедшим по приглашению Александра I на службу в Россию и собиравшим немецкий легион из тех немцев, что покидали армию Наполеона. С этой целью Штейн выпустил листовку-воззвание.

Прибытие Кайсарова в армию совершенно случайно совпало с отбытием из нее Александра I. В отсутствие царя вся полнота власти – гражданской и военной – на театре военных действий принадлежала главнокомандующему. Хотя Александр I не назначил Барклая де Толли главнокомандующим, но он оставался военным министром и командующим самой крупной из трех армий. Кайсарову приходилось трудно. Армия постоянно находилась в боях и на марше, отступление не прекращалось. Остановки оказывались весьма кратки и неожиданно прерывались. Приходилось ловить моменты затиший меж боями, работать по ночам. Несмотря на все трудности, Кайсаров был доволен. Наконец-то у него свое печатное дело! Он так мечтал об этом ещё с Андреем и Александром Тургеневыми. Наконец-то осуществилась его мечта иметь свое издание! И когда? – Когда Россия больше всего нуждалась в этом! Кто из литераторов, мечтавших послужить отечеству, не завидовал в двенадцатом году директору походной типографии русской армии, хотя, может быть, и немногие знали его имя?!

Наполеоновской армии, превышавшей русскую почти втрое, вначале многое удавалось. Но сопротивление оказывалось с неви-  
данным упорством. «Царь, войско и народ действовали нераздельною мыслию, душою и мышцею», – писал Сергей Глинка. Из Белоруссии, Литвы шли слухи о восстании крестьян, неповинующихся захватчикам, стремящихся не упустить любой случай нанести вред французам. «Запылал, закипел дух самоотречения. И самоотречение повело полки русские», – несколько выспренно говорил об этих днях С. Глинка. И не без гордости добавлял: «В наш двенадцатый год мы любили и влюблены были в отечество». И снова слово «отечество» у всех на устах.

Пропаганда русского военного штаба имела оперативный смысл. Военная агитационная литература была тесно увязана с политико-стратегическими планами, зачастую конспиративными. Армейскую публицистику постигла участь несправедливо забытых и частично утерянных памятников. Работа армейской типографии – одна из наименее изученных страниц Отечественной войны 1812 года, потому что, с одной стороны, деятельность ее была засекречена, а печатная продукция выпускалась или анонимно, или за подписью главнокомандующего, что тоже представляло лишь вариант анонимного письма. С другой стороны, листовки, подброшенные во дворы, церкви, на сельские сходы, расклеенные на стенах домов, терялись, пропадали, затаптывались в грязь, горели в пожарах, после прочтения шли на раскурку цигарок. Но некоторые документы всё же до нас дошли. Уже 29 июня походная типография выпустила воззвание русского командования к французским солдатам с призывом прекратить военные действия: «Вас заставляют идти на новую войну, вас убеждают в этом под предлогом того, что русские не воздадут должное вашему мужеству: нет, товарищи, они ценят его, вы убедитесь в этом в день битвы. Подумайте, что армия, если это понадобится, сможет настичь вас, и что при этом вы находитесь в 400 лье от ваших подкреплений… Возвращайтесь к себе, не верьте больше обманчивым заверениям, будто вы сражаетесь за мир, нет, вы сражаетесь ради ненасытного честолюбия вашего повелителя, который вовсе не хочет мира, – если бы он хотел, то он давно бы уже достиг его – повелителя, который играет кровью своих храбрецов. Возвращайтесь к себе или примите пока убежище в России…»

Листовка была очень краткой и понятной всякому. Она перепечатана на нескольких языках. Француз Ц. Ложье, опубликовавший после войны «Дневник офицера великой армии в 1812 г.» (М., 1912), записал 7 июля 1812: «Находим на дороге множество печатных прокламаций, оставленных для нас русскими». Безусловно, он имел в виду воззвание к французам, выпущенное типографией Кайсарова в конце июня. Эта листовка попала в руки Наполеону. Особенное негодование вызвали у него дерзкие обличения его военной диктатуры и захватнических намерений. Он лично написал полемическое сочинение на эту листовку под названием «Ответ французского гренадера». В своем опровержении он пытался отчасти завуалировать, отчасти оправдать культурными и другими намерениями захватнические; ослабить тираноборческий дух русской прокламации. Русская листовка была напечатана во многих подчиненных ему газетах и журналах, разумеется, с опровергающим ее «Ответом французского гренадера». Эта листовка Кайсарова послужила началом полемики меж французскими и русскими публицистическими военными изданиями, продолжавшейся вплоть до окончания войны. Неприятели пристально следили за событиями в станах друг друга и быстро реагировали на них печатным словом.

Известно, что Наполеон сам писал всю военную публицистику, все свои бюллетени, хотя у него был штат секретарей, типографских сотрудников, распространителей и курьеров. Он специально искажал события, подбадривая своих солдат лишь победными сообщениями и скрывая горькую правду.

В Петербурге во время войны публиковались Указы и Воззвания Александра I, а также некоторые сообщения о ходе военной кампании. Эти документы составлял тогда А. С. Шишков, о котором Пушкин писал: «Сей старец дорог нам: он блещет средь народа священной памятью двенадцатого года». Но часто сообщения из армий так перекраивались, что в них не оставалось остроты, соответствующей данному времени, оставались одни утешения, уверения в победе и упования к Богу, царю, которые не допустят гибели России.

В Москве агитационной деятельностью занимался Ф. В. Рос  
топчин, выпускавший «Афишки» с лубочными картинками, пол-  
ные простонародного духа, пословиц и поговорок. Кайсаров, Шишков, Ростопчин – люди разного воспитания и в чем-то расходившихся убеждений – во время Отечественной войны 1812 года делали одно дело, каждый в меру способностей и своего понимания долга.

Таким образом, если не брать во внимание простонародные «Афишки» Ростопчина и говорить лишь об официальных издании-  
ях, Кайсаров, оставаясь всегда детально точным в своих сообщениях, как бы противостоял, с одной стороны лично Наполеону с его лживыми бюллетенями; с другой – внутри России – Шишкову с его пробуждающими верноподданнические чувства манифестами и сообщениями, полными официоза и сокрытия истины.

Под Витебском 13/25 июля Кайсаров и Рамбах выпустили первый номер газеты «Россиянин» с русским и немецким парал-  
лельными текстами. До последнего времени считалось, что номера (количество неизвестно) этой газеты навсегда утрачены. Но 1-й ее номер был перепечатан (на нем. яз.) рижской газетой «Der «Zusehauer»[[18]](#footnote-18) (1812, 29 августа, № 700). Здесь, несмотря на пере-  
вод, мы найдем все тот же страстный голос русского, ту же древ-  
нерусскую интонацию воюющей правды, которая так сильно воз-  
действовала на нас в довольно мирных «Речи о любви к отечеству» и «Предисловии к сравнительному словарю славянских наречий». Автор газеты пишет: «Большая часть немцев ожидает лишь счаст-  
ливого момента, чтобы отмстить своим тиранам за многолетнее иго. Некоторые из них, те, которые находятся в числе французских войск, поворачивают при первом же случае свое оружие против этой, столь им ненавистной нации. Россия находится в противопо-  
ложном положении: ее воины не наемники, они защищают свою веру, своего царя, свое отечество. В отдаленнейших уголках Рос-  
сии горят ревностью все, все пожертвовать. Враг может победить в одной из битв, но победить Россию он не сможет». В первом номе-  
ре «Россиянина» давался анализ политической обстановки. Здесь вновь, как и в «Речи о любви к отечеству» проводилась мысль об ожидании армиями Кутузова. Кайсаров прямо писал, что война с турками закончилась, и Молдавская армия будет использована «против нарушителя нашего покоя». Газета эта, без сомнения, бы-  
ла написана Кайсаровым, потому что здесь видны те же просвети-  
тельские тенденции, что и в проекте создания походной типогра-  
фии. Новоявленные газетчики Кайсаров и Рамбах, благодаря ис-  
кренности, правдивому освещению событий намеревались заслу-  
жить доверие народа. После выпуска «Россиянина», как писал Меркель, Рамбах в делах типографии больше не участвовал, он затерялся в обозе, а через месяц вообще вернулся в Дерпт. Почему так произошло, неизвестно, возможно он заболел или был ранен, или использован для других дел в Дерпте.

Андрей Кайсаров продолжал действовать. Уже 20 июля он из-  
дал приказ Барклая де Толли 1-й Западной армии с призывом дать отпор противнику силами объединенных армий. Впрочем, «приказом» этот страстный агитационный призыв язык не поворачивается назвать. В нем даже самый искушенный взгляд аналитика не найдет канцелярской сухости, державного косноязычия документа. Он весь – призыв, патриотический порыв, живая правдивая информация, тут же переходящая в краткий и емкий анализ событий: «Солдаты! Я с признательностью вижу единодушное желание ваше ударить на врага нашего. Я сам с нетерпением стремлюсь к тому. Под Витебском мы воспользовались уже случаем удовлетворить сему благородному желанию: вы знаете, с какой храбростию 4-й корпус и 3-я дивизия и, напоследок, малый ариергард наш удерживали там превосходящего числом неприятеля и открыли путь 6-му корпусу соединиться с нами. Мы готовы были после того дать решительный бой, но хитрый враг наш, избегая оного и обыкши нападать на части слабейшие, обратил главные силы свои к Смоленску и нам надлежало защиту его… предпочесть всему. Теперь мы летим туда и, соединясь с 2-ю армиею и отрядом Платова, покажем врагу нашему, сколь опасно вторгаться в землю, вами охраняемую».

В листовке сказано о боях в Смоленске, но ещё нет сведений об исходе боя и полном соединении частей. Этот приказ печатался, видимо, именно во время жесточайшего боя под грохот пушечной канонады. Между тем, под Смоленском обстановка была напряженной не только в военном плане, но и в политическом. Часть высших офицеров требовала генерального сражения. На стороне их был и решительный горячий Багратион. Он считал Смоленск удобной и крепкой позицией и предлагал удержать ее во что бы то ни стало. Офицерство во главе с Беннигсеном и великим князем Константином Павловичем подняло целую бурю в ставке главнокомандующего. Барклай де Толли оставался непреклонен. Но и ему генеральное сражение представлялось неизбежным злом, хотя ополчение и резервы были ещё не готовы.

При том, что Барклай де Толли постоянно отступал, давая по-  
рой жестокие арьергардные бои, думал о предстоящем генераль-  
ном сражении и выборе места для него, наиболее выгодного для русских, оставались ещё две важные задачи: пополнение армии солдатами, офицерами, ополченцами и организация сопротивления местного населения захватчикам. В этом смысле интересны обращения военного министра к российским дворянам и жителям трех губерний, оказавшихся в районе военных действий. Одним из важнейших дошедших до нас документов является листовка – обращение Барклая де Толли к жителям Псковской, Смоленской и Калужской губерний, выпущенная в период соединения I и II Западных армий в Смоленске от 22 – 26 июля (летучие издания, как правило, не датировались, и время их написания установлено позже, по событиям, на которые они откликались). Листовка призывала жителей пробудиться от страха и оцепенения перед европейской славой завоевателей «более дерзких, нежели страшных». Вооружась в домах своих, надо без промедления и без пощады карать врагов своих, новых варваров. Каждый должен быть достоин имени русских, то есть защитников отечества. К тому времени уже имелся пример находчивого поведения крестьян Поречского уезда, организовавших стихийно партизанский отряд. Прокламация воспринималась как призыв военного министра начать партизанское движение на территориях, захваченных врагом. В этом документе есть, присущее ещё диссертации Кайсарова, признание за жителями права собственности и права защищать ее от посягательств не только чужих, но и своих грабителей. Это обстоятельство ещё раз указывает на Кайсарова, как на возможного автора листовки. И вторая важная мысль – о начале партизанских действий в прифронтовой полосе, оккупированной врагом. Это решение вряд ли принадлежит одному Кайсарову, оно никак не могло быть высказано в печати без его санкционирования Барклаем де Толли, в свою очередь, согласовывающего действия с Александром I.

Листовка оказала большое влияние на оперативность дейст-  
вий жителей занятых врагом территорий. Благодаря ей в их умах все быстро прояснилось, и партизанские отряды из гражданского населения стали организовываться повсюду. По свидетельству Г. Зельницкого, это «начальническое приглашение» – вот как в устах народа определялся смысл документа! – было читано по церквам во всей губернии, и «по важности предмета имело сильное впечатление на умы жителей». В скором времени внушение возымело желаемое действие, поселяне Смоленской, Московский и других губерний взялись за оружие «доброхотно и поражали с неустрашимостью многочисленные толпы неприятельские», «нападали на неприятельские скопища». Таким образом, можно с уверенностью сказать, что партизанское движение возникло не так уж стихийно, как об этом иногда пишут в школьных учебниках. Оно было *разрешено.* И очень умело: не приказом, а страстным приглашением защищать себя и свою собственность, дома, отечество. Федор Глинка записал в своем дневнике 8 августа: «Вооружайтесь все, вооружайся всяк, кто только может, – гласит, наконец, главнокомандующий в последней прокламации своей. – Итак, народная война». Значит, автор «Писем русского офицера» воспринял обращение к обывателям трех губерний как призыв к народной войне. Это как раз то, чего добивались Кайсаров и Барклай де Толли.

В конце июля Барклай де Толли устами Кайсарова, вернее, пером его обратился к российским дворянам с призывом увеличить силу армий своим присутствием «между воинов русских». «Верные соотечественники, дворяне российские! Нашествие врагов силами великими на землю русскую возбуждает в каждом из нас дух справедливого мщения… Да познают враги, на что народ наш способен. Не посрамим земли русские! Любовь к отечеству, ненависть к врагам и мщение будут единственным предметом наших движений». Чувствуется, что этот текст писал человек, знающий древнерусскую литературу, летописи, историю отечества. Что характерно, листовка не выделяет дворян в особый привилегированный ряд, не отдает им главенства в войне. «Каждый из вас будет употреблен там, где потребует польза…», – писал Кайсаров, и мерзляковское емкое слово «польза» пришло на ум очень кстати. Не над воинством встать призываются дворяне, а «между воинов».

Разложение наполеоновской армии – одна из оперативных за-  
дач военно-агитационного центра, и она успешно выполнялась. Листовки, обращенные к немцам, испанцам, португальцам, полякам, итальянцам быстро размножались по 10 тыс. экземпляров и «летели» вместе с партизанскими отрядами в стан врага. В них содержались призывы покинуть армию Наполеона и вернуться на родину для борьбы за ее освобождение. Не случайно народ дал меткое название всем видам воззваний, приказов, обращений типографии Кайсарова – летучие листки.

Вскоре в армию прибыл М. И. Кутузов. С ним – брат Кайсаро-  
ва Паисий, бывший в то время дежурным генералом армии, хотя тогда ещё ходил в звании полковника и было ему 28 – 29 лет. На-  
кануне отъезда Кутузова из Петербурга по рекомендации Паисия Кайсарова, своего любимца (которого, в свою очередь, об этом просил Николай Тургенев), Кутузов принял на службу в качестве одного из адъютантов А. И. Михайловского-Данилевского, будущего летописца Отечественной войны. Андрей Сергеевич знал Данилевского с 1808 года. Он познакомился с ним (и с Куницыным) в Гёттингене, куда заезжал после Англии; Михайловский-Данилев-  
ский учился там в университете с младшими братьями Тургеневыми Николаем и Сергеем. Кутузов прибыл в армию и, проезжая строй, как бы про себя тихо проговорил: «Как можно отступать с такими молодцами!» Тихие эти слова вмиг разнеслись по рядам. Армия ликовала. Кутузов отдал приказ готовиться к сражению. Затем отменил его… Что произошло? Почему? Недоумевали все вокруг.

«Официальные известия из армии…» все объясняли: «Князь Кутузов, назначенный Его Императорским Величеством главнокомандующим всеми его армиями, прибыл в главную квартиру в Царево-Займище 17 августа вечером. Он нашел 1-ю и 2-ю армии соединенными, но отступающими на Гжатск и покидающими Вязьму, где генерал Барклай де Толли признал позицию недостаточно выгодной для принятия сражения. Князь Кутузов решил со своей стороны не давать сражения до тех пор, пока не получит подкреплений, которых он ожидал из Москвы и Калуги». Это лаконичное объяснение на протяжении целого столетия перепечатывалось, иногда без всяких кавычек, многими учебниками по истории Отечественной войны, использовалось в историко-публицистических описаниях «Наполеон и французы в Москве…» (М., 1813), «Жизнь и военные деяния генерал-фельдмаршала светлейшего князя М. И. Голенищева-Кутузова-Смоленского» (СПб., 1813), «Исторический, статистический и географический журнал» (1813, ч. III, кн. 3) и других.

После назначения заслуженного полководца на пост главнокомандующего, Кайсаров, вместе со своей типографией, сопровождал Кутузова до самой его смерти по российским и зарубежным землям. «Сын отечества» в 1813 писал: «Великий воевода русских сил, князь М. И. Кутузов-Смоленский, уважая отличные дарования Кайсарова, поручал ему важные дела в своей канцелярии». С приходом Кутузова возросла роль Паисия Кайсарова. И до этого он был храбрым офицером, доверенным и адъютантом Кутузова. Но теперь он был дежурным генералом армии (в отсутствие главнокомандующего в штабе или во время его сна мог сам принимать срочные решения, касающиеся текущих армейских дел, подписывать многие бумаги), доверенным любимого народом главнокомандующего. Многие, несмотря на лихую годину, даже завидовали Кайсаровым. Ростопчин, например, не без ехидства говорил, что «Кутузов ничего не видит; Кайсаров за него подписывает». «Судьба России и Государь зависят от Кудашева[[19]](#footnote-19) и Кайсарова. Сей последний имеет препоручение подписывать под его руку». Не приходится говорить, что и к Андрею Кайсарову было большое доверие. В приказах за подписью Кутузова угадывались интонации и стиль русского просветителя Кайсарова, его демократические настроения, его горячий бескомпромиссный характер. Братья Кайсаровы и Кутузов часто бывали вместе. Лев Николаевич Толстой, детально изучивший материалы Отечественной войны, не случайно изобразил их вместе перед Бородинским сражением в романе «Война и мир» (XXII гл., ч. II., т. 3).

Андрей Сергеевич вместе со всей русской армией участвовал в Бородинской битве 26 августа (7 сентября). В этой битве участво-  
вал также, бывший впервые на войне, князь П. А. Вяземский в качестве адъютанта Милорадовича (действовавшего на правом фланге), другой адъютант Милорадовича – Федор Глинка; на левом фланге в резерве находился вступивший в Московское ополчение за несколько дней до Бородинского сражения В. А. Жуковский; бывалый кавалерист А. Ф. Воейков тоже «летал» на лихом коне в гущу сражения. Во время самой битвы об этом Андрей Сергеевич не знал, он был всецело поглощен вначале самим сражением, затем (ночью) беседой с братом, который сам, вместе с Кутузовым, составлял диспозицию сражения, в том числе на период возможного его продолжения, когда наутро казаки Платова должны были начать погоню за отступившими на исходные позиции французами. Немало забот доставили Кайсарову печатники и наборщики, которые рвались в бой. Как ни объяснял им Кайсаров, что основная их работа начнется ночью, когда усталые солдаты обеих армий уже будут спать, – все же некоторые из рабочих оказались в районе боевых действий; не умея воевать, они помогали таскать с поля раненых. Слава Богу, все остались целы, и к ночи, едва волоча ноги, собрались в палатке с типографским хозяйством.

Много написано о Бородинском сражении. Оно рассматрива-  
лось позже с разных точек зрения и всесторонне детально исследо-  
валось. В нашу задачу не входит подробно описывать войну и сражения. Но вот первый документ, который появился даже раньше официального рапорта Кутузова Александру I, написанного на следующий день и повторяющего во многом «Официальные известия из армии от 27 августа». Хочется их привести в той части, где картина Бородинского сражения дана самими Кутузовым и Андреем Кайсаровым: «В 4 часа утра неприятель, пользуясь густым туманом, начал свое движение к нашему левому флангу. Вскоре после того битва стала всеобщей и продолжалась до ночи. Основные усилия были направлены на наш левый фланг. Атака флешей была наисильнейшей и оборона их самой ожесточенной. Борьба за них продолжалась с 7 часов утра до 10 с беспримерным ожесточением и упорством. В этом кровавом бою во время штыковой атаки на врага был ранен генерал-майор граф Воронцов. Главнокомандующий второй армией князь Багратион был ранен вскоре после того. Однако все атаки неприятеля на левый фланг нашей позиции как его пехотой, так и его кавалерией были бесплодны и отбиты с такими потерями, что даже ту небольшую часть территории, которой он завладел утром, он был вынужден покинуть к вечеру. Его атаки на центр имели не больше успеха. Отбитый по всем пунктам, он отступил в начале ночи, и мы остались хозяевами поля боя…»

Наутро 27 августа первое в истории печатное «Известие» о Бородинской битве разлетелось по свету. Воевавшие и видевшие сражение на своем участке, теперь могли окинуть взором всю грандиозную картину и узнать полную правду. Те, кто не видели сражения совсем, мирные жители, москвичи, петербуржцы, вся Россия, тем более жадно читали это сообщение. Там, куда попал лишь французский его экземпляр, оно переводилось с французско-  
го, переписывалось, быстро распространялось в самых отдаленных уголках мира, перепечатанное всеми газетами. Тогда это был единственный до конца правдивый документ. Грандиозное сражение изображалось лаконично, Эта листовка явилась первой в последующей серии «Известий из армии», которые стали выпускаться регулярно. Они печатались на русском и французском языках, последние предназначались для населения Европы и армии противника. Большое количество экземпляров известий, на которые всегда находилось много охотников, давали типографии непрерывную работу. Начальник дипломатической канцелярии при штабе Кутузова И. О. Анштетт писал своему адресату, что несколько экземпляров листовок с трудом достал: «Наша типография едва поспевает из-за непрерывного движения».

В правительственной русской прессе сообщения о Бородине появились лишь после 3 сентября. И без того лаконичная инфор-  
мация Кайсарова ещё урезалась правительственной цензурой. Например, были вымараны те места, где говорилось о расстройстве русской армии после пятнадцатичасового кровопролитного боя. Наполеон тоже издал бюллетень, посвященный Бородинскому сражению, где победу безоговорочно приписывал французам. Современники назвали этот бюллетень самым лживым, впрочем, это определение сопровождало и все другие бюллетени.

«Известия из армии» имели варианты названий: «Известия», «Известия главной армии», «Известия об армии». Единообразию названий Кайсаров не придавал значения. О названиях просто невозможно было раздумывать, когда все вокруг горело, рвались снаряды, падали люди. В период до начала 1813 года вышло 19 (дошедших до нас) «Известий». Причем, только на сентябрь-декабрь их пришлось 15, сказывалась более стабильная походная жизнь и то, что в этот период у Кайсарова появилось много добровольных помощников-литераторов, историк П. Бартенев, который опрашивал современников и один из первых интересовался деятельностью походной типографии, отмечал, что «Известия» стали печатать «благодаря Андр. Серг. Кайсарову». По ним можно изучать историю военных дней. Живой их голос обстоятельно информировал читателей обо всех действиях русской армии вплоть до изгнания французов за пределы отчизны. Информация подавалась в яркой литературной форме профессионально отточенным пером привычного смелого публициста, писавшего без сусальной приторности псевдопатриотического «высокого штиля», без сухомятки канцелярских рапортов, энергично, просто, мужественно, образно, с глубоким знанием военной специфики и терминологии. Вот когда пригодился Кайсарову его шестилетний опыт прохождения службы от солдата до капитана! Главное внимание в «Известиях» уделялось анализу событий, обобщенным военно-поли-  
тическим оценкам, публицистическим размышлениям. Здесь были трезвые (не приглаженные) оценки сражений, сведения о силе и высокой боеспособности неприятельских войск, данные о лишениях и трудностях русской армии, о настроениях жителей и действиях партизан. О стиле «летучих листков» сохранился отзыв боевого артиллерийского офицера и талантливого мемуариста И. Т. Ра-  
дожицкого, писавшего об одном из них: «Из этого видно, как полководцу необходимо иметь при себе военно-красноречивого оратора… Слова, как небесная манна, подкрепляли бодрость духа воинов, ослабевающих от изнурения, и, оживляя их мужеством военачальника, производили чудеса, непостижимые для обыкновенных людей».

Армия отступала к Можайску, а затем к Москве. На одном из ночных переходов Андрей Сергеевич внезапно столкнулся с В. А. Жуковским. До этого они не знали, что находятся совсем рядом друг от друга. Они несказанно обрадовались; и хотя раньше никогда не испытывали друг к другу особой нежности, а в последние годы и виделись случайно и редко, – в этот раз, объединенные общей судьбой и общим – выше личного – горем, крепко обнялись и заплакали. Кайсаров тут же предложил Василию Андреевичу проситься в штаб, обещая поговорить об этом с братом. Он рассказал Жуковскому о своей типографии.

– Как же! Я читал летучие листки армейские… Постой, постой, так это ты их пламенный создатель?! Ну поздравляю! Завидная честь. Великое дело делаешь!

– Поможешь мне, Василий Андреевич, по старой дружбе. Страсть как нужны нам теперь талантливые литераторы, чтоб разнообразить выпуски. Тебе сам Бог велел воспеть в прекрасных стихах подвиги наших молодцов.

– Да уж, битва беспримерная! Перед глазами стоит Бородино.

– Вот, вот, по книжкам не будешь судить. А коль увидел своими глазами, это совсем по-другому описать можно. Помнишь, как древний певец описал поход Игоря Святославовича? А тебе – честь описать нынешние горячие дела. Кстати, не забыл: покойный Андрей Тургенев дарил нам одинаковые книжки «Слова о полку Игореве» с надписями каждому? Так у меня моя с собою всегда. И ещё кое-какие книги вожу. Небось наскучал по книжкам-то? Книжная ты душа! Какой из тебя строевой боец? Пером своим и переводами ты больше пользы отечеству принесешь.

– Я завидую тебе, Андрей Сергеевич, дорогой! Как у тебя всё ясно в голове. И как точно ты нашел самое наилучшее для себя дело!.. Что ты всё обо мне печешься! Как твоё здоровье-то? В этих передрягах намаялся, чай?

Кайсаров рассмеялся.

– Испугалась моя лихорадка француза, бегущего с пикою за ней по пятам: то-то подцепит ее на вершок. А если честно сказать, спасает неразлучный мой тулупчик и офицерские непромокаемые сапоги с теплой портянкой в них. Обувь, хотя не светская, но незаменимая в походе. А тут, глядишь, дождливая погода поджидает.

Так они незаметно за разговором нагнали обоз с типографским хозяйством, и Кайсаров уложил Жуковского на одну из повозок, прикрыв тулупом.

– Больше тебя никуда не отпущу. Так и знай! Спи.

30 августа, после пышной литургии в соборе Александро-Невской лавры, управляющий военным министерством князь А. Горчаков при огромном стечении народа огласил только что полученное донесение Кутузова о Бородинском сражении. 1 сен-  
тября войска почти подошли к Москве. А судьба её ещё не решилась. Начальник штаба Беннигсен выбрал позицию для сражения. Позиция была слишком обширной, имеющей множество мелких речек, глубоких оврагов, что лишило бы русских маневренности в бою и четкого взаимодействия войск. Сзади протекала река Москва с крутым берегом и с несколькими всего наплавными мостами, непригодными для возможного отступления огромной массы войск.

Кутузов сидел на дорожной скамейке на небольшом холме возле проходившей рядом дороги с вереницей движущихся войск. Он был мудр и потому безутешен. Пока что он не видел для себя ничего хорошего. К нему подъезжали генералы и критиковали по-  
зицию, все считали ее непригодной. Но разговоры и споры велись не вокруг дилеммы: давать или не давать сражение под Москвой, а лишь вокруг наивыгоднейшего выбора места, наилучшего расположения армий. Андрей Сергеевич всё это слушал с горьким волнением. Внутренняя тревога не давала покоя. Действовало удручающе молчаливое безутешное лицо Кутузова. Казалось, он мало слушает споры офицеров, а оплакивает в душе сорок тысяч русских, лежавших под Бородином (впоследствии выяснилось, что эта цифра оказалась даже больше).

Кутузов назначил военный совет на пять часов пополудни в Филях, где находилась тогда Главная квартира. В назначенный час вошли Ермолов, Кайсаров, Толь, под образами сели Барклай де Толли, Уваров, Дохтуров, у окна – Остерман-Толстой, Гаевский, Коновницын. Паисий Кайсаров, по давнишней адъютантской привычке заботившийся об обстановке вокруг Кутузова, хотел было отдернуть занавеску на окне возле главнокомандующего, но Кутузов сердито махнул рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтоб видели его лицо. Мнения разошлись и спор был серьезный, ибо здесь уже говорили о том, сдавать или не сдавать Москву. Кутузов не высказывался до последнего, понимая, что армия полна «глаз» и «ушей», и, если враги узнают о решении сдать Москву раньше, чем Кутузов сделает это въяве, – не всё удастся, как хотелось. Наконец Кутузов прекратил все споры, произнеся многознаменитое: «С потерею Москвы не потеряна Россия». С этими словами все встали, и участь древней столицы решилась.

Как свидетельствует «Словарь достопамятных людей русской земли», составленный Бантыш-Каменским (т. А-Д, СПб., 1847, стр. 358), о Кутузове, – после Филей «во всю ночь он был чрезвычайно печален, и по свидетельству самого доверенного и любимого им офицера Кайсарова (впоследствии генерала от инфантерии), несколько раз горько плакал».

Весть о сдаче Москвы обжигала сознание. В некоторых кор-  
пусах солдаты и офицеры отказывались верить приказу отступать, говорили о чудовищной измене в штабе. Многие боевые офицеры, видавшие виды, рыдали. Время Совета в Филях Жуковский с Кай-  
саровым провели вместе («Мы весь вечер ходили взад и вперед по деревне Филям, плакали, как дети»). Поплакать было о чем: Москва – родина их юности и счастливой дружбы отдавалась врагу на поругание. Михайловский-Данилевский вспоминал: «На другой день, 2 сентября, злополучнейший, какой я проводил до того во всю мою жизнь, мы встали очень рано; ужас и бледность были на лицах наших, никто не говорил ни слова. Я немедленно поехал в Москву, улицы были запружены всякого рода экипажами и повозками; толпы народные волновались, как волны морские. Когда мы выехали на простор, то зарыдали горько. Нас было четверо: полковник Кайсаров, брат его Андрей, убитый в следующем году близ Бауцена, граф Сиверс и я; мы вспоминали о прошедшей славе отечества нашего, и все бедствия, нас ожидающие, казались нам ничтожными в сравнении с потерею Москвы. Мы вошли в Успенский собор, чтобы в последний раз помолиться в нашей древней столице. Нельзя представить верно картины, которую я видел в церкви; она была наполнена народом, смотревшим на нас с каким-то благоговением, но на лицах всех написано было отчаяние».

На улицах народные толпы волновались. Штабные офицеры пытались навести порядок. Возле арсенала увидели разбросанное оружие и стали раздавать его горожанам, мужикам, приказывая не паниковать, а сражаться за свое добро и свой город. Они оказались невольными свидетелями гибели горожанина Верещагина, которого толпа растерзала за то, что тот списал и перевел на русский язык два документа Наполеона: несчастный купеческий сын был объявлен шпионом. Ненависть к французам, отнимающим прекрасный древний город, возбуждение воюющих настолько овладели людьми, что они не задумываясь совершили нехристианский, варварский поступок. Зло, пущенное в толпу, нарастало, как снежный ком. Офицеры пытались остановить гнев москвичей, но – тщетно; даже расходясь, каждый уносил его с собой по быстро пустевшим улицам. Разбой, пьянство и пожары учащались.

2 сентября русская армия уже потянулась через столицу по ря-  
занской дороге по обе стороны юго-западного изгиба реки Моск-  
вы, через мосты Дорогомиловский и Каменный. Колонной со стороны Дорогомиловской заставы командовал генерал Уваров; шедшей через Замоскворечье, – Дохтуров. Кутузов был при дорогомиловской колонне; здесь же, вслед за штабом двигалось типо-  
графское хозяйство Кайсарова. Артиллерия, кавалерия, пехота, перемежаясь, шли до четырех часов дня. Милорадович прикрывал отходивших в арьергарде, бывшем в большом беспокойстве ввиду скопления отступающих. Кутузов ещё утром послал к Милорадовичу подписанное полковником Кайсаровым письмо, в коем, по принятому на войне обыкновению, наши больные и раненые в Москве, которых не успели вывезти, поручались милосердию неприятеля. Милорадович замешкался в арьергарде и успел заключить перемирие на 24 часа, дающее возможность русским покинуть Москву и вывезти как можно больше раненых; перемирие удалось заключить благодаря угрозам Милорадовича в случае несогласия сжечь Москву. Многие солдаты, отступая на рязанскую дорогу, плакали, слышались гневные возгласы, грозились бросить мундир и покинуть армию. Но большинство примирилось и не было полного упадка духа. Вскоре армия, а за нею и московские беженцы, прошли через Москву. Лишь арьергард Милорадовича всё ещё продвигался по ее окраине.

Наполеон уже находился на Поклонной горе, думая, что стоит на вершине славы, в то время как стоял на краю гибели. Мюрату было приказано двигаться по пятам за арьергардом Милорадовича и преследовать русских. Когда Москва удалилась и вдоль дороги выстроились одни ели, осины, да березы, конница Милорадовича ускорила темп, французская кавалерия тоже пришпорила коней во весь опор, изготовясь к атаке. Вдруг войска Милорадовича расступились и растворились в окрестных лесах, исчезнув неизвестно куда. Мюрат увидел за ними пустоту вместо ожидаемой армии Кутузова. Преследователи остановились. Через несколько минут оглушительная лесная тишина стояла по обеим сторонам дороги, и было слышно, как кричат встревоженные лесные птицы за несколько верст отсюда. Десять дней Наполеон не мог найти русскую армию, ничего не зная о ее состоянии, планах, месте базирования.

Армия же разбила лагерь на берегу реки Нары близ Тарутина и Леташевки. На одной из окраин Тарутина, вблизи Главной квар-  
тиры поставил несколько палаток Андрей Сергеевич Кайсаров. Наконец-то можно было возобновить работу своей печатни. И первое, что сделать, – оправдать действия Кутузова перед нешуточно разгневанными русскими, оскорбленными потерею Москвы. Одно «Известие» Кайсаров посвятил сдаче Москвы (оно до нас не дошло); другое – маршу до Тарутина, арьергардным боям, успехам ополчений, пополнению армии: повсюду чувствовалось оправдание действий главнокомандующего. В конце сообщалось о бедствиях французов в опустошенной Москве.

Одной из неустанных забот Кайсарова было отправление больших партий «Известий» по губерниям. В делах штаба имеются неоднократные отметки об этом. 6 октября в штаб писал Курский губернатор Нелидов: «Известия, нам доставленные по милости светлейшего, ободряют дух всех жителей и заставляют молчать пустомелей».



Глава шестнадцатая

«Певцы – сотрудники вождям…»

Т

арутинский лагерь сокрылся в лесах России и выглядел довольно мирно. Подкрался воздвиженский холодок. Надулась черная река. Плащи, навешанные шатром на пиках, вонзенных в землю, давали приют людям, гревшимся у костров. Здесь было тепло от конских и людских тел, а синее, с холодком небо, дышало зимней свежестью. Всюду разостлались пестрые ковры опавших осин, берез, дубов; только темные ели стояли как бокалы с зеленым хвойным настоем, который тут же смешивался с лиственной прелью и грибным запахом. Лишь дымы биваков на время отбивали этот густой осенний дух. Тишина, однако, никого не обманывала. В сердце каждого русского словно червь точит: горит разграбленная Москва. В сердце каждого мужчины одна боль: враги торжествуют. Смутная тревога, как дым, проникала всюду, омрачая радость нечаянного отдыха.

К биваку Андрея Кайсарова вечерами тянулись друзья-литераторы: Жуковский со скромным, тихим Калайдовичем, Михайловский-Данилевский, Ахшарумов, Орлов присаживались к костру. Чуть запаздывая, появлялись партизаны братья Габбе и Воейков. Вырывался на несколько часов от стремительного, водящего за нос неприятеля, Милорадовича его адъютант Федор Глинка. Тут же оказывался друг Кайсарова прусский офицер на русской службе Эрнст Пфуль (это его, по окончании войны, назначат комендантом Парижа от прусской стороны союзных войск), князья Трубецкие. От лазарета шел раненный под Бородином в руку Скобелев. Однажды, уже после Тарутина, приезжал для знакомства с Кутузовым уже тогда легендарный Денис Давыдов и того вечером зазвали к биваку походной типографии, заставляя рассказывать о партизанских приключениях и читать стихи, разговоры часто вертелись вокруг военных действий, литературы, и, конечно, Москвы.

– Слышал я, что дом Мусина-Пушкина на Разгуляе сожжен и разграблен, – вздыхал весельчак Скобелев.

– Господь с тобой! – восклицал Жуковский. – Там же больше тыщи только одних древних рукописей, и библиотека огромная, и коллекции, и «Слово о полку Игореве».

– Нумизматическая коллекция, говорят, спасена. «Слово» вроде у Карамзина, но точно никто не знает.

– Да Карамзина самого московский дом сгорел и книги.

– А с собою что он взял?

– Много ль увезешь?

– Жаль пушкинского собрания.

– Я не верю этому!

– Э, верь – не верь… Людишки, говорят, свои же и виноваты.

– Как это произошло?

– Сказывают, библиотеку, картины, рукописи замуровали в подвале, не успели вывезти. Тут же, в другом крыле подвала, хранились виноградные вина, большой запас. На вина сбежались все; и французы, квартировавшие в доме, и русские мужики. Напились, начали брататься. По пьянке французы стали хвастаться своими ружьями.

А мужичье свое: мол, у нашего графа – лучше. «Где?» – спрашивают французы. «Да вот тут, за стеной». Стену пробили и все разграбили. Остальное, что мужику и французу не нужно было, погибло окончательно в пожаре…

– Эх, где пьянка, там и горе!

– Уж горе, так горе!.. Российскую литературу так осиротить!

– Говорят, погибли библиотеки университета и Тургеневых. У Бутурлина сгорело 40 тысяч томов.

– А люду-то, люду сколько полегло!

Людей было жаль ещё больше. В Москве был убит французами писатель из простолюдинов, автор первого русского авантюрного романа «Невидимка» Матвей Комаров, семидесяти девяти лет. Больным покидал Москву и скончался в дороге просветитель, которого Кайсаров очень любил, режиссер и драматург, первый русский театральный критик, издававший журнал «Зритель», Петр Алексеевич Плавильщиков, сорока двух лет. Об этом и многом другом все знали, и молчание некоторое время прерывалось лишь огорченными вздохами. Воейков нарушил скорбную минуту, решив внести оживление в дружеский круг военных офицеров.

– Вы слышали приказ-афоризм Якова Петровича Кульнева, отданный своим солдатам ещё до Бородина? – «Кто кричит «пардон», – того брать в полон!»

– Молодец! Не давал унывать солдату от скучных инструкций.

Скобелев поддержал дух товарищей свежими военными байками.

– Один француз вместе со своими товарищами – фуражира-  
ми – поехал грабить русское село. Сами голодные. Что в домах бедных жителей найдут, – в рот пихают. Зашел француз в избу к одной древней старухе и мычит: «М-млеко, м-млеко!» «Да где ж я тебе молока возьму?! – поняв всё, заволновалась бабуся. – Корову вы уж давно увели. Вот разве что коза!..» «КОЗА!» – испугался француз. И заорал, вытаращив глаза: «КОЗАК! КОЗАК!» Все товарищи его побросали награбленное и мигом ускакали из села. Так боятся наших казаков!

– Ай да бабуля! Насмешила нас! – хохотали офицеры, дымя трубками.

– Да, воюют мужички! – подхватил Воейков. – Я сам видел крестьянина, прискакавшего в наш отряд из лесной деревни верхом на французской пушке, когда мы ещё от Смоленска отступали, артиллеристы французские решили поживиться свежими продуктами в деревне и пока грабили, из лесу вышел крестьянин, заготовлявший там дрова. Вдруг видит: кони пасутся впряженные, а вместо телеги – пушка. Он не растерялся: верхом на пушку и к нам, да в отряд и сам просится. Топор с ним за поясом: при оружии, значит.

– И взяли вы его?

– Как не взять такого молодца?! Смелым Бог владеет! Бьет теперь француза вовсю.

Оживление немного размягчило сердца. Кое-кто затянул пес-  
ню Мерзлякова: здесь находилось немало его друзей, воспитанни-  
ков, коллег. Теперь же раздольная грусть-тоска воинов по оставленным родным землям, по утраченному спокойствию и мирному благоденствию отчизны особенно созвучны были мерзляковским стихам.

*Среди долины ровныя,*

*На гладкой высоте*

*Цветет, растёт высокий дуб*

*В могучей красоте.*

*Высокий дуб, развесистый,*

*Один у всех в глазах;*

*Один, один, бедняжечка,*

*Как рекрут на часах!..*

*Где ж сердцем отдохнуть могу,*

*Когда гроза взойдет?*

*Друг нежный спит в сырой земле,*

*На помощь не прийдет!..*

*Возьмите же все золото,*

*Все почести назад;*

*Мне родину, мне милую,*

*Мне милой дайте взгляд!*

– Ну что! Полунощный тать, родившийся на погибель Наполе-  
ону и французским бюллетеням, убегаешь? – спросил отошедшего от костра Андрея Кайсарова потеплевшим от дружеских разговоров и песен голосом Александр Воейков.

– Да, я время от времени незаметно убегаю в палатку, где у меня рабочие печатают «Известия», – ответил Кайсаров. – Моя пе-  
чатня ни днем, ни ночью французу покоя не дает. Россия велика, Европа – тоже: сколько ни печатаю бумаг, – все мало и мало. Все просят и требуют. Михайле Ларионовичу со всей России пишут знакомые и незнакомые, благодарят за «Известия», но и вновь требуют побольше.

– Расширить типографию нельзя? Чаю, никто не откажет.

– Здесь, в Тарутино-то можно бы, но не сегодня-завтра сорвется весь этот табор, а в походе большое хозяйство – лишняя обуза.

Они покурили трубку и разошлись, чтоб назавтра вечером собраться снова.

Так стихийно, как бы сам собою, вокруг походной типографии в Тарутино возник кружок армейских литераторов. Создалась определенная военная литературная среда, из которой позже вышли основные летописцы Отечественной войны, мемуаристы, военные биографы, собиратели документов эпохи наполеоновских войн. Федор Глинка в «Письмах русского офицера» сам указывал на то, что в Тарутинском лагере примыкал к среде гвардейских штабных офицеров, группировавшихся вокруг походной типографии. Описывая этот период краткого перемирия, он говорил: «Спешу также пользоваться близким соседством, в котором случай поместил на время людей, различных чинами, состоянием, дарованиями и свойствами. Мы все здесь один подле другого». Здесь же Глинка упоминал начальника канцелярии штаба, в прошлом сподвижника А. В. Суворова, – Е. Б. Фукса, выпустившего перед войной «Историю генералиссимуса Суворова-Рымни-  
кского» (Спб, 1811); А. И. Михайловского-Данилевского; квар-  
тирмейстерских офицеров А. А. Щербинина (адъютанта генерал-квартирмейстера армии К. Ф. Толя); товарища Михайловского-Данилевского и Николая Тургенева, собиравшего летучие издания, М. А. Щербинина; братьев П. А. и М. А. Габбе, отважных партизан; состоявшего при М. И. Платове А. Г. Краснокутского; капитана лейбгвардии егерьского полка и ближайшего помощника П. П. Коновницына Д. И. Ахшарумова. В кругу офицеров-ли-  
тераторов, по свидетельству Глинки, велись частые разговоры о войне, о славе русского оружия, о духе народа, мужестве войск. Здесь в спорах родилась мысль о создании Истории Отечественной войны 1812 года. Детали будущего исторического труда обсуждались «просвещенными товарищами». «Были, однако, разные толки, как писать» историю.

Надо думать, что Кайсаров в немалой степени повлиял на эти общие представления литераторов о том, каким будет описание войны. И хотя позже (когда не стало такого объединяющего центра, как типография) история не была написана таковой, как мечталось сообща, каждый создавал свои труды отдельно, но все же многие положения «рассуждения», выношенного у походных биваков сообща, остались в каждом из трудов литераторов, вышедших из этого круга.

Дмитрий Иванович Ахшарумов (1792–1837) был автором пер-  
вого систематического «Описания Отечественной войны 1812 г.» (1819) и затем – редактором свода «Военных постановлений». Он же написал биографию П. П. Коновницына. Ахшарумов принимал участие в составлении листовок в походной типографии Кайсарова.

Александру Ивановичу Михайловскому-Данилевскому принадлежит многотомное описание Отечественной войны и биография Д. С. Дохтурова. Сохранилось письмо Михайловского-Дани-  
левского (послевоенного периода) к Паисию Сергеевичу Кайсарову с просьбой «описать, хотя бы в коротких чертах, некоторые из любопытных случаев, анекдотов, выражений фельдмаршала. Драгоценною почту каждую строчку о том, как выехали из Петербурга в армию, какие были разговоры, суждения, как прибыли в Царево Займище, Бородино, время отступления из Москвы и далее до Красной Пахры, пока вы не оставили Главной квартиры. Решительно без вашей помощи все, что напишу, будет неудовлетворительно». Но тогда Паисий Сергеевич не прислал Михайловскому-Данилевскому ничего. Михайловский-Данилевский очень изменился после войны, изменился и многому изменил, потому послевоенный он не нравился Паисию Сергеевичу.

Под Тарутиным Михайловский-Данилевский помогал Андрею Сергеевичу. Ведь он вел военный журнал, из которого Кайсаров брал информацию для своих сводок. Раза два, когда Кайсаров бо-  
лел, Михайловский-Данилевский писал текст «Известий». Кайсаровы тоже платили ему заботой, начиная от службы в штабе по протекции Паисия Сергеевича и до тяжелого ранения Александра Ивановича под Тарутином, когда Паисий и Андрей проявили братскую заботу: с верным денщиком 10 октября отправили его лечиться в свое самое ближнее Рязанское имение. После войны, Александр Иванович, собирая материалы для истории, незаметно, в иных случаях, стал поворачивать дело так, что замалчивал заслуги многих, преувеличивая собственные. Дошло до того, что он чуть ли не приписывал себе организацию походной типографии и большую роль в издании летучих листков. Он пользовался тем, что деятельность типографии относилась к засекреченным во время войны, мало кто знал истинное положение дел; а те, кто не знали, – верили Михайловскому-Данилевскому. Такой ход дела в глазах Паисия Сергеевича оскорблял память брата Андрея и вполне понятно, почему он отказался от переписки. Во второй четверти XIX века Михайловский-Данилевский – преуспевающий генерал, глава военно-цензорного комитета, создатель многочисленных трудов о наполеоновских войнах, и, в связи с этим, жаль, что Паисий Сергеевич не оставил ему своих воспоминаний.

Федор Николаевич Глинка, хотя участвовал в беседах у бива-  
ков, вряд ли мог помогать работе походной типографии, так как всегда находился в районе боевых действий; подвижный, энергичный Милорадович не давал своему адъютанту времени для сколько-нибудь длительных отлучек; но воспоминания о войне Глинка оставил, написав, кроме всего прочего, биографию М. А. Милорадовича.

Был в Тарутине приятель Жуковского Константин Федорович Калайдович (1792-1832). Уже известный литератор, выпустивший в 1808 году сборник сочинений «Плоды трудов моих», славист и историк. Калайдович позже издал «Древние Российские стихо-  
творения Кирши Данилова» и другие памятники. Он – преподаватель русской истории в Московском благородном пансионе. Кстати, пока юный Калайдович находился в Тарутинском лагере, дома, в Москве, сгорела его прекрасная библиотека и все имущество.

Позже стал известным литератором Иван Никитич Скобелев (1778-1849; дед известного теперь полководца). Он – ветеран войн, которые Россия вела в конце XVIII – начале XIX веков, прошел весь путь от солдата до генерала. ещё с Молдавской армии Скобелев сподвижник Кутузова, Н. Н. Раевского, сдружился с Паисием Кайсаровым, Иван Никитич был в деле при Силистрии и Шумлы, где отличился, ранен, награжден. Во время Отечественной войны – старший адъютант Кутузова (после смерти Кутузова сопровождал тело в Петербург). Скобелев крайне демократичен, для него это просто органично. Особенно любил солдат. Во время войны записывал шутки, прибаутки, поговорки, экспромты солдатской речи, армейские анекдоты. Словом, юмор и острословие во всех видах. «Не помню ничего лучше русского солдата», – говорил он. Он ничем не интересовался кроме войны и воина. Объявил о своей литературной деятельности поздно, лишь в 1833 году сочинением «Подарок товарищам, или переписка русских солдат в 1812 году»; а также – «Переписка и рассказы старого инвалида» (выступал под псевдонимом «Русский инвалид»). Писал он и пьесы, которые тогда же игрались: «Кремнев – русский солдат», «Сцены в Москве в 1812 году». Не всем сочинения Скобелева нравились, высшее общество считало их грубыми, рассчитанными на низкий солдатский вкус. Но тогда их читала вся Россия и восхищалась веселым, находчивым скобелевским героем – солдатом, настоящим прообразом ныне любимого народом Василия Теркина. Скобелев писал, как говорил, – просто и с лукавством. Популярный военный писатель обладал красочной, сочной народной речыо. Его высоко ценил Белинский, считавший, что его сочинения отличаются «живостью слога, русско-солдатским юмором и этой оригинальностью во всем, которая дается только таланту и под которую невозможно подделаться».

Петр Андреевич Габбе (1796-после 1833), друг П. А. Вязем-  
ского, Н. Н. Пущина служил в партизанском отряде. Он писал сти-  
хи, философские размышления, путевые заметки, переводил. Наиболее известные его произведения – элегия «Байрон в темнице» и «Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольштейн». Жизнь Габбе ушла в безвестность. После декабрьского восстания он уехал в 1826 году в Саратовскую губернию, в деревню Березовку (имение Л. А. Нарышкина). Прожив здесь несколько лет, он заболел тяжелой душевной болезнью и сошел с ума. С тех пор о нем уже никто не слышал. Братья Габбе помогали тогда Кайсарову составлять, переводить, редактировать, корректировать итальянские, испанские и другие листовки.

Наконец, нужно сказать о сдружившемся с Кайсаровым в Тарутинском лагере Михаиле Федоровиче Орлове (1788-1842). Это его дядя приветил и обогрел в Вене путешествовавших по Европе Кайсарова и Тургенева. Орлов – племянник Григория и Алексея Орловых, возведших на престол Екатерину II, имел общего со своими дядьями только смелость и прямоту. Если говорить о родстве, и о родстве, оказавшемся духовно близким и более для него дорогим, то следует отметить, что Михаил Федорович позже стал зятем Н. Н. Раевского и, таким образом, породнен с С. Г. Вол-  
конским, другим зятем Раевского; через Волконских он родственник и Кайсаровым, т. к. их мать урожденная Волконская. Уже с Аустерлица Орлов был другом Паисия Кайсарова. Не случайно Жуковский в стихотворении «Певец во стане русских воинов» поставил имена их рядом:

*Орлов – отважностью орел;*

*И мчит грозу ударов*

*Сквозь дым и огнь, по грудам тел,*

*В среду врагов Кайсаров.*

Михаил Федорович был отважный разведчик, не однажды побывавший в стане врага (прихватывая и листовки). Он ездил в занятый французами Смоленск выручать пленного генерала Тучкова. Во время заграничных походов командовал казачьим отрядом у Платова. Он, самый молодой тогда полковник, подписал акт о капитуляции Парижа, поставив таким образом последнюю точку во всех наполеоновских войнах, сотрясавших Европу почти два десятилетия. Он основал в России (частью на свои средства) художественный класс, давший начало Строгановскому училищу живописи; поддерживал многих художников и литераторов. Но, увы, он же и один из организаторов «Ордена русских рыцарей» – предтечи декабристских кружков, именно поэтому после восстания декабристов заслуги этого прекрасно образованного, деятельного человека были забыты. Сам он, по случайному стечению обстоятельств, в восстании не участвовал, а от неминуемой Сибири его спас родной брат Алексей, пользовавшийся особой дружбой Николая Павловича и первый прискакавший со своей конной гвардией на Сенатскую площадь для защиты царского трона. Михаил Федорович активно участвовал в делах походной типографии, готовил наиболее острые политические памфлеты.

Василий Андреевич Жуковский был вместе с Кайсаровым до декабря 1812, до той поры, пока тяжело заболел и остался в Вильне, именно в военные месяцы сентября-декабря проявилась наибольшая общественная активность Жуковского, обнажившая его интерес к судьбе народа и родины, это душевно сблизило его с просветителем Кайсаровым. Благодаря Кайсарову, Орлову, другим славным офицерам, в Тарутинском лагере Жуковский видел в яви тот дух гордой свободы и независимости, который черпал раньше из западноевропейской романтической литературы. Здесь Жуковский рисовал романтически, в древнерусском ключе уже нынешних героев России. «Певец во стане русских воинов» впервые опубликован походной типографией Кайсарова (этот текст до нас не дошел) и лишь затем, отработанный вариант напечатан «Вестником Европы», 1812, № № 23 и 24 за декабрь, где сделано примечание: «Писано после отдачи Москвы перед сражением при Тарутине». Изданием в походной типографии и широким распространением текста объясняется огромная популярность этого стихотворения во время войны; тогда ни одно стихотворение не могло соперничать в известности с «Певцом…», принесшим Жуковскому славу народного поэта, в то время как до того Жуковский был почитаем лишь в узких кругах литераторов, ценителей изящной словесности. О «Певце…» Белинский сказал, что только через него узнала Россия своего великого поэта.

Дни Тарутина – время наивысшего подъема русского патриотизма. Если до отдачи Москвы все ещё раскачивались и собирались воевать напористей, то в Тарутино, когда после такой единственной потери, как Москва, терять было нечего, – закипела жажда мщения. Жуковский писал:

*Сокровищ нет у нас в домах;*

*Там стрелы и кольчуги;*

*Мы сёла – в пепел; грады – в прах;*

*В мечи серпы и плуги.*

Надо сказать, что и сам автор «Певца…» оказался на какое-то время в эпицентре вихря отчаянного патриотизма. Удивительно, что ни до этого стихотворения, ни после он не писал ничего по-  
добного. «Певец во стане русских воинов» – вершина творчества Жуковского. Мрачно-романтические, полные отраженного света литературы, очаровательные стихи и баллады Жуковского были далеки вообще от всего: от политики, от живой жизни, от совре-  
менности, от народа, от смелых гражданских движений, от здоро-  
вого оптимизма. Жуковский и сам понимал это, сокрушаясь: «Увы! почто судьба дала незвучные мне струны?» А здесь вдруг такие прожигающие русское сердце строки, органично сочетающие на-  
родные мотивы и высокую книжную культуру, в которой главный свет шел от «Слова о полку Игореве». Не сразу догадаешься, что в этом стихотворении Василий Андреевич описал романтическими красками тарутинское воинское дружество, ведь стихотворение создавалось в дни Тарутина. Каково же тарутинское братство и его идеалы в поэтической трактовке Жуковского?

*На поле бранном тишина;*

*Огни между шатрами;*

*Друзья, здесь светит нам луна,*

*Здесь кров небес над нами.*

*Наполним кубок круговой!*

*Дружнее! руку в руку!*

*Запьем вином кровавый бой*

*И с падшими разлуку…*

*Сей кубок ратным и вождям!*

*В шатрах, на поле чести,*

*И жизнь и смерть – все пополам;*

*Там дружество без лести.*

*Решимость, правда, простота,*

*И нравов непритворство,*

*И смелость – бранных красота,*

*И твердость, и покорство.*

*Друзья, мы чужды низких уз;*

*К венцам стезею правой!*

*Опасность – твердый наш союз;*

*Одной пылаем славой.*

*Тот наш, кто первый в бой летит*

*На гибель супостата,*

*Кто слабость падшего щадит*

*И грозно мстит за брата…*

Нравов непритворство, чуждые низких уз интересы, предпоч-  
тение высоких нравственных качеств иному (чинам, богатству, связям) – это как раз то, о чем Ф. Глинка писал, характеризуя своих армейских товарищей.

Кутузову, которому из-за штабных интриг приходилось совсем не сладко, посвящалось стихотворение Жуковского «Вождю победителей». В «Вестнике Европы», где стихотворение позже было перепечатано, есть приписка: «С печатного в селе Романове 1812 года, ноября 10, в походной типографии». Это произведение подчеркнуто публицистического характера, что до войны для Жуковского было совсем не характерно. О нем писали: «Творчество Жуковского этих месяцев несет… бесспорную печать влияния публицистики штаба Кутузова и лично Кайсарова». После ранения и отъезда Михайловского-Данилевского, Жуковский заполнял журнал военных действий, из которого Кайсаров брал информацию. Таким образом, Жуковский участвовал в делах походной типографии не только стихами. Стихи же он читал первому Кайсарову, советуясь во многом. В работе над «Певцом…» Жуковский долго мучился над строкой «сын брани сбрасывает в прах…» – «Нет, – сказал Кайсаров. – Сын брани мигом ношу в прах с могучих плеч свергает». Жуковский так и оставил. Александр Федорович Воейков в 1812 -1813 годах находился в действующей армии, в партизанском отряде. Жуковский в 1814 написал стих «К Воейкову», где увековечил его военные труды:

*Ты был под знаменами славы;*

*Ты видел, друг, следы кровавы*

*На Русь нахлынувших врагов,*

*Их казнь, и ужас их побега;*

*Ты, строя свой бивак из снега,*

*Себя смиренью научил…*

Воейков, так же, как и Жуковский, написал во время войны два публицистических стихотворения: «Князю Голенищеву-Кутузову Смоленскому» и «К Отечеству» (как не вспомнить здесь стихи и речи Андрея Тургенева и Андрея Кайсарова; Воейков 1812 г. не изменил идеалам Дружеского литературного общества, идеалам молодости своего поколения). Искренне и благородно воспевал он Кутузова. Ведь в отличие от тех, кто были вдали от армии и, не зная истинного положения дел, ругали полководца, называя губителем Москвы, России и даже предателем, – Воейков знал истинную цену полководцу; знал, о чем он плакал в Филях, о чем заботился в Тарутине, принимая полки за полками под свое командование, думая об обеспечении армии и о сражениях, сража-  
ясь одновременно с внутренними фискалами и высокопоставлен-  
ными бездельниками. Воейков возвышенными словами поэта утверждал авторитет Кутузова:

*Князь славы! именем народов и царей,*

*Иноплеменничья избавившихся плена,*

*Объемлю я твои священные колена –*

*О, будь благословен, верховный вождь вождей,..*

*Расторгший рабства цепь и сокрушивший бич!..*

*Ты не отечества – вселенныя спаситель!..*

*Мир миру славными победами даруй*

*И раны сограждан спокойством уврачуй.*

Александр Федорович, вооружась сатирическим даром, написал также очерк «Генерал граф Беннигсен». У Воейкова опять все, как говорится, не как у людей. Его друзья-литераторы выбрали для своих биографических очерков славных героев Милорадовича, Коновницына, Раевского, других. Воейков же – гнусную личность, бездарного генерала, интригана, карьериста, доносчика, соглядатая. Таков его характер, таково качество его дарования. Сатирическое зрение и чутье у него развито сильнее. В этом очерке были и страницы о 1812 годе, освещающие малопривлекательные стороны деятельности Беннигсена в Главной квартире, интриги против Кутузова и его соратников. Воейков пояснил и обстоятельства высылки Беннигсена из армии. Очерк при жизни Воейкова не публиковался, но с большим успехом расходился в списках, как ранее кайсаровская «Свадьба К…» Таким образом разоблачительную биографию Беннигсена знала вся Россия, это также служило оправданию действий Кутузова. Положение в штабе Кутузова было действительно напряженным: великий князь, «вдовствующие», без армий, генералы, получившие чины за угодничество и близость к царствующему дому, постоянно вертелись около штабной избы и норовили «поговорить» с Кутузовым, узнать его мнение о чем-либо, выяснить, почему он делает то-то, а не то, дать ему «разумный» совет, и тут же все, что выпытают и что присочинят, «отписывали» во все концы света. Кутузов знал это, и, чтоб не отвечать на глупые и провокационные вопросы, вынужден был отмалчиваться, и остро необходимыми делами заниматься тайно. «Кутузов любит таинственности», – поговаривали ехидные языки. Нет, он не был приверженцем романтических тайн. Он – суровый практик. Поэтому старался меньше говорить, а в присутствии высокородных особ вообще помалкивать, делая вид, что слушает или дремлет. Из этого тягостного состояния, однако, Кутузов нашел остроумный выход. Он выставил денщика, который всем, хотевшим войти к нему, говорил: «Светлейший почивает». Таким образом получалось, что днем Кутузов всегда «спал», а ночью любили с комфортом поспать его недоброжелатели. Встречи сократились до минимума. Однако, в столицу писали и писали. И вскоре, в определенных кругах сложилось впечатление, что Кутузов стар, дряхл, спит и спит. Александр Булгаков (старший брат друга Кайсарова Константина Булгакова) – тогда сотрудник столичного генерал-губернатора – писал Александру Тургеневу, что Кутузов спит в совершенном бездействии целый день и всем связывает руки. Но беспрепятственно проходили к Кутузову в любое время дня и ночи Паисий Кайсаров, Кудашев, Скобелев, Орлов, Коновницын, Платов и несколько других офицеров. И днем и ночью совершались важные дела по снабжению армии, приему партий оружия из Тулы, фуражированию, организации лазаретов, приему и обучению новоприбывших ополченцев и рекрут (кстати, в подготовке кадров для армии участвовал тогда юный Грибоедов), детально обсуждались и предстоящие сражения, подолгу беседовали генералы и Кутузов с разведчиками (лазутчиками, как их тогда называли). В армии в дни Тарутина проводилась титаническая работа, обеспечившая дальнейший успех русским войскам во всех сражениях, заложившая фундамент будущей победы над Наполеоном.

Много упреков посыпалось в адрес Кутузова в связи с переговорами с посланным Наполеоном генералом Лористоном. Ведь Кутузов не имел права вести переговоры о мире или длительном перемирии через голову императора, но он и не мог, по элементарным этическим понятиям, не принять парламентера. Тут же злые языки заговорили о том, что Кутузов сдал Москву и теперь просит мира у Наполеона, он погубил Россию. Переговоры велись наедине, поэтому никто не знал правды. Известны лишь два документа: рапорт Кутузова Александру I и донесение Роберта Вильсона, английского посла и шпиона при Русском штабе, своему правительству, но оба документа секретные и широкой публике остались тогда неизвестны. Лишь «Официальное известие из армии», вышедшее на французском и русском языках 23 сентября, передало всю правду о дипломатическом мастерстве Кутузова, его непреклонной стойкости и желании довести войну до полного выдворения непрошенных гостей за пределы отечества. «Известие» сообщает: «Лористон жаловался на жестокость, которую проявляют крестьяне к французам, гибнущим от их рук. Кутузов отвечал с иронией: «Возможно ли в течение трех месяцев цивилизовать народ, на который сами французы смотрят не иначе, как если бы это были орды Чингис-хана». Лористон заметил, что природа скоро поставит предел ведению боевых действий и что в рассуждении этого он желал бы договориться на определенных основаниях о перемирии. Кутузов в ответ на это сказал: «Я не уполномочен на это»… Лористон, убедившись, что он так и не добьется перемирия, покинул генерала Кутузова, не скрывая своей крайней досады».

Переговоры эти были важной попыткой дать понять французам, что у них с захватом России ничего не выйдет, и что им пора убираться восвояси. То, что Наполеон ещё оставался в Москве, так и не сделав вывода из встречи Лористона и Кутузова, стоило ему больших потерь. Рисуя истинное поведение Кутузова и оправдывая его действия в переговорах, Кайсаров раскрывал военные карты (с ведома Кутузова), сообщая о том, как окрепла русская армия: «кроме уже прибывших казачьих войск, генерал Платов будет иметь ещё 26 полков, из которых 12 уже подошли к нему… Неприятель вскоре не будет иметь ни продовольствия, ни фуража, недостаток которых он уже сильно ощущает. Его кавалерия, и без того ослабленная, скоро будет уничтожена вовсе. Эта война становится народной… Русские крестьяне, вооруженные пиками, окружают со всех сторон французов, которые производят грабежи и оскверняют церкви».

Следующее «Известие» от 30 сентября как бы продолжало на время прерванный рассказ о пополнении и обустройстве армии, противопоставляя благополучие в русском лагере бедствиям фран-  
цузов. «Известия» – один из немногих органов печати тех лет, где сообщалась правда об участии крестьян в войне. В то время как правительственная цензура запрещала такие сообщения, боясь, что привычка бить неприятеля у крестьян останется, и по истечении войны обратится в привычку бить приятелей крепостного права. Кайсаров же писал в «Известии» от 30 сентября: «Самые крестьяне из прилежащих к театру войны деревень наносят неприятелю ве-  
личайший вред… стремятся с неописанною ревностью на истребление врагов, нарушающих спокойствие отечества. Крестьяне, горя любовью к Родине, устраивают между собою ополчения… Они во множестве убивают неприятелей, а взятых в плен доставляют к армии. Ежедневно приходят они в Главную квартиру, прося убедительно огнестрельного оружия и патронов для защиты от врагов».

Кутузов ценил то, что крестьяне и мещане берут на себя часть работы, которую должна выполнить армия, и таким образом, строевые войска сохраняются для грядущих боев. Благодарность свою он выражал тем, что отмечал отличившихся наградами; но россиянин не изменял себе, совершая бесчисленные безымянные подвиги, делая их не из-за наград и почестей, а из любви к Родине и из чувства справедливости. «Известия» о действиях армии 8 октября подробно писали об этом.

Говоря о походной жизни Кайсарова, нельзя не говорить о по-  
ложении дел в армии, так как положение дел в армии и было той жизнью, которой жили все, находившиеся в ней. Положение же было таково. Относительно спокойная жизнь в тарутинском лагере тяготила воинов. Им хотелось побыстрее расправиться с дерзким противником и заслужить уважение народа и царя, пока что ими недовольных.

В то время недалеко от Тарутина, на берегу реки Чернишни, впадающей в Нару, стоял кавалерийский авангард французов под командованием Мюрата с четырьмя пехотными дивизиями. Стоянка эта дорого обошлась французам, и без того сидевшим почти на голодном пайке и без фуража. Генерал Толь, убедившийся, что на французов легко напасть врасплох, составил в общих чертах план атаки и доложил Кутузову о своем предложении. На стороне Толя оказались Багговут, Коновницын. Кутузов уступил. Задумывалось захватить весь авангард полностью при минимальных потерях с нашей стороны. И это было реально. На другое Кутузов бы просто не согласился. Однако, промедление, перенесение дня сражения с 5 на 6 октября, противоречивые распоряжения Беннигсена и других, и, вследствие этого прибытие отдельных частей с запозданием, позволили выполнить блестящий замысел лишь наполовину, к тому же с неприятными потерями. Действительно, казаки напали на французский лагерь внезапно, найдя непотушенные костры с дымящимися над ними кофейниками, «благоустроенный» лагерь, где вместо столов и стульев использовались доски с православными иконами на них. 2000 человек были захвачены сразу, однако, Мюрат быстро сориентировался и оказал отчаянное сопротивление. Не поспевший ко времени атаки, задержавшийся в лесу корпус Багговута в темноте вышел прямо на жерла французских пушек, что было недопустимым просчетом Беннигсена и следствием противоречивых указаний. В результате многие погибли и были ранены. Самому храброму Багговуту оторвало голову. Оставив 38 орудий, много повозок, заряды и прочее, Мюрат проворно ушел.

Этому сражению внезапно обрадовался Александр I, приславший довольно жизнерадостное письмо Кутузову и награды. Кутузов же был недоволен. Он не ожидал, что так глупо можно потерять людей и дать хотя бы части противника уйти от во многом превосходивших его сил русских.

Неожиданный вывод из поражения Мюрата сделал Наполеон, после переговоров Лористона с Кутузовым все ещё медливший оставлять Москву. Теперь внезапно он понял, что никаких перего-  
воров больше не будет, а значит – и желанного мира. Надо немедленно, не тратя лишнего дня, выходить из Москвы, спасать армию и себя, стараясь пробиться другой дорогой с неразграбленными селами и городами. Он начал выходить из Москвы на следующий же день – 7 октября.

В Главную квартиру весть об этом дал Сеславин. Лагерь ещё оставался в Тарутино, а Кутузов уже отправил корпус генерала Дохтурова наперерез противнику, шедшему в южном направлении. Вот что писали «Известия» в конце октября: «Гордый неприятель, внесший меч и пламя в отечество наше, вторгнувшийся в самое сердце его, Москву, мнил поработить Россию. Ныне ясно, что он обманулся в своих надеждах. Изнуренный голодом, обставленный ежедневными частными сражениями, изнемогал он. Наконец, сражение 6 октября совершенно принудило его оставить мысль поработить когда-либо Россию». Далее «Известия» подробно описывали кровопролитное сражение, в котором город восемь раз переходил из рук в руки, оно нам хорошо известно из исторических книг как сражение под Малым Ярославцем. Между прочим, в этом, как и в других сражениях, принимал активное участие полковник Кайсаров, отнюдь не ограничивавшийся штабной деятельностью, и в «Известиях» об этом сообщается: «Генерал от кавалерии Платов… в пяти верстах выше Малого Ярославца, напал на 40-пушечный неприятельский парк, находившийся под прикрытием значительного числа кавалерии и пехоты, и взял 11 пушек. Хотя неприятель и выслал сильный отряд кавалерии для отбития отнятых пушек, но полковник Кайсаров, засевший в кустарниках со стрелками 20-го егерьского полка, удержал сильное стремление неприятельской кавалерии и тем способствовал переправе пушек через реку». В следующей листовке рассказывалось о боях под Смоленском и другими населенными пунктами: «Неприятель в числе 15000 занимал Петербургский форштат. Полковник Кайсаров, сбив его цепь, стремительным нападением принудил его к бегству…» В ноябре-декабре, когда, по словам Федора Глинки, французы, «отхлынув бурною рекою, помчались по своим следам», – у Андрея Кайсарова было много работы, так как сражения шли за сражениями, победы приходили за победами, успехи за успехами. Все хотелось отметить, отразить, донести до читающей России, до стран Европы, где «Известия» перепечатывались многими газетами, ответить памфлетами на лживые бюллетени Наполеона. Особенную трудность, однако, представляло не это. Кайсаров писал быстро и с удовольствием, талантливых помощников находилось много. Трудно было работать на колесах. Кроме того, мороз доставлял хлопоты не одним французам. Русская армия, команда Кайсарова в том числе, были прекрасно экипированы, но печатать-то надо было в теплом помещении, где рабочие могли бы снять тулуп и чтоб краска типографская, по крайнем мере не застывала. Поэтому ему всегда приходилось заботиться о теплой избе для своей печатни. Зато стало проще с распространением листовок: их буквально вырывали из рук, желающие их заполучить курьеры из разных губерний сутками порой ждали их издания.

Время было столь горячее, что и рождение свое – 30 лет – он чуть не позабыл отпраздновать. Тем более, что в день этот – 16 ноября – было одно из ожесточенных и крупнейших сражений войны – сражение под Красным. Но на другой день после сражения поздно вечером друзья напомнили ему о приятной обязанности угощать героев. Это было тяжелое и радостное время!

Кайсаров печатал последние месяцы 1812 года множество «Известий», в которых рассказывались подробности всех сражений и стычек, отмечались герои, перечислялись бесчисленные трофеи. Особую радость доставили солдатам и офицерам, перепечатанные походной типографией, остроумные басни Крылова. По мере приближения армии к Прибалтике и Белоруссии крестьянская война затихала, активность жителей здесь была более низкой, и чтобы им истолковать что-либо, Кутузову постоянно приходилось печатать приказы, обращения к жителям данных местностей. Так Кайсаров издал объявления, предупреждающие, что все имущество врага, захваченное мирными жителями должно быть сдано в интендантство, так как является теперь государственным; обращения к жителям белорусских и литовских губерний о выдаче дезертиров и отставших солдат противника; объявления, предупреждающие о том, что жители белорусских и литовских губерний должны немедленно сдать оружие, захваченное у врага. Приказ Кутузова о благожелательном отношении к жителям освобожденных губерний.

В Вильно, где Кайсаров расстался с больным Жуковским, он обнародовал приказ Кутузова об окончании Отечественной войны 1812 года. Кутузов хотел окончить войну на границах России, Александр I думал иначе. Кайсаров печатал воззвание Кутузова к Пруссии с призывом выйти из наполеоновской коалиции. Печатал обращение к гражданским властям и населению Польши; к французской армии обращался с пламенным призывом сложить оружие, прекратить военные действия против России. Печатал прекрасно написанное самим министром иностранных дел России Н. П. Румянцевым «Воззвание к народам Германии».

Самым популярным произведением, выпущенным походной типографией Кайсарова, а также самым популярным публицисти-  
ческим произведением, которое когда-либо издавалось в России и Европе до той поры, оказалась брошюра «Pückzug der Franzosen» – «Отступление французов», написанная сподвижником Штейна немцем Эрнстом Пфулем (1779-1866). Брошюра вышла на родном языке Пфуля 12 декабря 1812 года на 36 страницах небольшого формата. В короткий срок, в течение одного 1813 года она переиз-  
давалась белее 30 раз в России, Германии, Польше, Голландии, Швеции, а также на французском языке. Русский перевод ее впер-  
вые появился в наиболее популярном журнале того времени «Сын отечества». После этого «Отступление французов» победно шествовало по городам и весям под разными названиями: «Обратный поход французов из России в 1812 г.», «Побег французов, или Живое изображение гнева Божия и храбрости неустрашимых россиян, поражавших неприятелей от Москвы до Немана», «Ретирующийся Наполеон, или Исчисление всех потерь французских войск в России, начиная с Бородинского сражения до самого изгнания из оной». Почему появилось такое объемное, по сравнению с летучими листками, произведение?

В конце Отечественной войны, когда задачи армии и политические задачи агитационного центра быстро менялись, приходилось менять и приемы агитационной деятельности. Россия освободилась от врага, пора было обратиться к народам Европы, завоевать их симпатии, дав им развернутую картину действий Наполеона на территории России, вовлекшего сотни тысяч людей в кровавую авантюру; разоблачить его агрессию и показать во всей полноте горькую судьбу несчастных солдат. Европейские народы должны были видеть это лицо без маски освободителя и защитника народов; солдаты Европы должны знать на примере шедших из Москвы, что их ожидает под командой Наполеона. Особую популярность обрел этот документ и потому, что явился первым в истории русской публицистики и военно-общественной мысли очерком Отечественной войны 1812 года (хотя очерком, освещавшим лишь вторую, последнюю часть войны, но именно это было тогда актуально и ценно). Популярность ему также обеспечивало и то, что «Отступление французов» идейно выходило из военной типографии, чьи летучие листки уже завоевали себе авторитет народа своей искренней и правдивой информацией, демократическими тенденциями. Многие чувствовали, куда уходят корни брошюры. Это произведение к тому же обладало высокими литературными достоинствами и глубоким анализом военных событий последних месяцев, гражданской убежденностью человека, ненавидящего деспотию и социально-национальную несправедливость, знавшего цену наполеоновским увещеваниям. В нем есть критика важнейших моментов наполеоновской пропаганды, содержавшейся в первых французских бюллетенях.

Пфуль начинал «Отступление французов» с «маленькой ошибки Наполеона», обещавшего своим солдатам, что война с Россией – «последний удар» по «угрожавшей падением свободы Европы» державе, и что победа эта – пустяк. Однако, с Бородина войска Наполеона «…совершенно расстроились в привычке своей побеждать, ибо были принуждены поздравить императора своего с победою в четырнадца-  
ти верстах позади поля битвы, – иронизирует Пфуль, – французские бюллетени помогли там, где старые, привыкшие к победе полчища не могли ничего сделать; ибо ничто не может противостоять храбрости французских бюллетеней, но это действовало только на тех, которые не присутствовали на сражении». Автор брошюры сопоставляет спокойное отступление русских, запланированное по всем правилам военной стратегии, и непродуманное отступление французов, вынужденных бежать из ловушки, по ходу выучивая «все стратегические тонкости Наполеона», вынужденного отступать «по пустыне, которую сам привел в сие состояние». Пфуль недоумевает, как Наполеон с его военными талантами не учел, что скорое отступление возможно только на близкие расстояния, ибо набравший скорость в начале большого пути, быстро ослабевает и приходит в расстройство. Наполеон поступил вопреки очевидным правилам, поучает Пфуль, именно за это он платит своей армией и славой французского народа. Здесь читатель, конечно, должен сильно усомниться в гениальности прославленного полководца. Разоблачая тирана, взошедшего на вершину славы по костям людей, Пфуль в то же время со строгостью хроникера, но с глубоким сочувствием солдата и гуманиста, рисует плачевное состояние простых солдат-французов, брошенных на произвол судьбы.

В Смоленске «…голодные солдаты вдруг пожирали провиант, назначенный им на несколько дней, при том, что порции состояли не в хлебе, а только в муке; многие тысячи ничего не получили». Между тем «французские бюллетени» не переставали ещё забав-  
лять публику, говоря обо всех сих происшествиях с бесстыдной ложью». 25-й бюллетень, в то время, когда армия начала бегство, сообщил, что Наполеон ведет ее на зимние квартиры. «Никакой бюллетень не лгал до такой степени, – пишет Пфуль, – ужаснейшее расстройство называлось порядком, отчаяние – спокойствием, ве-  
селым расположением духа; голодная смерть происходила от изо-  
билия, а гнев небесный назывался благоприятством». Нарисовав правдивую картину бедствий французской армии и французского солдата в «Обратном походе», Пфуль говорит: так закончилось горделивое предприятие Наполеона, так сбылись пророчества мнимого пророка о легкой победе.

«Отступление французов» стало важным событием общеевропейской политической жизни, способствовало формированию в России и за рубежом верных представлений о целях всех наполеоновских войн на примере российской их части; а также давало представление о конкретном ходе контрнаступления русских войск в октябре-декабре 1812 года и историческом значении Отечественной войны. Вся позднейшая историография Отечественной войны уже не могла обойтись без обращения к этому документу.

3 декабря 1812 года Наполеон выпустил свой последний лживый «29-й бюллетень великой армии». Бюллетень был перепечатан русской правительственной прессой. Начинался он так, словно император не бежал с совершенно растерзанной армией с позором и унижениями по 20-30-градусным морозам, а всего лишь возвращался с приятной прогулки, – «погода стояла великолепная», «движение армии совершалось как нельзя более успешно»; затем автор начал жаловаться не перемену погоды; потерю лошадей, которая повлекла за собой потерю орудий, снаряжения и провианта. «Армия, такая прекрасная… оказалась совсем иной…» Люди утратили бодрое расположение духа, им чудились одни несчастья, а тут ещё казаки, как арабы в пустыне. Гнусная ложь о том, что все бодро двигаются и здоровье императора как никогда превосходно, завершала бюллетень. Вскоре походная типография напечатала остроумный памфлет в виде сатирического комментария 29-го бюллетеня, называвшийся «Размышление русского военного о 29-м бюл-  
летене». Листовка была с параллельными текстами самого документа и его русского разъяснения.

Автором памфлета, о котором современник писал «его рвут здесь из рук», был Михаил Федорович Орлов, неоднократно лично встречавшийся с Наполеоном, чем и в штабе Кутузова мало кто мог похвастаться. Этот памфлет не был первым и единственным. Их видимо существовало несколько. Известен нам лишь один – «Русский ответ на польский бюллетень», автор которого не установлен, но стиль, принцип подачи и анализа материала тот же. Так называемый польский бюллетень вовсе никакой не польский, его издал тот же Наполеон и издал в России. Просто экземпляр его попал к автору памфлета через Варшаву. «Польский» бюллетень, который был высмеян также и автором «Отступления французов», заострял внимание на здоровье императора: «он никогда не бывал в лучшем здоровье». Это после сражений в Малоярославце и под Смоленском! Писал бюллетень о том, что «поговаривают» о занятии французами зимних квартир, что «мехи, которыми покрылись солдаты, представляют странную пестроту», конечно, им недостает изящества.

Опровержение этого писания начинается с французской поговорки тех лет «лгать, как бюллетень». Здоровья императору, – догадывается автор памфлета, – видимо прибавило бегство и воздержание: «телодвижение… весьма споспешествует здоровью». Автор далее, противопоставляя здоровье одних нездоровью других, прибавляет: «…Судьба всех оставшихся солдат не мучила совести начальников, которые были уверены, что стужа поморит всех избегших меча и плена». При стольких смертях в армии нелепым выглядит само выпячивание здоровья императора. Высмеивает памфлет и ложь о «зимних квартирах». Зимние квартиры своим солдатам Наполеон приготовил на дорогах от Москвы до Вильны. О «недостатках изящества» в одежде французских солдат автор памфлета-пародии сказал с несатирической горечью и большой убедительной силой: «Видя гвардейского исполина, покрытого рубцами полученных им ран, иссохшего, подобно остову, от голода и усталости, коего голова покрыта женским чепцом, ноги обернуты шкурою, снятою с его ранца, который, прижав руки к подмышкам, старается привести их в движение, которого лицо превратилось в уголь от огня на бивуаках, где Наполеон держит его каждую ночь; видя, что сей ветеран оделся шкурою мертвячины, которая служила ему пищею, вы просто называете это *недостатком изящества*; вы дерзаете говорить о теплоте, когда жизненные силы замерзли в жилах ваших солдат! Какая гнусная, подлая насмешка!» Далее автор «польского» бюллетеня переходит от примера к призыву: «Слишком легковерные народы! Доколь ещё будут вас обманывать?.. Тешат вас ещё глупыми сказками! Воспряньте!»

Того же плана был и ответ на 29-й бюллетень. Так же, начиная памфлет, автор писал: «Репутация бюллетеней, и прежде не бле-  
стящая, пошатнулась ещё более, когда закатилась слава французской армии». И далее, в ироническом тоне: «После весьма содержательных замечаний о погоде, после календарных наблюдений, столь поучительных для военных, 29-й бюллетень пускается в длинное рассуждение, предназначенное для кавалерийских офицеров, об удивительном воздействии холода на французских лошадей». Если историки позже будут говорить, что Наполеон предпринял поход, который превышал его силы, – «Вздор! Поход этот превышал только силы его лошадей», – едко иронизирует памфлетист. В устах составителя французского агитационного листка несчастья отступавших вызваны не точным расчетом и умелыми действиями противника, а одним лишь непривычным холодом. «Мороз крепчал, а французская армия слабела», – высмеивает наполеоновскую логику Орлов.

Наконец, автор пародии вышучивает личную храбрость предводителя Великой армии, в решительный момент сбежавшего с поля боя под Красным: «Великий полководец потерял голову. Он пришпорил своего коня и скакал, не останавливаясь до самых Ляд. Маршал Даву, оставленный за командующего, предпочел присоединиться к своему повелителю в его стремительном бегстве, вспомнив, должно быть, что поклялся никогда не покидать его».

Переход через Березину французской армии, с большим тра-  
гическим надрывом описанный в бюллетене, русский оппонент называет насмешливо «великое чудо переправы через Березину».   
А на подробное изложение «упорных» сражений французов под Борисовом и при Березине, Орлов пишет: «Истинное удовольствие читать подробности об атаках неприятельской конницы, которая существует ныне только в воображении автора бюллетеня. С такой отвагой эти славные кирасиры разбили одну за другой 6 колонн пехоты. Никогда, даже в лучшие свои времена не совершали они подобных чудес; но чего не приходится ожидать от такой превосходной конницы! В то время как Вислинский легион углублялся в лес, чтобы ударить в наш центр (как будто в лесу можно образовать линию с центром и флангами), кирасиры взяли в плен 6000 человек и захватили 6 пушек. Заметьте: 6 в Борисове и потом 6 на Березине! Вот каковы наши противники: если уж берут пушки, то по полдюжины зараз. Правда, пожалуй, лучше бы им меньше отличаться при захвате наших пушек и больше заботиться о сохранении собственных». К этому Орлов добавляет, что императорская гвардия (так и не участвовавшая ни в одном бою), «всегда последняя в бою и первая в грабеже». Но ей не уступают в этом маршалы и короли-мародеры, переплавлявшие золото и серебро, сорвав его со святых икон. И на последнюю фразу, что здоровье его величества было «как никогда превосходным», Орлов отвечает: «Чего нельзя сказать об его армии».

Комментарии, как говорится, излишни. Народ – в низах и в верхах – радовался, читая такие блестящие, пышущие здоровым юмором и изысканно-ироническим анализом, памфлеты, разоблачающие лживую патетику наполеоновских агиток.

Пародия Орлова пронизана искренним презрением к полководческим амбициям непобедимого императора и одновременно неподдельным участием к солдатам, безжалостно брошенным на истребление хвастливым сочинителем собственных успехов. Отчаянная дерзость автора, сразившегося с сильным ритором и стилистом, каким был Наполеон, воспринималась всеми как продолжение военной битвы литературными средствами, и в этой битве проигравший войну проиграл как политик и литератор.

7 декабря в армию приехал император, но уже русский. Это сразу заметно по стилю «Известий из армии», они стали пестреть выражениями: «промысел вышнего Бога, карающий злодея, на ве-  
ру и честь покусившегося»; «высочайшее прибытие к ней государя-императора»; «появление обожаемого монарха»; «Его Императорское Величество слушал благодарственное молебствование», что было чуждо стилю Кайсарова. Вероятно и Андрей Сергеевич стоял в ликующей толпе, встречавшей царя, он не чужд верноподданнических чувств, но на всеподавляющее раболепское угодничество все же он не был способен. А неспособных быстро отдаляли. Таким образом, не заметив как, Кайсаров оказался директором лишь полутипографии, а именно: отвечавшим за листовки и все печатные издания, идущие за рубеж. Русские же «Известия» взял на себя, подобно Наполеону, хотя и с большим опозданием, сам император со своими бесчисленными секретарями.

В России уже не нужно было сражаться; и на русской публи-  
цистической ниве борцы, авторитетные литераторы не были нуж-  
ны. Даже заслуги Кутузова перестали играть роль, о какой-либо роли народных масс в защите отечества от врага и думать забыли; просветительская нота в публицистике сменилась верноподданнической. Вся война перешла не территорию Германии, Польши и других стран. Там нужны ещё были зажигательные, смелые, вполне демократичные убежденные агитаторы с передовыми общественными взглядами. Для них находилась ещё работа, и Кайса-  
ров работал.

Пока был жив Кутузов, он ещё пытался защищать свободу изданий и личную свободу действий сотрудников типографии. Прикомандировав типографию к авангарду Милорадовича, Кутузов таким образом удалил (ту ее часть, которая была оснащена станами для иностранных текстов) типографию от штаба и от глаз царя.

Разбрелись друзья: Жуковский заболел, Михайловский-Дани-  
левский ещё раньше выбыл по ранению, Пфуль стал начальником штаба партизанского корпуса Тетенборна. Однако, личная судьба в то время мало заботила Андрея Кайсарова. Он радовался успехам русских, мечтая о счастливых временах, когда война окончится, и царь поймет, что надо освободить от рабства российских крестьян, вместе с армией спасших Родину от нашествия врага.

Сохранилось последнее и единственное письмо Кайсарова во-  
енных лет к Иустину Евдокимовичу Дядьковскому, который тогда служил врачом в офицерском госпитале в Рязанской губернии; написано оно 14 января 1813 года. «Итак, в России война кончена. Сердце мое наполняется радостью за нашу отчизну. Она не упала под тяжестью посланных свыше испытаний, а ещё более поднялась. Мы можем с тобой гордиться тем, что в спасении нашего отечества участвовали все русские. Колосс свален, но не совсем. Ни один народ в мире не видел ещё народа, подобного нашему. Он готов был умереть, но не пасть перед всесветным завоевателем на колени. Наш народ вышел на битву с ним один на один сокрушить его могущество и величие.

И кого только не видел я, находясь при Главной квартире. И гвардейских, и армейских офицеров, и солдат, бившихся подобно львам, отважных партизан. Я видел и скромных учителей из уездных училищ, и надворных судей, и почтмейстеров, а вместе с ними и таких, как мы с тобой. Все они были полны мщения. Враг надругался над всем тем, что дорого нашему народу. Когда мы уходили из Москвы, нас провожали крестьяне, пришедшие из разных мест. Они просили у светлейшего милости дать им оружие для оберегания Москвы. В руках у многих из них были вилы. Война делалась всенародной… Кончится война и наступит мир. Государь не потерпит у себя под скипетром рабов. Он освободит свой народ, и у нас не будет крепостных. О, если бы это сбылось! Нет, я не должен сомневаться! Народ показал, на что он способен, и за это нужно его освободить от постыдного звания раба. Свободный народ наш укрепит силу своей отчизны; возвысит ее. Она станет богатой. Ее народ ещё больше развернет свои силы и дарования… И за это я хочу одного – отдать все, что имею, отчизне и не пострашусь пожертвовать за нее своей жизнью».

В письме к Дядьковскому сжато изложена вся программ армейского просветителя, чувствуется невыветрившийся дух летучих листков 1812 года, душою которых и был Кайсаров. Здесь понимание войны как общего и обязательного для всех русских дела. Здесь демократический тон, понимание роли крестьянина в войне, уважение к нему; Кайсаров восхищается бесстрашием крестьян, способностью к самопожертвованиям и благородством не хуже дворянского.

Для Кайсарова освобождение крестьян, как и прежде – очевидное дело. Война ещё больше обострила политическое зрение Кайсарова, столкнув его лицом к лицу с простым народом, за который он заступался до этого, имея представления о нем лишь теоретические.

Кайсаров надеялся, что царь поймет, оценит по заслугам вклад крестьян в победу над Наполеоном; разум, добрый разум и спра-  
ведливость победят. А царь во время этих размышлений Кайсарова лично вымарывал места в донесениях Кутузова, сообщающих о самостоятельности крестьянских действий. Крупные крепостники, окружавшие его, не позволили бы Александру I ни одного движения в сторону освобождения крестьян, хотя бы он этого и хотел.

Зарубежные походы русской армии вначале шли успешно, хо-  
тя союзники не спешили выставить свои объединенные войска против ещё боеспособного противника, который в спешном поряд-  
ке, во всяком случае проворнее, чем союзные России государства, пополнял и восстанавливал мощь своей армии. Из Вены пришло сообщение, что ранее июня 1813 года армия в Богемии не будет собрана. Австрия не вступала в дело, и русские одни несли тяжесть союзных войск, воюя на чужих, не всегда гостеприимных землях.

В конце февраля Кайсаров размножил в своей типографии воззвание Кутузова к германцам (возможно, последнюю свою листовку), а в середине апреля умер Михаил Илларионович Кутузов. Это событие, весьма горестное, некоторое время скрывали от всей армии, но рано или поздно печальное известие пришлось обнародовать. Андрея Сергеевича ничто больше не удерживало при штабе (тем более, что от штаба он давно удален в авангард), в то же время боевые офицеры были нужнее. Он вступил в действующую армию под начало брата, командовавшего корпусом летучих казаков генерала Платова, действовавшим на левом фланге союзников.

Александр I, которому Кайсаров посвятил диссертацию (хотя тогда это было ещё и необходимое разрешительное условие этикета) и на которого надеялся как на будущего освободителя крестьян, видимо без сожаления расстался с горячим поборником демократии. До Александра I доходили услужливые сплетни, касавшиеся Кутузова и его приверженцев, среди них одним из самых горячих популяризаторов тактики Кутузова был Андрей Кайсаров, вострубивший, всенародно печатным авторитетным словом об идее народной войны, народной самостоятельности и инициативы. У Кайсарова, как и у Кутузова, пока он был жив, было много врагов, о чем мы можем догадываться.

А. И. Михайловский-Данилевский писал Николаю Тургеневу 18 мая 1813 года об Андрее Кайсарове: «Душевно жалею его. Он имел в Главной квартире много неприятностей и, желая показать подлецам, какая разница между ним и ими, пошел и, храбро сражаясь, пал».

Скупое, но емкое красноречие письма намекает, сколь непростой была жизнь Андрея Сергеевича Кайсарова на войне, ибо он не всегда сражался с открытым забралом против очевидного врага, чаще приходилось сталкиваться с высокопоставленными разномастными бездельниками, ревниво бившимися меж собой за близость к особе главнокомандующего, которому они все вовсе и не были нужны; такие «баталии» не помогали, а мешали нормальной работе и не приносили душевного равновесия.

Русская армия до Дрездена еще, по взятой ранее инерции, продвигалась победно. 20 апреля (2 мая), через четыре дня после смерти Кутузова, французы перешли в контрнаступление и доби-  
лись побед на фронтах в нескольких странах.

В мае 1813 года к Дрездену с двух сторон одновременно прибыли Наполеон и Александр I. Это были люди разных военных дарований, что незамедлило сказаться на театре военных действий. Александр I беспрестанно вмешивался в дела Барклая де Толли. В результате Дрезден, взятый вначале небольшими силами и находчивостью русских, был ими быстро оставлен. Армия с боями отступала от Эльбы к Шпрее, от Дрездена к Бауцену и Гайнау, а затем к Герлицу – к тем самым, некогда славянским землям, древности которых Кайсаров изучал ещё так недавно. Теперь для воспоминаний не хватало времени. Французы загоняли русских в самый юго-восточный угол Германии. 10 мая под Рейхенбахом завязалось упорное дело. Французы обходили русских, громя из 500 орудий, но нигде не могли соединиться в кольцо для их окружения. К великой досаде Наполеона, он потерял трех генералов. Ночью русским пришлось ещё отступить по направлению к Герлицу. 14 мая в ожесточенном бою под Гайнау при наступлении отряда на неприятельскую батарею погиб Андрей Сергеевич Кайсаров, тридцати лет отроду. Словно о нем строки поэта:

*Душа сказала мне давно:*

*Ты в мире молнией промчишься!*

*Тебе все чувствовать дано,*

*Но жизнью ты не насладишься.*



Глава семнадцатая

Отечеству – последнее дыханье!

А

ндрей Кайсаров «покинул мир осиротелый» 14/26 мая 1813 года, когда Отечественная война закончилась и зарубежные походы русской армии шли к своему триумфальному завершению. Тело А. С. Кайсарова было доставлено в родное имение Волконских (девичья фамилия матери) с. Чирково Ряжского уезда Рязанской губернии и погребено в специально для этого выстроенном храме в честь иконы Знамения Пресвятой Богородицы в приделе Иоанна Предтечи. Церковь выстроила мать Кайсаровых Наталья Васильевна, которая позже и сама там была похоронена.

Подробности гибели Андрея Сергеевича противоречивы. «Нек-  
рология», помещённая в журнале «Сын отечества» (1813, № XXV), сообщает: Кайсаров убит 15 мая неприятельским ядром. Друзья, в частности, Александр Тургенев, считают, что он погиб 14 мая при взрыве порохового ящика. Ю. М. Лотман приводит воспоминания Бурдаха. Согласно им, в день гибели Кайсарова полк отступал, и Кайсаров был «охвачен таким отчаянием, что взорвал себя вместе с артиллерийским обозом, которым он командовал». То есть фактически Бурдах предполагает самоубийство, во что вообще трудно поверить, несмотря на то, что Андрей Сергеевич порой был неожиданным и импульсивным. Бурдах говорил об отступлении, что соответствовало общей обстановке событий мая 1813 года, в донесении же Барклая де Толли Александру I от 15 мая 1813 года были иные факты: «Генерал-майор Кайсаров, коему предписано действовать с партиею в тылу неприятеля, напал вчерашнего числа между Герлицом и Рейхенбахом на неприятельский парк, взял два орудия, заклепал оных шесть, взорвал патронные и пороховые ящики, убил начальника парка полковника Лало и генерала, за парком следовавшего, положил на месте более 300 человек и взял в плен 80 чел. К сожалению, убит в сем деле Дерптского университета профессор и Московского ополчения майор Кайсаров».

Каждый понимает: есть разница меж слепой стихией попада-  
ния неприятельского ядра; разрывом порохового ящика, который мог быть как случайным, так и преднамеренным; и – добровольным взрывом самого себя. Увы! Для нас эти нешуточные загадки теперь уж неразрешимы, они навеки слились в одно трагическое событие. Знавшие Андрея Сергеевича современники, чье сознание уже притерпелось к многочисленным потерям, не слишком остро восприняли его гибель. Тогда весь русский народ был ошеломлен другой смертью – смертью Кутузова, случившейся 16/28 апреля 1813 года.

В то время, когда Андрей Кайсаров, отчаянно сражаясь, шел к своей гибели, тело Кутузова, который столь недавно был «врагу ужасен», медленно возвращалось в Россию, в каждом селении и городе сопровождаемое сменными толпами народа. «1813 года мая 14 дня в пятом часу пополудни, – писал «Вестник Европы», – тело усопшего генерал-фельдмаршала князя Голенищева-Кутузова-Смоленского приближалось к Дерпту. Жители оного… отпрягали лошадей от одра, чтобы везти тело Кутузова на себе че-  
рез весь город… Был сильный дождь». По мрачной иронии судьбы именно в тот день, когда Кайсарова не стало, почитаемый им полководец и боевой соратник проследовал в последний путь недалеко от стен Дерптского университета, где так недолго профессорствовал Кайсаров.

О литераторах – участниках Отечественной войны 1812 года писал Сергей Глинка, рассказывая о Жуковском: «Пылкая душа окрылялась, видя сотоварищей юных дней своих, летевших на смерть или к победе. Мы не завидуем заграничным поэтам, всту-  
пившим в ряды новоополченных воинов. Пал и у нас на лаврах юный Кайсаров, обменявший кафедру русской словесности Дерптского университета на шум грозных битв. Батюшков, питомец сердца и граций, был под градом пуль, картечей; был ранен и снова готовился под знамена ратные. Князь П. А. Вяземский шел по следам своих друзей, и был на битве Бородинской. Тогда самоотречение было живою поэзиею души». Одна из дерптских газет писала о Кайсарове: «С гибелью этого одаренного молодого человека погибли для России, а также науки многие прекрасные надежды».   
В уже упомянутой «Некрологии» журнала «Сын отечества» тот же тон сожаления: «Отечество и науки много в нем потеряли. По   
первым трудам его можно было ожидать со временем ещё луч-  
ших. Мир праху его на поле чести». Автор «Некрологии» подпи-  
сался «Р». Под этим псевдонимом выступал друг Кайсарова А. Ф. Воейков. Сергей Тургенев в дневнике 29 мая записал: «Вчера слышал я, что Андрей Сергеевич Кайсаров убит, чему я не верю. Это известие меня поразило».

Жуковский в июле 1813 года делился своими чувствами сожаления и огорчения с Александром Тургеневым: «О брате Андрее я погрустил. Славная, завидная смерть! Мигом ношу в прах! Надобно друга и товарища помянуть стихами. Напишу и доставлю к тебе. Прощайте друзья». В другом письме, 2 сентября, добавляет: «…Стихи на смерть нашего Андрея будут написаны и посвящены тебе. Твой Жуковский».

В этих письмах упоминается цитата: «мигом ношу в прах!» Это из «Певца во стане русских воинов». Видимо, Жуковский ассоциировал самую яркую память о Кайсарове с созданием этого стихотворения в дни Тарутина, стихотворения, которое принесло ему славу русского национального поэта. Ведь Жуковский написал его под влиянием страстного публициста, влюбленного в русскую национальную культуру и древнюю историю, Андрея Кайсарова, отчасти влияние оказало и стихотворение Мерзлякова «Слава». В благие патриотические сентенции Кайсарова и Мерзлякова влился свет гения Жуковского и результат ошеломил всех.

Строфа, строчку из которой процитировал Жуковский, посвящена мгновенной славной гибели героя на поле битвы, гибели, которой можно только завидовать, ибо герой с возвышенной чистой душой сильным и молодым с поля битвы шагнул прямо в бессмертие.

*Бессмертье, тихий, светлый брег;*

*Наш путь – к нему стремленье.*

*Покойся, кто свой кончил бег!*

*Вы, странники, терпенье!*

*Блажен, кого постигнул бой!*

*Пусть долго, с жизнью хилой,*

*Старик трепещущей ногой*

*Влачится над могилой;*

*Сын брани мигом ношу в прах*

*С могучих плеч свергает*

*И, бодр, на молнийных крылах*

*В мир лучший улетает.*

По сути, Жуковский в стихотворной форме изложил всем известную истину: любимцы богов умирают молодыми.

Что характерно, у Александра Тургенева память о Кайсарове также ассоциировалась с «Певцом во стане русских воинов». Позже, в двадцатые годы, путешевствуя по Германии, «в областях Кродо и Радегаста» (боги из «Мифологии» Кайсарова), и слушая лекцию на тему славянских древностей ученого Людена, Тургенев записал в своём дневнике: «Эта лекция напомнила мне путешествие по Гарцу с незабвенным, ранним другом, Андреем Кайсаровым: он тогда тем же предметом занимался, но с большим успехом. Возвратившись с Гарца, с высот Брокена, прославленного ведьмами и стихами Гете, и познакомившись с классическими местами славянской и германской языческой древности, он написал «Опыт славянской мифологии»… При весьма слабом знании сначала немецкого языка, мог сделаться немецким автором и получить право гражданства в Лейпцигском каталоге! Впоследствии немец Аллер перевел его книгу на русский язык! Я всегда жалел, что не мог ещё бросить цветка на гроб моего Агатона! Жизнь его прошла в сильных впечатлениях и в грустных предчувствиях сперва в Москве, потом вместе со мною в Гёттингене, на Гарце, в землях славянских и в Венгрии и в Венеции. Мы расстались в Вене; я возвратился на родину, потеряв брата, друга его; Кайсаров – в Гёттинген. Кончив там академический курс, он поехал в Англию, в Шотландии сделали его гражданином города Думфриса, в России – профессором русской словесности в Дерпте. Отсюда, вопреки моему предчувствию, неодолимое влечение, в самом пылу народной войны умчало его от тихих муз в стан воинский, где Кутузов, по его предложению, устроил походную типографию. Но перу ещё не было дела в стане русских воинов; в Андрее Кайсарове снова загорелся дух воинский, и, в отряде брата, взлетел он на воздух с пороховым ящиком! Мир рассеянному праху твоему, мой милый, ранний, незабвенный друг!»

Стихи, о которых Жуковский упоминал в своих письмах, по-  
священные памяти Кайсарова до нас не дошли, а может и не были написаны. В бумагах Жуковского, в перечне задуманных им стихотворений, встречаются заголовки: «На смерть Кутузова. На смерть Кайсарова». Эти две смерти у Жуковского соединились в одну, как и у каждого, знавшего их обоих. Однако Жуковский в 1814 году написал стихотворение «К Воейкову», где вспоминал о времени «поддевических» собраний,

*…Когда мы – гости молодые*

*У милой жизни на пиру –*

*Из полной чаши радость пили,*

*И «счастье наше!» говорили*

*В своем пророческом жару…*

Здесь есть грустные строки об ушедшем друге:

*Один уходит за другим;*

*Друг, оглянись… ещё нет брата!*

*Час от часу пустее свет;*

*Пустей дорога перед нами.*

К слову «брата» есть примечание (см. Полное собрание сочинений под ред. Краснева, Вольф, СПб/Москва, стр. 83), надо предполагать, самого Жуковского, так как стихотворение издавалось при его жизни: «Поэт говорит здесь о незабвенном Андрее Сергеевиче Кайсарове, убитом в сражении с французами…» Друзья любили и помнили Кайсарова. Через год после его смерти Александр Тургенев, разбирая бумаги, натолкнулся на его письма. Он сообщил Жуковскому 27 августа 1814 года: «Знаешь ли, что я, запершись от людей, дня три на этой неделе делал? Перечитывал доставшиеся мне, наконец, остальные бумаги брата Андрея, письма и записочки к Андрею Кайсарову 99 и следующих годов. Сладкия и горестныя минуты!»

В 1818 году попал в руки Александра Тургенева дневник Кайсарова (ныне утраченный), и он написал Жуковскому 12 февраля: «Минувшее для меня воскресло… Там вся наша молодость! Молодость! Давно уже так живо не ощущал я, весь журнал Андрея Сергеевича наполнен огненною дружбою к брату, и память Кайсарова сделалась для меня с тех пор священнее. Есть удивительные предчувствия. Я плакал от грусти самой тихой и радовался слезами своими, которыя давно уж, казалось, иссякли». Да, Кайсаров мог вызвать такие искренние чувства, ибо умел быть открытым. Шутка вдруг переходила в нравоучительный пример, в высокую мысль, в глубоко грустное замечание.

В 1834 году заехал в Дерпт, возвращаясь из-за границы, Иустин Дядьковский. Посетив университет (при нем была, как известно, и больница, что Дядьковского, как врача, интересовало), он был охвачен воспоминаниями о Кайсарове, которые вылил в письме к другу своему и пациенту Н. В. Станкевичу: «Вы и разумом своим, и лицом, и сердцем напоминаете мне человека, столь любимого мною в мои прошедшие года. Меня, безвестного, обласкал он, снабдил книжными пособиями и впредь приказал со всем, в чем будет надобность, обращаться к нему. Имя его Кайсаров. Он, братья Тургеневы и Жуковский, будучи в ту пору всегда вместе, только и искали, кому сделать добро. После бесед с Кайсаровым я головой выше становился. Та дружба, которая была у меня с ним, никогда не будет забыта мной; я горжусь ею!»

Однако же получилось так, что никто из друзей Кайсарова – ни Жуковский, ни Александр Тургенев, ни Михайловский-Дани-  
левский, писавшим о многих участниках войны 1812 года, ни Мерзляков, ни Дядьковский не оставили о нем серьезных воспоминаний. Лишь Воейков, которого многие бранили, написал о Кайсарове две, хотя и небольшие, биографического характера заметки. Одна, уже названная, – «Некрология»; другая опубликована к 25-летию (которое кроме Воейкова, может быть, никто и не отмечал) памяти Кайсарова в «Русском инвалиде» в 1838 году (№ 228) – «Воспоминания о незабвенном А. С. Кайсарове». Информация здесь во многом идентична тому, что было в «Некрологии». Важна сама память о друге, которого уже все забыли. Оба они были просветителям, единомышленниками, это их роднило. Во время Отечественной войны они часто бывали вместе.

В 1814 году Воейков занял кафедру своего друга в Дерпте, стал профессором. Хотя Александр Федорович не имел тех блестящих способностей педагога и красноречивого оратора, коими обладал Кайсаров, в душе все же Воейков считал себя его преемником. С Кайсаровым у Воейкова связывались самые лучшие воспоминания молодости.

Братья Андрея Сергеевича прожили свой век по-разному.

Паисий Сергеевич Кайсаров сражался с французами до полной победы. В свите царя, как и брат Петр, он въехал в Париж. После войны был награжден орденами Георгия третьей степени и Анны первой степени с бриллиантами и золотой шпагой. Его портрет помещён в галерею героев Отечественной войны 1812 года в Эрмитаже среди других, выполненных Д. Доу. Его имя было выбито на стенах храма Христа Спасителя.

Женившись в 1815 году на родственнице саратовского губер-  
натора В. С. Ланского (тогда уже бывшего) и своей соседке по тамбовскому имению Варваре Яковлевне Ланской, он стал помещиком Тамбовской губернии, но службы не оставил. В 1826 году Паисий Кайсаров – сенатор. В 1829-1831 участвовал в Турецкой войне в качестве начальника штаба Первой армии. В 1831 году с войсками Третьего пехотного корпуса подавлял польский мятеж. Держал в блокаде крепость Замостье, пока она не сдалась. Словом, верой и правдой служил царю и отечеству в чине генерала от инфантерии. Умер в 1844 году.

Михаил Сергеевич Кайсаров был одаренным переводчиком, знавшим многие языки. В 1804-1807 годах в Петербурге в шести частях вышли его переводы Стерна «Жизнь и мнение Тристама Шанди». Но основные средства на содержание семьи Михаил Сергеевич зарабатывал, служа по гражданской части, сперва в государственной коллегии иностранных дел, затем – по линии внутренних дел, полиции и финансов, и последняя его должность – директор департамента мануфактур и внутренней торговли. Люби-  
мый брат Андрея Сергеевича обладал знаниями политэкономии, технологии, сельского хозяйства, истории. Он, как и брат Андрей, занимался одно время крестьянским вопросом. В 1805 году (как раз тогда, когда Андрей Сергеевич начал писать свою диссертацию об освобождении крестьян) в России побывал англичанин Артур Юнг, вызванный сюда как специалист по сельскому хозяйству (сын писателя и известного специалиста по сельскому хозяйству), его помощником назначили Михаила Кайсарова, в течение нескольких лет они с Юнгом обследовали состояние помещичьих хозяйств, быт и условия жизни крестьян многих губерний России. Материалы, собранные и обработанные ими были представлены правительству Александра I в 1809 году, но не обнародованы. Их частично использовал в своих записках по крестьянскому вопросу Л. Якоб. Позже, в 1821 году Михаил Кайсаров участвовал в организованной Румянцевым экспедиции, обследовавшей города Чердынь и Соликамск – быт, экономику, культуру этих отдаленных тогда земель. Михаил Кайсаров, совместно с Яхонтовым, переписал несколько старинных книг, видимо, летописей этого края за 1579-1625 годы. Рукопись, переписанная ими – «Скитское покаяние – раскольничьи рукописи», попала в собрание Румянцевского музея и опубликована Румянцевым в сборнике «Древние государственные грамоты, собранные в Пермской губернии» (СПб., 1821). Будучи слаб здоровьем, Михаил Сергеевич умер в 1825 году, сорока пяти лет.

Петр Сергеевич Кайсаров, которого в семье не очень любили, был богатым чиновником, оберпрокурором правительственного сената, занимал другие крупные государственные посты, обладал консервативными взглядами. Он прожил дольше всех – до 1854 года, значительно расширив свое хозяйство и преумножив богатства. Автор «Истории родов русского дворянства» П. Н. Пет-  
ров писал: «Петр Сергеевич Кайсаров, сенатор (2-го департамента сената), тайный советник – самое заслуженное лицо из представи-  
телей фамилии», далее перечисляя владения и называя число крестьян, их составляющих. Так, веривший лишь в материальные авторитеты весомых наследств, историк ввел в заблуждение потомков, представив им как «самое заслуженное лицо» человека, мало чем рисковавшего для отечества, чиновника высокого ранга. Имена же других братьев из статьи Петрова о роде Кайсаровых совсем исчезли.

Том «Нового энциклопедического словаря», вышедший после «Истории родов русского дворянства», сообщает, что эта ветвь рода Кайсаровых прекратилась, «и фамилия их передана в 1860 г. барону дю-Буаде-Роман». Барон же этот – немец – получил в наследство, женившись на дочери Паисия Сергеевича Наталье Паисьевне, любимые кайсаровские деревни Барановку, Дарьевку, Андреевку в Аткарском уезде Саратовской губернии.

Горький итог! К нему присовокупляются и другие потери. Все записи, которые делал Андрей Кайсаров во время военных похо-  
дов, вместе с ним взлетели на воздух или потеряны. Исчез единственный верный документ, проливавший свет на его гибель, – рапорт Паисия Барклаю де Толли о сражении 14 мая 1813 года; юношеские дневники утеряны; куда-то делись многие документы из Дерптского университета, свидетельствовавшие о подробностях его творческих и научных трудов, а те труды, что дошли до нас, не переиздавались чуть ли не двести лет. История полна парадоксов. Так, например, современники наши и теперь могут найти в галерее Доу в Эрмитаже среди героев Отечественной войны 1812 года портрет ловкача-взяточника А. А. Панчулидзева (сына), который во время войны участвовал всего лишь в двух-трех сражениях «в арьергардных делах», а чаще в период войны (имея высокие протекции) был флигель-адъютантом его императорского величества, но портрета Андрея Кайсарова там нет только потому, что он погиб раньше, чем начала создаваться галерея.

Кайсарова постигла суровая участь безымянного воина! Чисто русская горькая судьбина!

Если бы не его литературные труды, мы, возможно, сейчас о нем мало что узнали.

Андрей Сергеевич Кайсаров оставил нам духовное наследство. Небольшое, но яркое и активное по внутреннему пафосу просвети-  
теля, созидателя, верующего в Россию. Кайсаров был горяч, неспо-  
коен, всегда взволнован, и волна этой взволнованности, любви к соотечественникам докатилась и до нас. Он словно хотел докри-  
чаться до своих единомышленников и через 200 лет. Монументально застыл на бумаге его живой, то веселый, то грустный голос. Теплая, добрая лирическая интонация, благородные порывы, чутье на правду и искреннее желание донести её до нас, могут теперь дать нечто не только уму, но и сердцу и сохранить в нашей национальной культуре не только информацию, но и феномен взволнованного голоса героя минувшего времени.

Творчество Кайсарова далеко не идеально. Да, он порой ошибался, иная логика развития идеи заводила его в тупик, приходилось возвращаться, а иногда для такого возврата уже не было времени.

Он мечтал об организации широкой просветительской деятель-  
ности, о серьезном изучении славянской и российской истории, о возрождении интереса к русскому языку. Кайсаров стоял у истоков отечественного славяноведения. Много усилий приложил он к борьбе за человека, его личное и гражданское достоинство.

Его попытки в науках и общественной деятельности были во многом первыми – в создании словаря славянских мифов, древнерусского словаря, сравнительного словаря славянских наре-  
чий, в преподавании русской истории в памятниках языка, в том, что он первый из дворян вел обучение на русском языке, в организации крупного пропагандистского центра при штабе русской армии, значение которого переоценить трудно.

Работоспособность молодого ученого, жадность к деятельно-  
сти, любознательность, творческая страсть, неудержимая тяга к изучению истории и культуры своего отечества – поистине редкостны, и послужить бы им примером для нынешних нелюбопытных литераторов российских. Кайсаров был человек яркий, страстный, увлекающийся. Он был из плеяды просветителей-пионеров, ибо поднимал целину отечественной филологической науки и, если пропахал ее не столь глубоко, – то виной тому лишь краткие лета, отпущенные ему природой.

Свою бешеную энергию, сгоревшую так интенсивно, неиссякаемое трудолюбие, бойцовский темперамент и полемический задор вылил он в пропагандистскую деятельность в период Отечественной войны 1812 года. Ведь не только им командовали, не только Кайсаров выполнял распоряжения штаба, но и он влиял авторитетом знаний, демократической убежденностью, искренностью даже на крупных военачальников, таких, как Кутузов, Барклай де Толли; и таких самоценных литераторов, как Жуковский. Кайсаров и его окружение – это активные участники эпохи просвещения; все они, в большей части, прекрасно образованные люди, писали стихи, письма (на нескольких языках), дневники, переводили. Это люди культуры, люди мысли, они не шли по проложенным предыдущими поколениями рельсам, они искали путь. Все они были философами, политиками, гражданами-патриотами.

Наш читатель вправе сказать: есть люди, имеющие больше заслуг перед отечеством, чем Кайсаров. Есть! Но, если мы говорим: «Никто не забыт, ничто не забыто», – это относится и к той войне, и к тем воинам. Герои Отечественной войны 1812 года, ненагражденные (тогда ещё не было принято награждать посмертно), забытые и мало успевшие в жизни оттого, что прожили немного, не должны превращаться в прах памяти народа, чье существование, благополучие, славу они отстаивали почти два века тому назад.

В грозном, переломном, тяжелом для страны 1943 году, в холодной полуопустевшей Москве вышла книга С. Н. Дурылина «Русские писатели в Отечественной войне 1812 года». Среди этих писателей было имя Андрея Сергеевича Кайсарова. ещё раз, через 130 лет после гибели Кайсарова, пример его высоко духовной жизни и личного подвига включался в активную борьбу за отстаивание отечества от врага, способствовал подъему воинского духа русских.

Приложение



# Андрей Кайсаров

**Саратовские безделки**

/Полностью публикуется впервые/

*Иные говорят: Бог весть как он умен!*

*Другие думают: не спятил ли уж он?*

**На обрезанную косу душеньки**

Вчера еще Амур1 резвился

У милой Душеньки в кудрях,

Вчера он ими веселился

И в русых путался цепях.

Вчера и грации2 сбирались

Густую косу убирать

И всеми силами старались

Ей нову красоту придать,

Вчера прекрасная являлась

Как некая богиня в свет,

И вымолвить лишь воздержалась:

«Меж вами мне подобной нет!»

Но вдруг железо заблистало,

И вмиг – как не было косы!

Зефиров племя3 возрыдало,

Падут со вздохами власы!

Вчера была еще богиней,

А ныне – смертная лишь ты,

Вот как мгновение едино

Все рушит замыслы, мечты!

Вот нашей жизни скоротечность!

Затеям нашим вот урок!

Сегодня славится здесь честность,

А завтра властвует порок.

Сегодня думаешь ты счастлив,

И думаешь быть счастлив век;

Но завтра – чуть лишь день ненастлив –

И ты прежалкий человек!

Сегодня славился порфирой4,

А завтра – где ты, полубог?

Вчера звучал ты громкой лирой,

А ныне впору и гудок.

Вчера еще и я гордился

Плениры ласковым «Люблю!»

Но ветер вдруг переменился –

Сегодня – плачу и терплю.

Увы! нас всех судьба муштрует,

И всяк имел от ней щелчок!

Иному бороду раздует,

Иному с места вырвет клок.

Кого стрижет, кого ерошит,

Кому в сердцах забреет лоб,

Иного вовсе растормошит,

Отпустит лысым и во гроб!

Как злобная сноха золовку,

Желая уязвить, ей льстит.

Иному так судьба головку

Разгладит, маслит и ершит;

А он и думает, что паном

Назначено ему прожить:

Один толчок – бедняк болваном

По лестнице на низ катит. –

Управиться с судьбой не можно,

Против рожна не можно прать5!

Коль хмурится она, так должно

Теперь сидеть, погоды ждать.

Косы волнистой остриженье

Да будет вам в пример, друзья.

Узнайте здесь вы поученье:

«Есть всякому судьба своя!»

И Душенька, теперь остригшись,

Хотела вид свой пременить;

Судьба велела, рассердившись,

И без косы ей милой быть.

\*\*\*

Прекрасно жить на этом свете,

В руках быть мачехи – судьбы!

Она имеет то в предмете,

Чтоб люди делались умны.

**Старинная песнь для новомодного альбома**

Старички почтенной древности,

Наши дедушки и бабушки!

Ах! когда б хоть на часок один!

Вы в Святую Русь явилися,

Что б за странности увидели!

Как чудесят ваши правнуки!

Как бы вы, всплеснув обеими,

Взвыли громким, горьким голосом:

«Ах ты свет, наша Святая Русь!

Как совсем ты перковер

Басурманские обычаи

Принесла земля крещеная!

Не одни фаты и фартуки,

Телогреи с сарафанами,

Не одни кафтаны русские,

И горлатны1, черны шапочки

Бросили они беспутные!

Нет в них сердца, нету русского,

Нет родного, нет ни кровного,

Нет ни дружбы, ни любови в них!

Ах! бывало девка молодцу

Скажет: «Ваня, я люблю тебя!»

Молодец уж не кручинится:

Девка рада хоть во гроб за ним!

А зато уж и парень-то

Девку любит верой правдою,

Из огня и из полымя

Выхватит свою лебедушку!

А теперь уж все по-новому –

Малый бесом рассыпается,

А на думе все непутное:

Сломит розу – да и был таков!

Девка плачет, надрывается,

Коротает свою молодость,

А бездушный насмехается:

«Ну вольно было ей верить мне!» –

В старину бывало друга нет,

Сердце ноет, сокрушается:

Тяжко жить ей в одиночестве!

Свет не мил без друга милого!

А зато как уж найдешь его,

Вовсе солнышко прекрасное,

Вовсе птички веселей поют,

И цветочки, и муравушка –

Как-то все уж не по-прежнему!

И в печали, и в веселии

Делишь сердце с другом надвое,

А теперь уж и по крошечке

Срдца для друзей не станется:

Их считают не десятками,

А всё сотнями да тысчами.

Есть ли деньги – и друзей тогда полно,

Есть веселости – как мухи к меду липнут!

А приди злодей-невзгодушка – тогда

Все рассыпется – и след друзьям простыл!

Ах! бывало друга милого

Имя на сердце написано!

А теперь – ну как запомнить всех?

Поголовную им перепись,

Надо им приход, расход вести.

О! беспутные вы внучаты!

Ведь на то-то вам альбаумы2

Басурмане ввозят кучами!

Уж хоть бы вы в альбаумах,

Как бывало мы в часовниках3,

Доброму чему училися;

Но и этой нету радости

Вашим дедушкам и бабушкам,

Ах ты свет, наша Святая Русь!

Как совсем ты перковеркалась!

Старички почтенной древности,

Наши дедушки и бабушки!

Вы утрите слезы горькие,

Вам слезами не поправить нас!

Ах! я с вами, внук почтительный,

Должен вместе за толпой идти!

Мне Всемила написать велит

Что-нибудь в ея альбауме,

Как обычаев нейти мне всех?

Как Всемилы не послушаться?

Вот, Всемила, тебе песенка –

Старомодная, неновая,

Если будешь ты когда-нибудь

В книжке листики рассматривать,

Если очередь меня дойдет,

Ах! прочти тогда и мой листок!

Поневоле тогда вспомнишь ты,

Что и я когда-то в свете жил.

Может быть тогда, задумавшись,

Скажешь тихо: «Он любил меня!

– А любить ведь не грешно ничуть,

Сам Небесный Царь любить велит. –

Он любил меня душою всей,

Рад был жизнью мне пожертвовать.

Этот листик написал он мне

В самой день мово рождения;

Хоть далеко он отсюда был,

Но душа его со мной была

Он желал мне счастья, радостей,

Он желал мне ввек веселой быть,

Чтоб здоровье разливалося

По всем жилкам и составчикам;

Чтоб я в вечной цвела младости

Гордо, пышно – словно маков цвет!

Чтоб смеялась людским глупостям,

Пересудам их и зависти;

Чтобы сердца всегда слушалась –

Сердце злому не научит нас.

Он желал мне – ввек Всемилой быть!»

*Пенза, сентября 22 [1809]*

**К Всемиле**

Скажи, Всемила, что за странность

Во храме1 вижу я твоем?

Иль чудная разнообразность

В воображеньи лишь моем?

Смотри! Там фузик за бостоном2!

Летуча мышь порхает там!

А там любовь печальным тоном

Нептунов сын3 вещает нам!

А там – и Цицерон4 несчастный

Задумавшись в углу сидит,

К тебе возводит взор свой страстный

И – слово новое родит!

Тебя преузорочной, преблагою,

Доброт вместилищем зовет;

Но, будучи гоним судьбою,

Вдруг уголовной суд клянет.

А там – Гаврильич5 с смуглой харей,

С курчавой головой стоит,

Саратовских пренебрегает тварей,

Московский погреб в нем бурлит.

А там – и Асмодей бездушный6

В раздумьи, в грусти углублен,

Повсюду мечет взор свой скучный;

Понеже Асмодей влюблен.

Влюблен – но страсти сильный пламень

Монетами, не ей горит;

Пленира будет вечно камень,

В нем Дьявол донеже сидит.

А там – обшита королями,

Валетом, двойкою, тузами,

Вся в бубнах, винах и жлудях

Любовь7 вздыхает – о рублях!

А там Кайсаров8 в уголочке

С брюзгливой харею сидит,

Язык он держит на цепочке,

Хоть пунш болтать ему велит.

Всемила! Ты сама сказала:

Когда влюблен – зевает он.

Когда вздыхает – ты узнала,

Что спать желает Селадон9.

А там – но кто пересчитает

Все множество оригиналов сих,

Которо всякой день вмещает

Твой чудный храм в стенах своих?

Но всех сих сборище антиков10,

Вся галерея чудаков,

Кунсткамера сих разных ликов,

Пол-умных, умных, дураков.

К тебе все руки простирают,

В разноголосицу всяк хочет петь,

Но все они одно вещают:

Всемиле милой равной нет!

*Сентябрь, 16[1809]*

**Экспромт А. Н.,**

**жаловавшейся на злоречие саратовской публики**

Вчера Лилея воздыхает:

Как злоречив, несносен свет!

Ах, видно, Лилея не знает,

Без зависти – лишь мухомор растет!

*Сентябрь, 18[1809]*

**Ответ Фекле на ее любовь**

Если б ты была Лилея,

Я бы – розою дышал,

Как бы я тебя лелея

К сердцу страстно прижимал!

Ароматы бы смешались

Твой и мой, в один состав,

Все б пастушки восхищались

Нашу связь с тобой узнав;

Ты бы мною веселилась,

Я гордился бы тобой;

Жизнь бы наша прокатилась

Тихой ясною струей!

Но увы! Судьба хотела

Нас навеки разлучить!

Флора1 в гневе повелела

Нам с тобой в разлуке жить!

Ты родилась мухомором,

Я – полынию росту,

Ты своим мертвишь всех взором.

Горько от меня во рту.

Брось же, Фекла, не трудися,

Не желай меня прельстить,

Злой судьбине покорися –

Нам в разлуке длжно жить!

Рассуди ты беспристрастно:

И полынью быть нещастно:

Так на что ж мне мухомор?

*Сентябрь, 18[1809]*

**Надгробная**

**от молодого влюбленного историка**

**творениям русских историков**

Татищев1 и Болтин2! Вы скрылись!

И Шлецер3 сам в углу лежит!

Вы прахом от **любви** покрылись,

**Отчаянье** вас воскресит!

*Сентябрь, 19 [1809]*

**Изъяснение любви приказного**

Понеже в справках предъявилось

И самый суд определил,

Чтоб сердце бедно покорилось,

И Асмодей1 тебя любил;

Понеже – взявши в уваженье

Судеб жестоких приговор,

И рассмотрев определенье,

Которое ссудил тот вор,

Что славится здесь Купидоном2,

Лишь каверзы одне творит,

И в уголовном свете оном

Делами всякими крутит;

Понеже – в день созданья света

Указ верховный состоял,

На коем значится отмета:

«Любовь чтоб каждый испытал!»

Понеже – сердца в уложеньи

Параграф первый тож гласит,

Что должен по узаконенью

И даже Асмодей любить!

Причин сих ради приказали:

Любовь мне милой объявить,

И декларацью предписали

Самой Пленире сообщить.

Законов в силу поступая,

Сам ведать я тебе даю,

Чтоб под сукно не отлагая,

Решила ты судьбу мою.

Чтоб сердце ты благоволила,

Законно справив, отказать,

Иль приговором положила

С меня закладную в нем взять;

Чтоб завтраками не кормила,

Сказала скоро мне ответ.

Понеже знай, тиранка мила,

Сухая ложка рот дерет!

**Рецепт от истерики**

***перевод английских стихов леди Монтегю***

Зачем ты, Делия1, от света удалилась?

Зачем стараешься без пользы жизнь вести?

Давно тебя толпа любовников хватилась,

Не думав Делию за святцами2 найти.

Зачем унылой взор на небо обращаешь,

Желая воскресить Дамона3 своего?

Ужель умершего ты участи не знаешь?

Уж черви скушали Дамона твоего!

К уборному столу ты снова обратись,

Совет у зеркала старайся испросить;

Не мучься, Делия, слезами не кропись –

Испортив личико, ответ не оживить!

Подобно, как и ты, я женщиной родилась,

И знаю, что у нас истерикой слывет:

Как скоро женщина с любимым разлучилась,

Истерики ее ничто уж не уймет.

Нравоучением напрасно нас желает

От бед истерики угрюмый свет лечить;

Сыщи ты юношу, который страстно тает,

Пригож собой, умен – и знает как любить;

Поутру всякой день часок иль два послушай,

Что будет он тебе, вздыхая, говорить,

Лекарства этого и на ночь ты откушай,

Я знаю – мой рецепт наверно исцелит!

*Октябрь, 3 [1809]*

**Надежда**

Надежда! Ты моей богиней

Была, когда и я мечтал, –

Когда любезною Эльвиной

Мой страстный дух во мне сгорал!

Эльвины нет уж для меня!

Надеждой сладкой наслаждался,

Когда Рослава я нашел;

Но он увял, – а я остался –

И сладкий сон опять прошел!

Рослава нет уж для меня!

Надеждою душа питалась,

Когда Всемилу я любил;

Я мучился, она смеялась, –

И томный дух навек уплыл!

Всемилы нет уж для меня!

Я строил замки – разрушались;

Я снова строить начинал.

Мои мечтанья миновались,

Я телом и душой увял!

Теперь в развалинах стою!

Корабль стремится чрез пучину –

Ветр снасти и ветрила рвет:

Он не брежет свою судьбину –

Надежда вместе с ним плывет:

На что ж и кормчий для него?

А мой челнок куда несется?

Где будет пристань для него? –

Еще надежда остается

Несчастному пловцу его –

И для меня могила есть!

*Сентябрь, 17[1809]*

**Два экспромта на табакерку**

I

И счастье, как табак, со смертными играет:

Иного веселит, иной до слез чихает!

II

Жизнь наша только сон; родясь все засыпают;

Счастлив, кого табак, не слезы пробуждают!

*Ноября 20 [1809]*

**Перевод итальянской песни**

Бедное сердце, терзайся!

Навек надежда прости!

Кем я одним лишь дышала,

К гробу тот кажет мне путь!

Кто обо мне пожалеет?

Слезку уронит ли кто?

Если друг сердца изменит,

В ком нам отрады искать?

Почто ж не отнял жизни?

На что мне и жизнь без тебя?

Иль думаешь, можно

Сердцу без друга дышать?

Слушал последнею клятву,

Милый изменник души!

Верной останусь до гроба!

Буду за гробом любить!

*Ноябрь, 17 [1809]*

**Два вольных переложения церковных песней**

I

***Свете тихий святыя славы***

О тихий свет святыя славы!

Отца бессмертного Небесный Сын!

Который нам своей державы

Любовь залогом положил!

О Сын послушный, агнец кроткий,

Превыше ангел человек!

В юдоли сей плачевной, горькой

Как Бог окончил ты свой век!

Прошедши дневное теченье,

Узрев последний солнца луч,

Тебе сердечное моленье,

Тебе приносим жертву душ.

Отца со страхом величаем,

С любовью Сына мы поем,

И с удивленьем созерцаем

Живущего мы Духа в нем!

Достойны вы быть петы вечно

От лика ангелов святых;

Но и хваление сердечно

Примите гласов вы людских!

*Октября 8 [1809]*

II

***Господи! Воззвал к тебе: услыши мя!***

К тебе, Господь, в сердечной скуке

Воззвал я, с страхом вопия:

Услышь меня в жестокой муке,

В тебе надежда вся моя!

…Услыши, Господи, меня!

Услыши, Господи, молитву,

Внемли прошенью моему:

Когда страстей смиряя битву

Бегу к покрову Твоему,

…Услыши, Господи, меня!

Души унылой воздыханье

Отец! Как фимиам прими!

И рук несмелых воздаянье

Как жертву вечера возьми!..

…Услыши, Господи, меня!

*Саратов. 1809. Октября 10.*

**Стихи**

**по случаю лихорадки А. Н.**

Если Боги посылают

Нам печали и беды,

Нас исправить тем желают,

И отвлечь от суеты.

Нас с друзьями разлучают,

Научить хотят лишь тем,

Чтоб друзьями обладая,

Предпочли их благам всем.

Коль изменой испытают

Дружбу и любовь твою,

Тем они тебе вещают:

«Верен будь по смерть свою!»

Если иногда болезни

Здравый утешает жар,

То уроки эти слезны

Учат нас хранить сей дар.

Ты умна, добра, прелестна,

Ты подобна лишь себе!

Милая душа небесна!

Так на что ж страдать тебе?

Ах, отдай мне все печали,

Слезы и болезни все!

Пусть меня бы угнетали

Наяву и в самом сне;

Пусть бы радость истребилась

Навсегда в душе моей,

Пусть отчаянье б вселилось

И осталось вечно в ней;

Пусть цвет здоровья увядает,

И мертвеет жизнь во мне,

Пусть то в жилах всё хладеет,

То сгорает кровь в огне.

Если смерти ангел милый

Посетит меня тогда,

Если с телом дух унылый

Разлучит он навсегда;

Смерти ангела же встретить

Будет счастье для меня,

Если он меня уверит,

Что терпел я за тебя!

*Ноябрь, 19 [1809]*

**Прости Саратову**

Итак, готово все? Никита1! Шубу мне!

Уж это говорю я въявь, а не во сне.

Пора, брат, со двора! Пора в Рязань2 пуститься,

Поплакав, потужив, с Саратовом проститься.

Не вечно ведь, дружок, и маслице коту,

Бывает иногда великий пост в году.

Итак, поедем же! – но нет, не торопися!

Я с благородными, ты с чернию простися!

«Прости, полдюжина почтеннейших мужей3,

Плюмажем4 скрывшая ослину стать ушей!

Кто солью, кто вином по силам управляя,

Ни соли, ни вина отнюдь не презирая,

Не брезгаете вы, чтоб ими провонять:

И солью, и вином ведь можно дом собрать!

Пускай глупцов толпа вам вечно повторяет,

Что вора, как огня, всяк честный убегает,

Но вы не слушайте: все это лишь пустяк!

Будь вор – так ты богат, будь честен – ты бедняк!

Прости, почтеннейший эльтонский обладатель5.

Веселий и пиров князьям изобретатель6!

Ползи тропинкою, которою ты полз:

В столице кланяйся, а здесь ты вздерни нос;

То гостю милому красотку подставляя7,

Министра жадного то деньгами ссужая6

Ты чудо новое пред светом уж явил

И самую чуму геройски победил8.

Когда заслугами ты станешь так блистать,

Нетрудно и тебе в сенаторы попасть9.

Не всяк одним путем мог счастия добиться,

А честью ведь нельзя так скоро дослужиться.

Юноне10 чванствами и гордостью подобной,

С Венерою11 одной кокетствами лишь сходной,

Пожалуй, от меня супруге поклонись12

И поученьице сказать ей потрудись:

Когда по случаю вперед ей доведется,

Что милою она турчанкой уберется,

Для талии стянув к несчастью толсто брюхо,

Поедет в маскерад, шепнула бы на ухо

Тебе, что нынешний нарядный туалет

Потребует подчас и целый факультет13;

Чтоб были под рукой и сонный Андреевский14,

И сладкий Реингольм15 – искусный врач немецкий,

Чтоб, если дурнота случится ей на пире,

Ей помощь обрести по крайности в клистире16.

Прости ты, сборища и куриц, и гусей,

И волжских осетров, и волжских стерлядей!

Как курочка живет, по зернышку клюя,

Так длится взятками жизнь жадная твоя.

Собою публику усердно забавляя,

То образ знаменья17 руками представляя,

То в польском плавая линейным кораблем18,

То поступью своей равняясь с журавлем,

Повсюду кошечьи ты взоры обращай,

Во всяком уголке супруга открывай,

Остри ты языка убийственное жало,

Что в злобных женщинах опаснее кинжала:

Как будешь ты и впредь с такою пользой жить,

Нетрудно и тебе у фурий19 хлеб отбить!

Прости, жеманная ты кралечка винова,

С супругом в парике, с валетиком бубновым!

Назвав тебя Любовь, сыграл родитель шутку,

Так точно, как бы я назвал павлином утку!

Коль должно бы мне вас к растеньям применить,

Позволь его с репьем, тебя с грибом сравнить!

Прости, горластая румяная девица,

В чиханье первая меж нами мастерица!

К спасению души и тела к облегченью

Желаю жениха я вашему смиренью.

Прости, седой глупец, отец и муж, прости!

Знать, счастью твоему в степях сих не цвести!

И деньги, и жену на двойку ты поставив,

Весь город о себе три дня болтать заставив,

Побоями скончал саратовский свой век

И тем нам доказал: всяк ложь есть человек!

Прости, брат Александр20! И жить ты научился:

Не силою своей – душою ты гордился,

Будь добр, как ты теперь, будь ласков и учтив,

Ты денег не люби – и будешь век счастлив!

Прости, Нептунов сын21! Друг нежный и смиренный,

Имей к добру всегда ты сердце откровенно,

Коль чувства ты свои так чисто сбережешь,

Ты друга и среди степей себе найдешь.

Чувствительности часть бывает часто слезна,

Глупец ее бранит, но все она любезна!

Ты часто в скорбный час мне муки услаждал,

И чувств унылых жизнь ты снова воскрешал!

Прости, старинных слов искусный открыватель

И женщин миленьких усердный обожатель!

Пусть будешь ты любим, как милых ты любил,

При смерти бы сказал: «Я счастлив в жизни был!»

Прости, любезная и кроткая Всемила,

Которую судьба так щедро наградила!

Умом и прелестью, и сердцем одарить –

Все это лишь в одной Всемиле поместить,

Когда, судьба, тебе так кстати показалось,

Дай, чтоб достоинствам и счастие равнялось!

Прощай, Николенька! Алешенька22, прости!

Пусть будет ангел вас невинности пасти!

Старайтесь маменьке во всем вы быть подобны,

Так точно, как она, быть милы и незлобны;

Когда же будете вы внятно говорить,

Когда возможете чувств силу изъяснить,

Скажите, чтоб она здоровье берегла

И, коль не для себя, для вас чтобы жила!

Простите все, друзья! Ах, может, навсегда,

Быть может, нам не быть уж вместе никогда!

Жизнь только миг, цвет сельный23 человек,

Пройдет лишь ветра дух – и скроется навек!»

Никита! Но когда никто не воздохнет

И барина твово слезинкой не почтет?

Тогда... Но колокол у врат моих звенит –

Пусть тройка удалых от горя нас умчит!

*1810*

**Рослав**

***Баллада***

Ярко пылают дубы в огне!

Ветр завывает с свистом в окне!

Скучен без друга вечера час! –

Сядете, други, все в уголок!

Мило! но ах! редок тесный кружок

Истинно верных, добрых друзей!

Странник унылый – не будь сиротой!

Сядь к нам поближе, будь ты нам свой!

Дом твой далеко – будь нам родным!

Сладок твой голос, нежный певец;

Горю находит в песне конец;

Томны, но нежны песни твои!

Был ты далеко, много узнал,

Много ты видел, много слыхал!

Дай нам услышать новость твою!

Странник ударил – лира звучит –

Все в нетерпеньи, – всякой молчит.

Странник, вздохнувши, песней вещал:

«Скоро проходят счастья часы!

Скоро сей жизни вянут красы!

Счастье обманщик – жизнь только сон!

Нежную травку холод мертвит,

Придет весна, опять оживит!

Сердце, иссохнув, мертво навек!

Злата Рославу рок не давал,

Почести, славу – все прочь отнял –

Нежное сердце досталось ему.

С сердцем веселым, с лирой в руках,

В дальних скитался, чуждых странах,

Пел он беспечность, дружбу и мир.

Видел разврат, пороки видал,

Злобу, измену, все испытал!

Редко случалось видеть добро,

Видел прелесть хитрых, лукавых,

К счастью избегнул их он отравы –

Можно ль любовь за деньги купить!

Годы проходят, время летит,

С горестью в сердце к милым спешит;

В горестях сердце – верный вещун!

К милым приходит – милых уж нет!

Кончились муки, нет уж им бед!

Сладко в могиле добрым лежать!

Горе размыкать, слезы унять,

Бедному сердцу отдых чтоб дать,

Снова скитаться вздумал Рослав.

Бедный Рослав от грусти бежит,

Новая горесть вслед с ним летит.

Может избегнуть рока нам где?

В дикой степи Рогнеда жила,

Юной красою пышно цвела;

Лилия красит целую степь!

Прелести сердца, прелесть души,

Редко веселой ищет в глуши,

Скучной вас ищет только лишь там!

Видит Рогнеду юный Рослав –

Счастье повсюду тщетно искав,

Счастие ищет подле нее,

Ангел небесный! ей говорит,

Пусть нас судьба на век съединит!

Дебри сей жизни вместе пройдем!

Гордо тиранка с смехом глядит,

Бросит надежду, кликать велит,

Вечно терзаться, вечно страдать!

Горек холодный милых нам взгляд!

Сердце лишает жизни, отрад!

Можно ль холодность видеть – и жить?

Локон прелестных русых волос.

Вот что несчастный только унес –

С ним он скитался, с ним и умрет!

Скрылась надежда, радости нет –

Скоро, ах! скоро будет конец!..»

Струны трепещут... Странник молчит –

Томная лира тихо звучит –

Странник в обитель мира отшел! –

Часто прохожий полночи в час

Слышит из гроба жалостный глас:

«Тужишь ли ты, Рогнеда, о мне!»

*Ноября 27 [1809]*

**Песня**

*На голос: «Нащожь мене моя мати…»*

Ты смеешься – быть так должно!

Мучиться судит мне рок!

Злых речей избечь неможно,

Всюду слышу я упрек.

Но пускай все упрекают

Люди страсть мою к тебе;

Ах! жестокие не знают:

Я не волен сам в себе!

Я не волен – я не смею –

Не любить тебя, нельзя!

Ах! вздыхать лишь я умею,

Подле пропасти скользя!

Вижу, что со мной случилось,

Вижу, жребий мой каков;

Но не в силах я решиться

Избежать твоих оков!

Знаю – должно мне терзаться,

Вечно горько слезы лить;

Но не смею отказаться,

Чтоб Всемилы не любить!

Пусть счастливые смеются,

Пусть злословят страсть мою,

Вечно слезы пусть лиются,

Сушат душу пусть мою!

Мне и смерть будет приятно

От жестокой получить!

Сердцу страстну непонятно:

Полюбивши – разлюбить!

*Декабря 2 [1809]*

**Песня на разлуку**

Час разлуки, как ты страшен!

Если должно покидать

Ту, которую дух страстен,

Кем одной привык дышать, –

Час разлуки, как ты страшен!

Если сердца половину

Оставляешь за собой,

Если нежну, кротку Нину

Разлучает рок с тобой, –

Час разлуки, как ты страшен!

Если свет очей тускнеет,

Нину лишь желаю зреть;

Если голос твой немеет,

Нину лишь желаю петь, –

Час разлуки, как ты страшен!..

Если знаешь ты, что должно

Счастье потерять свое,

Если знаешь, что неможно

Жить, не видевши ее, –

Час разлуки, как ты страшен!

Если знаешь, что любезна

При разлуке воздохнет, –

Участь ангельска, небесна! –

Сердце снова отдохнет, –

Час разлуки, ты не страшен!

*13 декабря[1809]*

**Прости А. Н. От Андр[ея] С[ергеевича] К[айсарова]**

Когда б я разлучался

С другою, не с тобой:

Душа б моя терзалась,

Пропал бы мой покой,

Я думал бы, что можно,

Забывшись, изменить –

Ах! редко ведь не ложно

Умеет кто любить! –

Я думал бы, что младость,

И новый круг людей,

И вечно нова радость

Изгладит дружбу в ней.

Но, друг мой! Всяк Всемилой

Не может в свете быть,

И нрав твой кроткой, милой

Судьба не всем дарит.

И роза если б в поле

Не редко так цвела,

Тогда б и роза боле

Красою не слыла.

Тебя я обнимаю,

Всемила! не крушись,

И к сердцу прижимаю,

Разлуки не страшись.

Ты также возвратишься,

Доселе что была,

Собой не возгордишься,

Быв вдвое нас мила.

Что может нам прилежну

Всемилу пременить?

Ах! ангелу небесну

Лишь ангелом и быть!

*1 января 1810.*

**Для Нико[лая] Ионо[вича] –**

**ящика или монумента.**

Не сильных мира здесь остатки бренны тлеют,

Здесь гордость, суеты почтенья не имеют.

Здесь гений мудрости в спокойствии живет

И отпечатки душ великих бережет.

*1810, июль*

**На чернильницу**

Пускай одно добро рекой отсюда льется,

Пусть злоба прочь бежит, меня да не коснется.

**Остряку (Льву Яков[левичу] Рославлеву)**

Сатиру с зеркалом нам древность представляет,

Желая тем ее лукаво показать:

Плутовка встречным всем стекло лишь подставляет;

А в доску смотрится, себя чтоб не видать.

Но ты, чей пылкой ум приятно уязвляет,

Кто глупостям одним покоя не дает;

Тебя, наш Марциал, стекло не устрашает;

Лишь добродетели в тебе оно найдет!

**К выходу в пустынь Никол[ая] Ионо[вича] Демьянова**

Коль хочешь суету мирскую позабыть,

Иди ты сей стезей – и счастье обретешь;

Коль знаешь, как любить, – любимым можешь быть,

Хоть час ты жизни сей здрав в мире проведешь.

**Заключение**

Как ни суди – все будет не строго!

Тетрадь не велика, а вздора в ней много!

*1810,( июль?)*

Комментарий

Тетрадь стихов «Саратовские безделки» полностью печатается впервые по рукописи Пушкинского дома – фонд 309, ед. хр. 570, стр. 1-23-об. Отдельные стихотворения были напечатаны или процитированы в разных источниках (см. примечания к стихам), в таких случаях производилась сверка и по этим изданиям.

Почти все известные нам стихи Кайсарова находятся в тетради «Саратовские безделки». Здесь их всего 26. Очень мало. Но Кайсаров никогда не считал себя поэтом. Свои стихи называл «стишонки», «безделки», «вздор», как бы извиняясь перед искушенными читателями и настоящими поэтами за свои творения, написанные неожиданно легко и просто после серьезных научных трудов. Большинство стихов основаны на живой разговорной речи той поры, не лишены поэтических образов и достаточно музыкальны. Они полны аллегорий, мифологических ассоциаций, чем особенно отличался ушедший ХVIII век, намеков на личности современников, «масок». Часть стихов составляют стилизации – чаще пародийного характера – под сентиментальные или романтические стихотворения; а также английские, итальянские переводы, русские народные песни, городские романсы, церковные псалмы. Есть здесь сатира, шуточные мадригалы, посвящения, иронические миниатюры.

Цикл относится к 1808-1810 годам, времени пребывания Андрея Сергеевича в Саратовской губернии – в самом Саратове и своей деревне Барановке Аткарского уезда, о чем достоверно известно из писем и дневников братьев Тургеневых, Кайсарова и их окружения. Стихи расположены в том порядке, в каком записал в тетрадь их сам Кайсаров. Стихотворения (как и письма) содержат много информации биографического характера и немало характеризуют жизнь провинции тех лет. Мы узнаем, что за период конца 1808 – середины 1810 годов Кайсаров несколько раз болел; ездил в Пензу к родне по отцовской линии; зиму проводил в Саратове, где участвовал в балах, маскарадах, святочных играх; был влюблен в молодую вдову с двумя детьми, довольно богатую, имя и отчество которой начинались с букв А. Н. и которую Кайсаров называл (по литературной традиции античности, перенятой ХVIII веком) условными именами: Всемила, Делия, Нина, Пленира, Душенька, Эльвина, Рогнеда и др. Узнаем также, что Кайсаров забросил занятия историей, но переводил, любил слушать народные песни и популярные романсы.

Слово «безделки», вынесенное в заголовок цикла, еще раз указывает на то, что Андрей Сергеевич всецело придерживался литературных вкусов своего времени. Известно, что Н. М. Карамзин в 1794 году назвал свой сборник «Мои безделки», вслед за ним И. И. Дмитриев в 1795 году выпустил «И мои безделки». Кайсаров хорошо знал обоих авторов (они земляки-волжане), читал все ими написанное, и смело, с достоинством продолжил игру, помещая при этом свои «безделки» в провинцию, в «глушсаратов», как бы намекая, что он не собирается оспаривать славу Карамзина и Дмитриева.

Слово «безделки» впервые было введено в литературный обиход римским поэтом Катуллом (Гай Валерий – ок. 87 г. – после 54 г. до н. э.), первым латинским лирическим поэтом, называвшим так свои лирические стихи. Большую часть жизни Катулл провел в Риме в богемном кругу молодых поэтов-неотериков, пережил здесь драматическую любовь к одной из блестящих красавиц большого света – Клодии, которую воспел под именем Лесбии.

Свои мелкие стихи и эпиграммы Катулл писал с аффектированной непосредственностью, языком близким к разговорному, однако с продуманными метафорами и антитезами. Продуманная отделка каждой лирической мелочи объясняется тем, что для Катулла и поэтов его круга они имели программное значение, демонстрировали их презрение к общественной и политической жизни и полную поглощенность жизнью личной (уединением, досугом; в отличие от «дела»). Для общественной жизни у Катулла находилась лишь изысканно-грубая брань – обычно по адресу Цезаря, Помпея и их сторонников. Напротив, в личной жизни и дружеском быту воспевалась каждая мелочь – встречи, разлуки, любовные переживания, борьба с собственными чувствами, каждое проявление дружбы, отклики сердца и ума на стихи современников – соперников и друзей. Дружба встречалась гиперболическим славословием, неверность – столь же гиперболически усиленными стенаниями. Дружеский кружок заменял для Катулла государство, на друзей переносились понятия общественных добродетелей: доблести, верности, благочестия. Любовная измена здесь становилась событием, потрясающим до основания всю систему жизненных ценностей. Стиль Катулла играет контрастами высокого и грубого, поэтического и просторечного, в его языке архаические остроты стоят рядом с модными тогда греческими заимствованиями, его стихи дразнят читателя изысканными и эффектными ритмами, создающими необычайную эмоциональную напряженность. То ликующая насмешка, то трагическая мука – две крайности, меж которыми мечется поэтическое сознание Катулла.

Безусловно, Катулл – заманчивый и недосягаемый образец лирического поэта – от римской классики I тысячелетия до н. э. до европейских поэтов ХVIII-ХIХ вв., в том числе и русских: Карамзина, Дмитриева, Батюшкова, Пушкина. Не избежал притягательности этого обаяния и Кайсаров, который, однако, не удержался, чтоб впустить общественную жизнь провинции в свои стихи, хотя и немного…

**Иные говорят: Бог весть как он умен!..–** миниатюра была процитирована, как и многие другие стихи, в статье А. А. Фомина «Андрей Сергеевич Кайсаров. 1782-1813. Новые материалы для биографии и для характеристики его литературной деятельности». Из архива П. Н. Тургенева. «Русский библиофил», 1912, № 4, стр. 20. В этой миниатюре отражено противоречивое отношение окружающих к одной и той же личности, что, видимо, Кайсаров испытал на собственном опыте.

**На обрезанную косу Душеньки** – стихотворение частично цитировалось А. А. Фоминым. В нем из легкого бытового эпизода Кайсаров выводит философские размышления о превратностях жизни вообще и о его личной сердечной неудаче.

1. *Амур* – в римской мифологии божество любви.

2. *Грации* – в римской мифологии три богини: красоты, изящества, радости.

3. *Зефиров племя* – преувеличение, направленное на повышенное внимание к героине стиха. Зефир – Бог западного ветра в греческой мифологии.

4. *Порфира –* пурпурная мантия властителя (слово греческого происхождения).

5.*Против рожна не можно* *прать –* русская народная поговорка «против рожна не попрешь». Рожно – заостренная на одном конце палка для нанизывания продуктов (типа шампур).

**Старинная песнь для новомодного альбома** – стихотворение частично цитировалось А. А. Фоминым. Представляет собой стилизацию русской народной песни (размер, пластика, отчасти – лексика и поэтические приемы), содержание же оригинальное – в нем исторические эпизоды русской жизни как бы перекликаются с современными Кайсарову.

1. *Горлатны –* меховые, сделанные из горловой части шкурки зверя, из кусочков, в отличие от спинки, идущей обычно на шубу.
2. *Альбаумы* – альбомы, тетради для записи афоризмов, почтовых формул, благих советов, стихов и т. д.
3. *В часовниках* – простонародное название Часослова – книги, содержащей тексты песнопений и молитв для ежедневных церковных служб (часов) в Православной церкви. Часослов в старину служил также книгою для чтения при обучении грамоте.

**К Всемиле** – стихотворение частично процитировано А. А. Фоминым, представляет собой ироническое, порой не лишенное сатирических черт, описание участников карнавала в доме своей любимой (Всемилы). Без маски лишь Кайсаров, который сам себя изобразил среди участников карнавала. Редкие имена удалось установить.

1. *Во храме* – так гиперболизированно Кайсаров называет дом своей любимой.
2. *Фузик за бостоном* – фузик – имеется в виду мушкетер; фузея – кремневое ружье, заменявшее мушкет в XVII–XIX вв., было на вооружении русской и иностранных армий. Фузелер – стрелок (пехота), мушкетер. Бостон – плотная шерстяная ткань темного цвета, такою оббивали столики для игр, в т. ч. и карточных.
3. *Нептунов сын* – Александр Афанасьевич Кайсаров (1774–1825), дальний родственник Кайсарова по отцовской линии, подпоручик Владимирского полка, весельчак, добрый и сердечный малый, жил в д. Федоровка, Аткарского уезда Саратовской губернии; Андрей Сергеевич называл его «брат Александр». «Нептуновым сыном» Кайсаров величает его потому, что отец его – Афанасий Федорович Кайсаров был на маскараде в костюме Нептуна, морского Бога.
4. *Цицерон* – римский политический деятель, оратор, писатель I в. до н. э., имеется в виду маска, костюм.
5. *Гаврильич –* знакомый Кайсарова, приехавший из Москвы.
6. *Асмодей бездушный* – в библейской мифологии – злой дух, глава демонов. Маска принадлежит саратовскому чиновнику (приказному).
7. *Любовь* – имя собственное саратовской жительницы, «кралечка винова» называет ее Кайсаров, характеризуя как жадную, ограниченную особу.
8. *Кайсаров –* сам Андрей Сергеевич.
9. *Селадон –* эпическое имя для любителя ухаживать за женщинами (по имени героя французского романа «Астрея» д’Юрфе).
10. *Сборище антиков* – сборище древностей.

**Экспромт А. Н., жаловавшейся на злоречие саратовской публики** – эпиграмма печатается впервые, впервые же здесь названы инициалы женщины, в которую Кайсаров был влюблен и даже намеревался на ней жениться, – молодой вдовы титулярного советника Фокина – Авдотьи Николаевны. Имя найдено мной в книге «Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 года», Саратов, 1912, стр. 96.

**Ответ Фекле на ее любовь** – как одна из наиболее удачных пародий на сентименталистов, вошла в сокровищницу русской литературы и опубликована в Большой серии «Библиотеки поэта» – «Русская стихотворная пародия (XVIII – начало XX в.)», Л., 1960, стр. 140-141. Фекла и Лилея здесь имена эпические.

1. *Флора* – римская богиня цветов и весеннего цветения.

**Надгробная –** публикуется впервые, стихотворная ирония по отношению к самому себе (а не к историкам, как может показаться) в роли влюбленного. Кайсаров высказывает догадку, что скоро он вернется к научным трудам, так как предвидит «отчаяние» в любви.

1. *Татищев* – Василий Никитович (1686–1750), русский историк.
2. *Болтин* – Иван Никитович (1735–1792), русский историк.
3. *Шлёцер* – Август Людвиг (1735–1809), немецкий историк, занимавшийся историей северных народов Европы и историей России, работал с Ломоносовым (его противник), один из гёттингенских преподавателей, впоследствии разочаровавший Кайсарова.

**Изъяснение любви приказного** – пародийная стилизация чиновничье-бюрократической речи и мышления; печатается впервые. Влюбленный чиновник у Кайсарова – фигура комическая. Таким образом он расправляется с одним из своих соперников.

1.*Асмодей* – в библейской мифологии глава демонов – здесь ассоциируется с маской, костюмом, в который был одет приказный чиновник на маскараде, описанном в стихотворении «К Всемиле».

2.*Купидон* – в римской мифологии божество любви.

**Рецепт от истерики…** – стихотворение частично цитировалось А. А. Фоминым. Ироническое произведение больше похоже на оригинал, чем на перевод: содержит намеки на личные отношения Кайсарова с любимой женщиной.

1. *Делия* – эпическое имя, употребляемое для сокрытия настоящего имени дорогой женщины. Под этим именем римский поэт Тибулл (I тыс. до н. э.) воспел свою возлюбленную.
2. *Святцы* – церковная книга, где есть месяцеслов, молитвы, список святых и праздников в календарном порядке.
3. *Дамон* – эпическое имя.

**Надежда** – первая публикация стихотворения была в «Трудах вольного общества любителей российской словесности», 1818 г. (часть IV, стр. 223), где оно дано под заглавием «Моя надежда» с сокращением одной строфы и с припиской о том, что на этот романс еще при жизни Кайсарова написана музыка композитором Алферьевым. Стихотворение печатается по рукописи. Под эпическими именами скорее всего подразумевались: Эльвина – Софья Арсеньева, в которую Кайсаров был влюблен еще весной 1802 года в Саратове; Рослав – Андрей Тургенев; Всемила – Авдотья Николаевна Фокина.

**Два экспромта на табакерку** – стихотворения цитировались А. А. Фоминым. В иронических миниатюрах Кайсаров стремится к философской афористичности, ясности и краткости выражения мысли.

**Перевод итальянской песни –** цитировалось А. А. Фоминым, который считает его самым замечательным стихотворением из всего цикла (хотя здесь много наиболее художественно ценных произведений). Стихотворение написано в романсовом ключе, появившемся в России к концу XVIII века, его очарование и привлекательность не в индивидуальности и оригинальности авторской интерпретации темы любви, а именно в традиционной выдержанности жанра «наивного», «глупого (или «безумного»!)» «жестокого романса», горячо любимого простым народом.

**Два вольных переложения церковных песней** – процитированы А. А. Фоминым. В оригинале есть сноска: «Писаны во время лихорадки, Октября 8.», а второе стихотворение было переписано 10 октября (имеется черновик). Андрей Сергеевич, вероятно, в эти дни болел и обращался для подкрепления духа к молитвенной, церковной литературе, что отразилось и на его стихотворных «размышлениях».

**Стихи по случаю лихорадки А. Н**. – печатаются впервые. А. Н. – уже известная нам Авдотья Николаевна Фокина. В стихотворении содержится глубокое сострадание к любимой женщине, которая заболела. Сочувствие тем более искреннее, что Кайсаров сам часто болел и слишком хорошо знал, как в это время необходимо участие близкого человека.

**Прости Саратову –** стихотворение впервые цитировалось частями А. А. Фоминым. Печатается по антологии «Сатира русских поэтов первой половины XIX в.» (Подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания В. Афанасьева). М., «Советская Россия», 1984, стр. 93-96. Причем в комментарии этого издания не были указаны прототипы стихотворения, так как тогда они не были известны. Стихотворение представляет собой описание (в т. ч. и сатирическое) людей, окружавших Кайсарова в Саратове.

1.*Никита* – сын аткарского дворового крестьянина Евдокима Никифорова, почти ровесник Кайсарова, его постоянный слуга и товарищ в период жизни в Москве и других городах, сопровождал за границу до Лейпцига. Кайсаров очень любил его, называя «Никитушка мой». Никиту любили и друзья Кайсарова – Тургеневы, Мерзляков, Жуковский, Воейков и др., которым он привозил записочки и письма, его имя упоминается в письмах.

2. *Пора в Рязань…* – в Рязанской губернии, в Ряжском уезде,   
в сёлах Нагайское, Чирково были имения Кайсаровых. В селе   
Чирково мать Кайсарова Наталья Васильевна выстроила церковь   
в честь Иконы Знамения Пресвятой Богородицы, где позже   
в приделе Иоанна Предтечи были похоронены Андрей Сергеевич, а затем и Наталья Васильевна. Часть родни Кайсаровых жила   
в Рязани. Были и рязанские по корням друзья – А. Ф. Воейков, И. Е. Дядьковский и др.

3. …*Полдюжина почтеннейших мужей –* предположительно имеются в виду: саратовский губернатор Алексей Давыдович Панчулидзев (из Панчулидзе, 1767-1834), до губернаторства – советник соляной комиссии, винокуренный заводчик, ловкий вымогатель взяток и т. д.; винный откупщик, крупный земле- и домовладелец Михаил Андреянович Устинов; городской голова (и глава саратовских староверов), купец Иван Артемович Песковский (Волков); директор эльтонского соляного управления И. И. Иванов; предводитель дворянства Павел Александрович Гладков; советник питейного отделения саратовской казенной палаты Алексей Иванович Дмитриевский и др.

4.*Плюмажем* – (фр. plum aqe – оперение), в прямом смысле перья на шляпе. Но поскольку в России практически никто из мужчин шляп с перьями не носил, то нетрудно догадаться, что Кайсаров имел в виду парик. Из воспоминаний современников известно, что сатирические персонажи Кайсарова носили парики по моде XVIII века.

5.*Почтеннейший эльтонский обладатель* – Эльтон – озеро, находящееся в астраханских заволжских степях, в 1741 году известный историк, астраханский губернатор В. Н. Татищев (1686-1750) пригласил для разработки соляных богатств англичанина Элтона, давшего озеру свое имя. В 1749 году соляное управление было переведено из Самары в Саратов, с тех пор обладатели права на откуп (откупщики) эльтонской соли были только в Сататове, историк прошлого века писал: «Эльтонский промысел… был своего рода Калифорниею» («Саратовский край. Исторические очерки, воспоминания, материалы». Саратов, 1893, стр. 192). Эльтонский обладатель – А. Д. Панчулидзев.

6.*Веселий и пиров князьям изобретатель*… *Министра жадного то деньгами ссужая…* – саратовский губернатор А. Д. Панчу-  
лидзев любил устраивать балы, маскарады, фейерверки, загородные прогулки и другие увеселения. Чтобы достать себе должности, награды, а также обеспечить бесконтрольность в действиях, давал взятки государственным чиновникам, принимал чиновников из Петербурга у себя. Саратовские историки называют среди тех,   
кто пользовался услугами Панчулидзева, министра внутренних дел, князя Алексея Куракина, который посылал в Саратов только   
в 1807-1809 годах оберпрокурора правительственного сената П. С. Молчанова, а также своего сына Бориса Куракина с компанией приятелей-кутил, которые месяцами жили у Панчулидзева   
под предлогами курирования тех или иных дел, о чем, безусловно, знал Кайсаров да, пожалуй, и вся Россия. Куракина-отца Лев Толстой вывел в романе «Война и мир» под именем князя Василия Курагина.

7. …*Гостю милому красотку подставляя* – имеется в виду гость, живший в Саратове с 12 сентября по 20 ноября 1809 года, сын министра Б. А. Куракин. По поводу пребывания в Саратове Куракина с группой молодежи саратовский священник Н. Г. Ско-  
пин записал в своем дневнике: «…Трудно это и описать. – Несчастная нравственность!» («Саратовский исторический сборник», т. 1 (к 300-летию), стр. 399). Что касается красоток, то у Панчулидзева в доме жило сто дворовых крепостных обоего пола, которыми он распоряжался как всевластный временщик.

8. …*Чуму геройски победил* – считается, что чума в Саратове была с 3 января по апрель 1808 года в правление А. Д. Панчу-  
лидзева. Это очковтирательство проходило лишь в виде канцелярских рапортов (к счастью для саратовцев). За «победу» над «чумой» губернатор и его приближенные чиновники получили награды и подарки от царя.

9. *Нетрудно и тебе в сенаторы попасть* – пророческая ирония Кайсарова. Позже Панчулидзев начал активно получать (покупать) чины за чинами. И неизвестно, до каких правящих вершин дошел бы, если бы в 1826 году (уже после смерти Кайсарова) не был отстранен от губернаторства за взяточничество и другие злоупотребления.

10. *Юнона* – в римской мифологии одна из верховных богинь, супруга Юпитера.

11*. Венера* – в римской мифологии богиня красоты.

12. …*Супруге поклонись* – имеется в виду третья супруга, зарабатывавшего и на выгодных браках, А. Д. Панчулидзева, дочь известного промышленника Демидова – Екатерина Петровна.

13. …*Целый факультет* – (лат. facultas – возможность), в данном случае возможность выбора кавалеров из свиты на балу.

14. …*Сонный Андреевский* – штаблекарь, акушер Евгений Андреевский, практиковавший в Саратове. Известна разветвленная династия врачей Андреевских, которые практиковали в разных губерниях и за рубежом.

15. …*Сладкий Рейнгольм* – инспектор Саратовской врачебной управы Кирилл Рейнгольм.

16.*Клистир* – устар. то же, что и клизма.

17.*Образ знаменья* – осенение крестом.

18*. То в польском плавая линейным кораблем –* медленный, бальный танец полонез (что буквально означает польский)*.*

19.*Фурии –* (лат.) римские демоны подземного царства, божества мести и угрызений совести. Иносказательное «фурия» – неистово злая женщина.

20-21. …*Брат Александр …Нептунов сын –* см. 3 «К Всемиле».

22.*Николенька, Алешенька* – подлинные имена детей любимой Кайсаровым женщины Авдотьи Николаевны Фокиной.

23.*Цвет сельный* – Селена – Луна. Кайсаров пишет о быстротечности и непостоянстве жизни человека, которая проходит как лунный свет.

**Рослав –** романтическая баллада публикуется впервые, в ней Кайсаров намекает на свою биографию. Путешественник, потерявший друга и страдающий от неразделенной любви, – конечно, он сам.

**Песня на разлуку** – цитируется А. А. Фоминым. Содержание ее – искренняя грусть от предстоящей разлуки с любимой.

**Песня –** публикуется впервые.

**Прости А. Н. от Андрея Сергеевича Кайсарова –** печатается впервые. Стихотворение передает философское осмысление Кайсаровым разлуки и страстной любви, относительной редкости последней. В начале 1810 года Кайсаров уезжал из Саратова, но еще не в Москву, а в свое имение – Барановку, где он прожил более полугода (выезжая оттуда на воды), т. к. одно из писем к Сергею Ивановичу Тургеневу датировано: «Июня 8, 1810, Барановка». Стихотворение посвящено Авдотье Николаевне Фокиной. Полная дата под ним написана рукой Кайсарова.

**Для Николая Ионовича – ящика или монумента –** ироническая эпитафия публикуется впервые. Перед этим стихотворением в рукописи черта, под которой стоит дата: «1810. июль». И далее под чертой идут оставшиеся 5 миниатюр без дат, что дает основание считать июль 1810 временем окончания тетради «Саратовские безделки» и временем отъезда в Москву.

**На чернильницу** – миниатюра процитирована А. А. Фоминым.

**Остряку (Льву Яковлевичу Рославлеву)** – ироническое посвящение процитировано А. А. Фоминым, оно написано для отца жены Н. П. Огарева (друга Герцена) – она же племянница А. Д. Панчулидзева – Марии Львовны Рославлевой. Лев Яковлевич – надворный советник, судья саратовского совестного суда.

1. *Марциал* – римский поэт I в., эпиграммы которого отличались особой меткостью и остроумием.

**К выходу в пустынь Николая Ионовича Демьянова** – ироническое посвящение публикуется впервые.

**Заключение** – процитировано А. А. Фоминым.

Основные даты жизни и творчества А.С. Кайсарова

**1782, 16 ноября** родился в деревне Барановке Аткарского уезда Саратовской губернии в семье помещика Тамбовской, Рязанской и Саратовской губерний, потомственного военного.

**1795**– Поступление в благородный пансион Московского университета.

**1796**– Служба в Петербурге, в Семеновском полку.

**1798**– Перевод на военную службу в Москву, знакомство с Андреем Тургеневым.

**1801**– Организация Дружеского литературного общества, написание речей, пародии «Свадьба К[арамзина]», первая журнальная публикация, актерское участие в любительских спектаклях, отставка из армии в чине штабс-капитана.

**1802**– Отъезд в Германию на учебу в Гёттингенский университет.

**1803-1804** – Работа над «Славянской и российской мифологией», издание книги на немецком языке в Гёттингене (в начале 1804 года).

**1804**– Путешествие по славянским землям, сбор древних рукописей и книг, изучение истории и культуры славян, знакомство с сербскими учеными-филологами и общественными деятелями.

**1805**– Работа над сравнительным словарем славянских наречий.

**1806**– Защита в Гёттингене докторской диссертации «Об освобождении крепостных в России» на латинском языке.

**1806-1808** – Путешествие в Англию, Данию, Шотландию и другие европейские страны, изучение английского языка, экономики и культуры европейских стран, сбор исторических документов, касающихся России.

**1809-1810** – Жизнь в Саратове и Барановке, написание тетради стихов, сатир и пародий «Саратовские безделки».

**1811-1812** – Работа в качестве профессора русской словесности в Дерптском университете, начало работы над словарем древнерусского языка, «Речь о любви к отечеству», написание «Примерного устава нового предполагаемого общества переводчиков».

**1812**– Организация походной типографии при штабе русской армии, выпуск листовок, «Известий из армии», газеты «Россиянин», брошюры «Отступление французов» и т.д.; стихийное возникновение вокруг типографии в Тарутино кружка армейских литераторов, куда входили В. А. Жуковский, Федор Глинка, М. Ф. Орлов и другие.

**14 мая 1813** – гибель Кайсарова в сражении при Гайнау.

Краткая библиография

**Кайсаров А.С.** Славянская и российская мифология. Перевод с немецкого А. Аллера. М.: 1807; М.: 1810.

**Кайсаров А.С.** Речь о любви к отечеству на случай побед, одержанных русским воинством на правом берегу Дуная, в торжественном собрании императорского Дерптского университета, ноября 12 дня 1811 года, говоренная надворным советником, философии доктором, российского языка и словесности профессором п.о. Гёттингенского физического и академического наук членом, шотландского города Друмфриса гражданином Андреем Кайсаровым. Дерпт: 1811.

**Кайсаров А.С.** Примерный устав нового предполагаемого общества переводчиков. В сб.: Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. М.: 1858. Июль-сентябрь. Кн.3, разд. «Смесь», с.142-147.

**Кайсаров А.С.** Сравнительный словарь славянских наречий (предисловие). Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 65. Тарту: 1958. с.191-200.

**Кайсаров А.С**. Описание бракосочетания г-на К[арамзина]. Большая серия «Библиотеки поэта» – «Русская стихотворная пародия (XVIII- начало XIX в.)». Л.: 1960. с.193-198.

**Кайсаров А.С**. Об освобождении крепостных в России. Перевод с латинского Н. А. Пенчко. В сб. «Русские просветители (от Радищева до декабристов)». М.: Мысль. 1966. т.1, с.359-386.

**Кайсаров А.С.** Прости Саратову. Публикация В. В. Афа-  
насьева. В антологии «Сатира русских поэтов первой половины XIX в.» М.: Советская Россия, 1984. с.93-96.

**Кайсаров А.С**. (письма). Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева гёттингенского периода (1802-1804 гг.) и письма его к А. С. Кайсарову и братьям в Гёттинген 1805-1811 гг. с введением и примечаниями В. М. Истрина. СПб.: 1911.

**Кайсаров А.С**. (письма и заметки). Архив братьев Тургеневых. Вып. 4. Путешествие А.И. Тургенева и А.С. Кайсарова по славянским землям в 1804 году. Под. ред. В.М. Истрина. Петроград: 1915.

**Кайсаров А.С.** (письма). Письма Александра Тургенева Булгаковым. М.: 1939.

**Сухомлинов М.И.** А. С. Кайсаров и его литературные друзья, СПб.: 1897.

**Истрин В.М**. А. С. Кайсаров, профессор русской словесности, один из младшего Тургеневского кружка. ЖМНП, 1916, № 7, с. 102-131; Русские путешественники по славянским землям в начале XIX в., ЖМНП, 1912, № 9, с. 78-109; Русские студенты в Гёттингене в 1802-1804 годах (по материалам Архива братьев Тургеневых). ЖМНП, 1910, № 7, с. 80-144; Дружеское литературное общество 1801 г. (по материалам Архива братьев Тургеневых). ЖМНП, 1910, № 7, с. 273-307; Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев (во втором выпуске Архива братьев Тургеневых).

**Фомин А.А.** Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров. Новые данные о них по документам архива П. Н. Тургенева. Русский библиофил: 1912, № 1, с. 7-39; Андрей Сергеевич Кайсаров. 1782-1813. Новые материалы для биографии и для характеристики его литературной деятельности. Из архива П.Н. Тургенева. Русский библиофил, 1912: № 4, с. 5-33.

**Дурылин С.Н**. Русские писатели в Отечественной войне 1812 года. М.: Советский писатель, 1943.

**Светлов Л. Б.** А.С. Кайсаров и его просветительская деятельность. В сб.: Московский университет и развитие философской общественно-политической мысли в России. М.: 1957, с. 80-95.

**Лотман Ю.М**. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 63. Тарту. 1958; Походная типография штаба Кутузова и ее деятельность. В сб.: 1812 год. К стапятидесятилетию Отечественной войны. М.: 1962; Тарутинский период Отечественной войны 1812 г. и развитие русской литературы и общественной мысли. Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 139. Тарту: 1963.

**Листовки Отечественной войны 1812 г.** Сборник документов. М.: 1962.

**Тартаковский А.Г**. Военная публицистика 1812 года, М.: Мысль, 1967.

Оглавление

**Глава первая.** Отеческая провинция 5

**Глава вторая.** Под небом двух столиц 22

**Глава третья.** «Там, там под сению кулис младые дни мои неслись» 44

**Глава четвертая.** Парнасские встречи и судьбы друзей 62

**Глава пятая.** Истоки Дружеского литературного общества 94

**Глава шестая.** «О, сладкий дружества союз!» 111

**Глава седьмая.** «Любви младая повесть» 141

**Глава восьмая.** «Простите, игры золотые!» 159

**Глава девятая.** Дорога в Германию. Гёттинген 173

**Глава десятая.** Солнечные боги славян 198

**Глава одиннадцатая.** Путешествие по славянским землям 216

**Глава двенадцатая.** Утопия Андрея Кайсарова 246

**Глава тринадцатая.** «Саратовские безделки» и саратовские дела 261

**Глава четырнадцатая.** Дерпт 280

**Глава пятнадцатая.** Лихая година 294

**Глава шестнадцатая.** «Певцы – сотрудники вождям…» 314

**Глава семнадцатая.** Отечеству – последнее дыханье! 343

**Приложение.** Андрей Кайсаров. Саратовские безделки 354

Комментарий 380

Основные даты жизни и творчества А.С. Кайсарова 391

Краткая библиография 392

*Выражаю сердечную благодарность оказавшим мне по-  
мощь в сборе материалов для книги и в подготовке текста к публикации Зайцевой Л. Е., Ушаковой А. Ф., Царьковой А. А., Борзову В. Н., Шульпину И. В., Андрееву В. Г., Вардугиной Т. Е., Вардугину В. И.*

*Литературно-художественное издание*

**Александра Ивановна БАЖЕНОВА**

**А. С. КАЙСАРОВ – ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ**

**РАННЕПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ**



Редактирование, корректура*: Т. Е. Вардугина*

Компьютерный набор, вёрстка: *М. В. Слепынцева*

Оформление обложки: *Д. Э. Хорошилов*

Издательство «Сателлит»

Подписано в печать 5 мая 2004 года

Формат 60 х 84 1/16. Бумага писчая.   
Гарнитура «Тimes». Печать офсетная.   
Усл. печ. л. 23. Тираж 1000 экземпляров. Заказ 499.

Типография издательства «Сателлит»,   
г. Саратов, ул. Академика Антонова, 14а.  
Тел.: 32-97-88, 31-54-39

1. Из перечисленных сел существуют и ныне под теми же названиями Никольское, Барановка, Нагайское, Просечье (Раненбург – ныне Чаплыгин Липецкой области, однако Просечье теперь находится в Тамбовской области). [↑](#footnote-ref-1)
2. Ныне Волхонщина находится в Первомайском районе Тамбовской области. [↑](#footnote-ref-2)
3. В. А. Злобин (ум. в 1814), но прозванию Половник, саратовским историком Андреем Леопольдовым назван «саратовским образцовым гражданином». В конце XVIII века Злобин был земским начальником в селе Барановка, затем смотрел за винокуренным заводом брата, торговал средствами с помощью залогов и поручений. Последние два десятка лет жил в Саратове, был купцом. Помогал бедным. Немалые суммы он вложил в реставрацию ныне существующего самого старинного в Саратове Троицкого собора; старообрядческих церквей. Полностью на его средства и по его инициативе был возведен дом для призрения больных бурлаков,за что, по представлению губернатора Александру I, Злобин получил от царя орден св. Владимира IV степени. Василий Алексе­евич неоднократно своими капиталами помогал Саратову восстанавливаться от многочисленных пожаров (которым способствовали ещё тогда ненайденные под городской землей месторождения газа); рассадил первый в Саратове волжский образцовый сад. Под конец жизни разорился. Умер, оставшись должен казне огромную сумму. После его смерти все имения были описаны, сад перешел в ведение городской казны и ныне исчез. [↑](#footnote-ref-3)
4. В письмах тех лет было принято сокращать имена, отчества, фамилии. Восстанавливаем их здесь по рукописям. [↑](#footnote-ref-4)
5. Текст восходит к древним языческим песням, основанным на поэтическом представлении славян о силах природы. Меланка, Меланья, Маланья, тетушка Маланьица – мелкое божество в свите Перуна, молния, признак грозового дождя. Она, как и всякое божество, может принести счастье (если задобришь) и несчастье – пожар, смерть и т.д. Поэтому крестьянин крестил поле «на все четыре стороны», Меланка говорит, что «крест держала» над полем, оберегала его весь год. [↑](#footnote-ref-5)
6. Василий Дмитриевич Арсенев, родственник Кайсаровых, судя по письмам, часто бывал у них в доме, влиял на воспитание мальчиков. Он же родственник М. Ю. Лермонтова по материнской линии на прадедовском уровне, через них же и родственник Столыпина. [↑](#footnote-ref-6)
7. Лат. Защита дела общего. [↑](#footnote-ref-7)
8. Трощинский Д. П. (1754-1829), масон, тогда возглавлял российское почтовое ведомство. [↑](#footnote-ref-8)
9. Иппокрена – буквально «источник коня». Широкое употребление приобрело в значении «источник вдохновения». [↑](#footnote-ref-9)
10. Говарды – знатная и коренная английская фамилия. «Говардовское» синоним «аристократическое». [↑](#footnote-ref-10)
11. si dement (франц.) – такой сумасшедший, такой бешеный. [↑](#footnote-ref-11)
12. Чрезвычайный случай, чрезвычайное внимание (лат). [↑](#footnote-ref-12)
13. Желудочная соль, солянка (лат.) [↑](#footnote-ref-13)
14. Ныне Литераторские мостки. [↑](#footnote-ref-14)
15. Полное название книги «Абевега русских суеверий, жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шаманства и проч.» Первое издание называлось «Словарь русских суеверий». [↑](#footnote-ref-15)
16. Личность весьма примечательная. Скопин (1754–1836) был первым ректором Саратовского духовного училища, «замечательной личностью своего времени». Он владел несколькими языками, состоял в переписке с многими известными людьми России; вел дневники во время Пугачевского бунта и Отечественной войны 1812 года, опубликованные до революции. Скопин был подвижником просвещения и религиозного служения нравственному совершенствованию человека, истинным бессребреником. Известен случай, когда во время одного из многих пожаров в Саратове горела церковь, в которой тогда служил Скопин. Он, не щадя себя, кинулся спасать храм, а в это время сгорел дотла его собственный дом, и вся его многочисленная семья осталась без крова. Когда в Саратове на народные пожертвования (так же, как в Москве храм Христа Спасителя) был выстроен Александро-Невский собор в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года, который, к сожалению, постигла участь московского храма: на месте Александро-Невского собора был выстроен стадион), Николай Герасимович стал первым кафедральным протоиереем этого собора, что считалось большой честью. [↑](#footnote-ref-16)
17. Сын природы (нем.) [↑](#footnote-ref-17)
18. Зритель, публика (нем.) [↑](#footnote-ref-18)
19. Князь Н. Д. Кудашев (1784 – 1813) – адъютант и зять Кутузова. [↑](#footnote-ref-19)